

АНАТОЛИЙ
МАРЧЕНКО

Сменяющиеся
ГЛАЗА



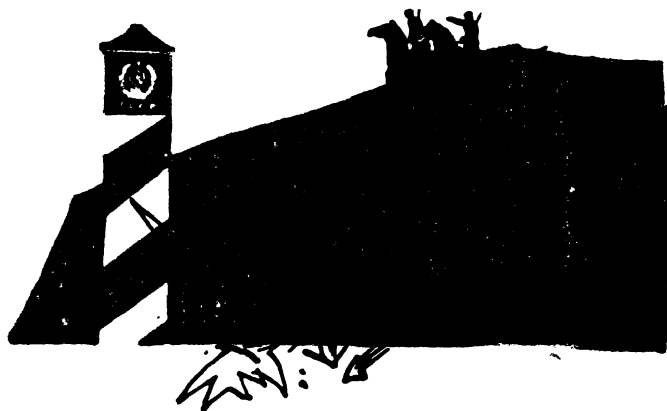


Анатолий Тимофеевич Марченко

АНАТОЛИЙ МАРЧЕНКО

СМЕЮЩИЕСЯ ГЛАЗА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА • 1964

Книга Анатолия Марченко «Смеющиеся глаза» состоит из повестей «Дозорной тропой», «Смеющиеся глаза» и нескольких рассказов. Главные герои книги — пограничники, зорко берегущие передний край нашей любимой матери-Родины от посягательств империалистических лазутчиков. В повестях и рассказах, написанных в лирическом, романтически приподнятом ключе, выведены люди суровой и завидной судьбы, влюбленные в свой ратный труд, смело идущие навстречу трудностям и опасностям, до последнего дыхания преданные великому делу коммунизма.

В творчестве Анатолия Марченко основное место занимает тема воинского труда, тема границы. Повесть «Дозорной тропой» в 1962 году выходила в Воениздате отдельной книгой и получила хорошие отзывы читателей и критики. Перу Анатолия Марченко принадлежит также повесть «Юность уходит в бой», посвященная становлению молодежи в грозных битвах Великой Отечественной войны.

Дозорной тропой

1

Подполковник Перепелкин смотрел на меня прищурившись, склонив набок маленькую лысую голову. Я никак не мог догадаться, почему он щурится. Можно было подумать, что он смотрит не на человека, а на солнце.

— Что это вы навалились на наш отряд, товарищи с Парнаса? — весело воскликнул он, узнав о цели моего приезда. — Мы еще кинематографистов не проводили, а тут на тебе — журналист.

— Мы друг другу не помеха, — бодро заверил я. — Считайте, родные братья. Дайте только настоящих героев.

— Понимаю, — протянул Перепелкин, и в его тоне я уловил оттенок недовольства. — Понимаю, что вы ищите. А я так думаю: о герое всякий напишет, а вы вот попробуйте показать самого простого человека. Обыкновенного.

Это начало мне не особенно понравилось.

«Интересно, если бы на моем месте сидела какая-нибудь литературная знаменитость, ты так же бы вел разговор?» — подумал я.

Тем временем Перепелкин придирчиво осматривал меня, нацеливаясь взглядом, словно в мишень.

— Костюм вы себе выбрали подходящий. Чувствую, приехали всерьез и надолго. Не ошибся?

— Там видно будет, — неопределенно ответил я, заранее оставляя за собой право уехать, когда мне захочется.

В моей одежде не было ничего необыкновенного. Просто, собираясь в дорогу, я попросил Иринку разыскать

армейское обмундирование, в котором уходил в запас, и решил ехать в нем. Хранил я эту одежду не из жадности. Она напоминала мне о фронте, об армии; не давала забыть, что я и теперь в строю, хотя давно перестал носить военную форму. И потому меня немного внутренне передернуло, когда Перепелкин назвал мое военное обмундирование костюмом.

«Может, он хочет подчеркнуть этим, что я не военный? Так и в нем военного не очень-то много». Уж слишком домашним, слишком мирным веяло от Перепелкина. Мягкие розовые щеки, чересчур нежные для мужчины; задорно вздернутый нос, подслеповато прищуренные глаза, лысина, начинавшаяся прямо со лба и оголявшая почти весь его череп, еще больше усиливали это впечатление. «Ему бы реденькую бородку, очки — и, ни дать ни взять, учитель-пенсционер. Куда уж такому скакать на коне или вступить в бой с нарушителями!»

Три ряда орденских планок на кителе подполковника говорили о другом, но я приписал это заслугам молодости.

И все же Перепелкин понравился мне с первой минуты. Я не люблю людей, которые при первом знакомстве скрывают свой характер и стараются выдать себя не за тех, кем они являются на самом деле. Я люблю натуры открытые, прямые.

Перепелкин был, кажется, из этих людей. Он не рисовался и не старался понравиться. Он не строил из себя простака, не похлопывал меня по плечу, даже не обращался ко мне на «ты». Напротив, он как-то выжидательно поглядывал на меня в упор, будто каждый раз находил во мне что-то новое. Я сразу почувствовал себя с ним запросто. Может быть, потому я и наступал на него без особого стеснения, добиваясь того, чего мне хотелось.

— Меня интересуют не только ветераны и герои, — заявил я в ответ на его ворчание. — К тому же я не ищу святых и не собираюсь писать икону. Мне нужен...

— Академик пограничной службы? Доктор пограничных наук? — торопливо подсказал Перепелкин и вдруг расхохотался так раскатисто и заразительно, будто был убежден, что этот смех доставляет мне истинное наслаждение.

— Пусть будет так, — сказал я, дав ему вволю пошмеяться.

— Ясно, ясно, — сгоняя улыбку с лица, все так же поспешно проговорил Перепелкин. — Значит, вам нужна шкатулка пограничных историй и сюжетов, чтобы превратить истории в рассказы? Не слишком ли легкое занятие? И есть ли смысл ехать за этим на заставу?

— На заставу — обязательно.

— Ну хорошо, — миролюбиво сказал Перепелкин. — Вы полагаетесь на мой выбор?

— Вполне.

— Застава Нагорного... — Подполковник проговорил это так, словно перед этим перечислил десятки застав.

Я в свою очередь спросил:

— А давно он служит на границе?

— Да все это вы узнаете на месте, — Перепелкин остановил меня жестом руки. — Мне не хочется заранее рассказывать о нем и навязывать свое мнение. Смотрите сами. Только не делайте выводов о Нагорном с первого взгляда. Я убежден, что человека надо открывать постепенно. Знаете, как открывали материки.

Я сказал, что это долгий и мучительный путь, и если таким путем открывать каждого человека, то на это, пожалуй, не хватит жизни.

— А что поделаешь? — снова вопросительно посмотрел на меня Перепелкин. — Сначала открыватели видят одни очертания неведомой им суши, да и то в тумане. А уж потом шаг за шагом познают новый материк.

Я заговорил о дороге. От провожатого отказался. Отказался и от машины, предложенной Перепелкиным. Весь путь до заставы мне хотелось проделать пешком.

— Одобряю, — лукаво подмигнул мне Перепелкин. — Машины не жалко. Одобряю потому, что сам люблю бродяжничать. Жизнь своими руками щупать. Договоримся так: не понравится у Нагорного — выбирайте сами. Застав у нас хватит.

— Решено, — обрадованно сказал я, загораясь желанием поскорее приняться за работу. — Тем более, что рекомендую, как известно, несет ответственность за рекомендуемого.

Перепелкин в шутку погрозил мне коротким толстым пальцем, подробно рассказал, как добраться до заставы,

и вручил все необходимые документы. Мы пожали друг другу руку.

В коридоре, проходя мимо знамени, возле которого стоял часовой, я по привычке отдал честь.

2

До Фурмановки я шел по проселочной дороге, петлявшей в сосновом бору. Изредка мимо проносились машины, оставляя за собой прозрачный шлейф пыли. Иной раз меня обгонял велосипедист. Пешеходов почти не было.

Стеной стояли невозмутимо спокойные сосны, устремив в небесную высь светло-коричневые стволы. Кое-где виднелись березки. Их детские кудри испуганно взмывали кверху от налетающего ветра. А сосны стояли молчаливые, торжественные, и только где-то высоко, у самых вершин, негромко и ровно шумели.

Рядом с этими великанами я чувствовал себя маленьким и счастливым, словно вернулось далекое детство. Я был рад, что осуществилась моя давняя мечта — пожить на пограничной заставе, где пахнет свежей хвоей, где нескончаемо бежит по лесу дорога. И мне хотелось по-дружески обнять шершавый ствол старой сосны или приложить ухо к худенькой березке и долго слушать, как тревожно вздрагивает ее сердце.

Я совершал переход по всем армейским правилам: сперва сделал малый привал, потом большой. Дважды старательно перематывал портянки и лежал на траве, закинув ноги на высокий пенек.

Сумерки настигли меня в пути. Постепенно стемнело, и я не мог уже любоваться соснами. Зато я вдоволь рассмотрелся на огни встречных машин. Интересное это было зрелище. Неожиданно впереди ослепительно вспыхивал яркий глаз автомобильной фары. Он несколько раз лукаво подмигивал, как бы говоря: «Хоть ты далеко и хитришь, а все же я тебя заприметил». Тут же он исчезал, вспыхивал снова, теперь уже совсем близко, выхватывая из темноты все новые и новые участки дороги.

Мне было весело. Приятно было сознавать, что вот опустилась на землю ночь, а люди, как и я, не спят, куда-то едут, что-то везут. Им, как и мне, не сидится на месте.

К полночи я очутился возле железнодорожного слагабаума. Его можно было узнать еще издали по зеленым огонькам. Теперь, как объяснял мне Перепелкин, следовало свернуть налево. Я так и сделал.

Вскоре дорога привела меня к маленькой станции. Неяркий свет нескольких фонарей освещал небольшой деревянный домик и еще какие-то пристанционные постройки. Не слышалось неугомонных гудков, шума узловых станций, суетни маневровых паровозов. Мирно дремали рельсы. Тускло желтели огоньки стрелок, и как-то не верилось, что здесь может вдруг появиться самый настоящий пассажирский поезд.

Это и была Фурмановка. Перепелкин советовал мне заночевать у начальника станции, но время было уже позднее, и я не решился беспокоить людей. Конечно, можно было бы зайти в станционное помещение, но я опасался, что на рассвете буду разбужен бесцеремонным шарканьем метлы и ворчаньем уборщицы, не привыкшей к транзитным пассажирам.

Ночь была темная, безветренная. Я свернул к лесу и довольно быстро наткнулся на невысокий стожок сена. Это меня обрадовало. Наскоро перекусив и с удовольствием выпив тепловатой воды из фляги, к которой по армейской традиции почти не прикасался в пути, я устроился на ночлег. Сено было свежее, мягкое. Пахло ромашкой. Я забрался в стожок. Натруженные ноги ныли, но когда я снял сапоги, мне сразу же стало легче. Сон скрутил меня быстро.

Не знаю, сколько бы я проспал в своем уютном логове, если бы меня не разбудил протяжный паровозный гудок. Я вздрогнул, открыл глаза и вылез из стожка.

Рассветало. Паровозный гудок все еще не утих. Сосны спросонья передавали друг дружке эхо гудка, и звук его как бы заново рождался в просыпающемся лесу.

Можно было вздремнуть еще, но мне не терпелось скорее попасть на заставу. Я поднялся, умылся холодной росой, которую собрал с широкого листа лопуха, и поспешил к станции.

Едва затихло эхо гудка, как из-за поворота показался паровоз. Чудилось, будто он выскочил прямо из гущи деревьев и вместе с собой привез солнце, появившееся над кромкой леса. Чистым румянцем вспыхнули верхушки сосен. Хвоя, словно умытая холодной ключевой водой,

ярко зазеленела. Где-то совсем рядом со мной и там, дальше, в глубине леса, засвистели и защелкали невидимые птицы, начав утреннюю перекличку.

Я поднялся на старую деревянную платформу и пошел вдоль состава, заглядывая в окна вагонов. Бедные пассажиры: они мирно спали и не видели ни этой чудесной, будто игрушечной, станции, ни сосен, нежившихся под ясным сиянием несмелого утреннего солнца.

Еще минута, и в дверях станционного домика появился маленький шустрый человек в красной фуражке. Это был начальник станции. Кругленький, толстый, он колом покотился к паровозу. Машинист принял жезл, паровоз загудел и тронулся с места.

Когда поезд исчез за поворотом, сосны уже были залиты мягким солнечным светом, таким мягким, какой бывает только в местах, близких к морю.

Так началось это утро.

Я сошел с платформы, обогнул штабеля сосновых бревен, пробрался по тропинке, утонувшей в росистой траве, и, выйдя на проселочную дорогу, зашагал по ней.

Вскоре меня вывело из глубокой задумчивости негромкое поскрипывание колес. Я оглянулся. Позади мелкой рысцой трусила пара серых коней, запряженных в телегу. Возницы не было видно, и казалось, что в телеге никто не сидит и что лошади, никем не понукаемые, сами не спеша бегут по дороге. Я сошел на обочину. Телега, поравнявшись со мною, остановилась. Лишь теперь я увидел возницу, который до этого, видимо, лежал на дне телеги. Это был молодой парень в красной майке. Широколицый и на вид добродушный, он, улыбаясь, смотрел на меня узкими всевидящими глазами. У него было мускулистое, загорелое, крепко сбитое тело. Казалось, майка вот-вот лопнет на нем от напряжения.

— Здорово, — приятным баском заговорил он, обращаясь ко мне, как к старому знакомому. — Садитесь, подвезу.

— Смотря куда подвезешь, — сказал я.

— А куда вам?

Я ответил, что мне нужен поселок Светлый.

— Точно! — обрадованно воскликнул парень, будто для него не было ничего приятнее, чем подвезти меня на своей телеге. — Я держу курс по этому маршруту. Садитесь. Все равно мой ТУ-104 пустой.

Я засмеялся и полез в телегу. Парень заботливо подстелил мне охапку сена и стегнул коней. Телега покати-лась.

Парень оказался на редкость словоохотливым. Удительно, но он ничего не спрашивал у меня, не интересовался, почему я еду в поселок, есть ли там у меня кто из родственников или знакомых, откуда я. Ни разу не произнес он и слова «застава». Больше всего он рассказывал о себе и, вероятно, был убежден, что все рассказываемое им воспринимается мною с необыкновенным интересом.

— Третий год работаю трактористом в лесхозе и никак в техникум не поступлю, — пожаловался он. — А тут еще жениться надумал. Да так и застрял на распутье. Первым делом надо бы в техникум определиться. А с другой точки зрения, не женись — девку перехватят. У нас только зевни — враз уведут. Классически. Только и пропоешь: «А счастье было так возможно...»

— И хороша невеста? — полюбопытствовал я.

Парень засиял.

— И-и-эх! — протянул он, давая понять, что человеческий язык бессилён обрисовать чудесные качества его невесты. — Не девка, а ягодка лесная. Нюра...

Из его рассказа я узнал кое-какие подробности и о киносъёмочной группе. Парень, оказывается, успел сняться в массовых сценах и теперь ждёт не дожждется, когда картина выйдет на экран.

— Артисты, в основном, знаменитые, — хвастливо говорил он, перечисляя мне фамилии, и маленькие зоркие глаза его при этом коротко и стремительно стреляли в меня. — В поселке только и разговору, что о них. Каждого перебивают. И какое у кого лицо, и кто каким слабостям поддается, и кто, хоть и чужак, а настоящий человек. Вот, скажем, Петр Ефимович. Пожилой, чудной такой. С седыми бровями. Он на шпионах специализировался. А сам заядлый рыбак. Рыбалку ни на что не променяет. График перепутает, уйдет на озеро, с удочками сидит. А тут съёмка начинается. Режиссер кричит, сердится — весь лес переполошит. А потом нашел выход. Собрал целую стаю мальчишек и говорит: «Вам боевой приказ. Найти, задержать и доставить ко мне шпиона». Ну, пацаны Петра Ефимовича знают, им такие приказы хоть каждую минуту отдавай. Сцапают они его, приведут.

А тот ворчит: «Не в состоянии я, говорит, сейчас врага ползучего изображать. Клев мне всю душу перевернул, я стихами говорить хочу». Смеху — вагон. А так народ веселый, простой. Одна артистка, молоденькая совсем, ча-стушки деревенские записывает. По вечерам куда парни с девушками, туда и она.

Мой возница взглянул на часы и подхлестнул коней.

— А самый веселый — режиссер. Говорун! За говорилю ему хоть трудодни начисляй. И все у него — восторг! Увидит звездочку над лесом, ну самую обыкновенную, и сразу: «Чудо!» Или сосну старую-престарую, разлохмаченную. С нее уже вся смола выветрилась, ей одна дорога — на дрова. И все равно: «Чудо!» И так чисто-сердечно скажет, что сам посмотришь и так же подумаешь. Костюм у него весь на «молниях». Техника!

Парень говорил, а у меня, помимо моей воли, рождалась зависть к своим братьям по искусству. Они уже на границе, они уже творят. А я еще не увидел ничего необыкновенного.

— А вот линию жизни он неправильную взял, — вдруг нахмурился парень, и ранние морщинки четче обозначились на его крутом лбу. — Картину запросто делает. Классическую. По всей стране, вполне возможно, прогремит. А живет он неправильно.

— Как же это понять?

— Понять нетрудно. Как дважды два. Рассказывать длинно. Я вам лучше про свою работу.

Он весь загорелся, когда стал рассказывать о рубке леса. Лучшими минутами своей работы он считал те, когда спиленное дерево, со свистом рассекая воздух, устремляется к земле. Он воспевал ту самую картину, на которую я обычно не мог смотреть без содрогания: слегка поколебавшись, словно еще не поняв, что жизнь окончена, не успев проститься с землей и небом, падает навзничь, чтобы больше уже никогда не подняться, красавица сосна. Падает с надрывным, раздирающим душу стоном.

— Лес — это целая поэма, — задумчиво сказал я, выслушав парня. — И нельзя только мерить его на кубометры.

— При чем здесь поэма? — удивился он. — Из поэмы хаты не выстроишь. У нас норма, сроки, процент. Может,

по-вашему, береза — это песня, а по-моему, — стройматериал.

Мы горячо заспорили. Я рисовал ему, как рождается в лесу серебристый колокольчик ландыша, как настырно пробивает сыроватую мшистую землю первый подосиновик со шляпкой, вспыхивающей жарким огоньком, как безудержно плачет раненая береза, как благодарны лесу речки и родники. Парень хитровато улыбался, всем своим видом показывая, что все, что я ему говорю, для него не новость, и стоял на своем. Спор так захватил меня, что я не заметил, как телега остановилась.

— Приехали, — строго сказал парень, погасив улыбку.

Я привстал со своего сиденья и осмотрелся. С обеих сторон по-прежнему стоял лес. Здесь было много берез. Но ни вблизи, ни дальше я не заметил ни одной постройки.

— Да где же поселок? — спросил я в недоумении.

— А вот тут, за березняком, — ответил парень.

Мы вылезли из телеги, и сразу же за деревьями я увидел арку, выкрашенную в зеленый цвет, и красный, успевший слегка полинять флаг на мачте.

— Застава? — обрадованно спросил я.

Парень покосился на меня. Теперь глаза его не смеялись, и мне показалось, что он не понимает, почему я говорю таким радостным тоном.

— Застава, — подтвердил он, все еще недоверчиво поглядывая на меня. — Тут у нас все дороги ведут на заставу, какую ни возьми. А новенькие сперва с начальником знакомятся. Как говорится, визит вежливости. Пройдемте?

Поняв, что я не сопротивляюсь, парень разочарованно взглянул на мое спокойное лицо, но пошел рядом сильной молодцеватой походкой. Хмурый большеглазый часовой молча открыл калитку. Едва мы миновали ее, как нам навстречу поспешил высокий сухощавый сержант.

— Привет дружинникам, — внушительно поздоровался он, пожав руку парня своей жилистой шершавой ладонью. — Задержал, что ли, Павел?

— Да вот разберись, товарищ Ландышев! — неопределенным тоном проговорил тот, махнув рукой куда-то в сторону.

Сержант вопросительно оглядел меня с ног до головы пристальным взглядом. Я предъявил паспорт и сказал, что хотел бы видеть начальника заставы. Ландышев перевел мечтательные глаза с фотокарточки на мое лицо и улыбнулся:

— Все в порядке.

— Значит, свой? — неуверенно спросил Павел.

— А тебе как хотелось? — поинтересовался я.

— Так ведь он думал, что вы будете одиннадцатым, — ответил за Павла Ландышев. — У него уже десять на счету.

— Вы уж извините, у нас так заведено, — отвернувшись, проговорил Павел.

— Правильно действуешь, — пожал я ему руку. — Мы еще встретимся. Рассказывать ты мастер, не хуже того режиссера. И отличный дипломат. Кстати, и с Нюрой меня познакомишь.

— С какой Нюрой? — удивился он, но тут же спохватился. — А, вон вы про кого. Только ее не Нюрой, а Вале́й зовут. И не невеста она мне пока что.

Он еще больше раскраснелся и замолчал.

— Да сюда ли я попал? — спохватился я. — Может, ты меня на другую заставу завез? Кто здесь начальник?

— Капитан Нагорный.

— Ну, спасибо за доставку.

Павел направился к подводе.

— Если можно, я подожду здесь, — попросил я.

— Хорошо. Я сейчас доложу начальнику заставы, — согласился Ландышев.

Я сел на скамейку и с интересом осмотрелся вокруг. Двор заставы, огороженный невысоким дощатым забором, радовал своей чистотой и уютом. С обеих сторон под окнами были посажены цветы. Издали они напоминали искусно сотканный коврик. Вся территория заставы была использована по-хозяйски, ни один квадратный метр ее не пустовал. Слева от жилого здания, сразу же за невысокими складскими помещениями, я увидел совсем еще молоденький сад. Вокруг сада росли ягодные кусты, образуя живую изгородь.

Вернулся дежурный.

— Капитан сейчас придет, — сказал он.

— Хороший у вас сад, — заметил я Ландышеву.

— К нам даже на экскурсию ездят. С других застав, — не без гордости произнес он. — А секрет простой. Капитан порядок завел: каждый пограничник должен о себе память оставить — фруктовое дерево посадить. Скоро здесь места не будет, за территорией сажать начнем.

— Недурно бы такой порядок на всей земле завести, — поддержал я сержанта. — Говорят, в одной восточной стране человек не имеет права жениться, пока не вырастит дерева.

— Здорово! — восхищенно воскликнул Ландышев. — Разумная инициатива!

Ландышева позвали, и он ушел в помещение. Я продолжал рассматривать все, что было вокруг меня.

У самого крыльца висел большой плакат. На нем была изображена мачта высоковольтной линии. Возле нее — пограничник с автоматом. Снизу к мачте тянутся крючковатые хищные лапы империалистов, но их грозно предупреждает надпись: «Не трогать. Опасно! Ясно?»

Меня удивила тишина. Окна жилого здания были закрыты ставнями. И если бы не часовая, то можно было подумать, что все здешние люди куда-то ушли и неизвестно, когда вернуться. Ни одного звука не было слышно вокруг. Только на чердаке конюшни время от времени вкрадчиво и нежно ворковали голуби.

Неожиданно за моей спиной раздались быстрые, уверенные шаги. Я обернулся. Ко мне подошел совсем еще молодой капитан. Его выразительные серые глаза смотрели на меня со спокойной сдержанностью и едва уловимой грустью. Они были так чисты и глубоки, что мне на миг почудилось, будто я заглянул в тихие лесные роднички. Тщательно отутюженная гимнастерка сидела на нем ладно и красиво, плотно облекая некрупное, но сильное тело.

Во внешности этого человека я не заметил ничего мужественного. Правда, худощавое лицо его было сильно обветрено и словно прокалено жарким солнцем. Можно было подумать, что он всю жизнь провел в среднеазиатской пустыне. Но взгляд его был слишком мягок и задумчив.

Кое-что я сразу же успел отнести к его достоинствам: в жестах капитана не чувствовалось той чересчур пружинистой и резкой собранности, которая сразу же выдает пунктуального и педантичного служаку; не заметил

я и щегольства, присущего тем, особенно молодым, офицерам, которые хотят произвести на нового человека наиболее эффектное впечатление и блеснуть «военной косточкой».

И все же мне казалось, что этих достоинств было мало.

— Капитан Нагорный, начальник заставы, — отрекомендовался он, приложив руку к козырьку новенькой фуражки с зеленым верхом.

— Вы — Нагорный? — вырвалось у меня. До последней секунды меня не покидала надежда на то, что ко мне подошел другой офицер заставы и что встреча с Нагорным будет впереди.

Я тут же спохватился. Слишком уж замечен был оттенок разочарования в моем тоне.

— Да, я, — подтвердил он застенчиво.

Мне не понравилась эта застенчивость. Я мечтал увидеть человека беспокойного, кипучего, охваченного неутолимой жаждой деятельности, порывистого и стремительного, в каждом движении которого чувствуется воля хорошего организатора, знающего счет секундам. Человека, который сразу же зажег бы в моей душе чувство границы, радостную и волнующую тревогу, заставил жить вечным и счастливым ожиданием чего-то необыкновенного, романтического и увлекательного. Я был уже почти убежден, что Нагорный не способен сделать это. Он держался слишком неприметно и слишком спокойно, кажется, даже несколько бесстрастно. Терпеливо ожидал моих вопросов и несмело поглядывал на меня.

«Вот тебе и Перепелкин, — с досадой подумал я. — Нашел ветерана. Тут похоже, что он не так уж давно с училищем распрощался».

И я, откровенно говоря, подумал о том, что через денек-другой придется просить Перепелкина, чтобы он послал меня к более умудренному жизнью человеку.

— Мне уже звонили из отряда, — сообщил Нагорный. — Ночные наряды сейчас спят. Пойдемте, я вас устрою. Жить будете у меня.

— А нельзя ли в казарме?

— Нет у нас, нет у нас! — услышал я вдруг тоненький детский голосок.

Мы обернулись. Возле нас стояла девочка лет пяти или шести, с круглым, искрящимся от любопытства ли-

цом. Коротенькая косичка, бронзовая, как колос переспелой пшеницы, расплелась и смешно высывалась из-под белой панамки. Девочка смотрела на меня своими блестящими глазами и как-то беспомощно и доверчиво моргала пушистыми ресницами. Я не мог не улыбнуться.

— Здравствуй, дочка!

Девочка смешно вскинула правую руку к панамке и поприветствовала меня по-военному. Это получилось у нее как у настоящего солдата. Потом она смело пожала протянутую мной руку.

— Ого! — воскликнул я, смеясь, и поднял ее на руки. — Тут, оказывается, растут кадры пограничников. Но ведь девочек, насколько мне известно, не принимают.

— А я буду пограничницей, — певуче ответила она. — Меня папа примет.

— А кто твой папа?

— Вы же знаете, — улыбнулась девочка. Она произнесла эти слова таким тоном, будто уличила меня в преднамеренной хитрости. — Папа стоит рядом с вами, а вы спрашиваете. А почему у вас погонов нет? Старшина не выдал?

— Старшина! — воскликнул я. — Он мне так сказал: на заставе послужи и погоны заслужи. Давай сначала знакомиться. Как зовут тебя?

— Света. А солдаты зовут Светланкой.

— Значит, Светлячок. Вот и я буду тебя так называть.

— А что такое светлячок?

— О, это такой чудесный жучок. Самый удивительный на свете. Он летает и светится ночью, как раскаленный уголек. Или как маленький летающий фонарик.

— Тогда согласна. Только живите у нас.

Она выскользнула из моих рук и побежала по дорожке.

— Играть ей не с кем, — будто извиняясь передо мной, сказал Нагорный, и по взгляду, которым он проводил дочку, мне стало ясно, что он ее очень любит. — Целый день за солдатами бегают. На мальчишку больше похожа. А малышей больше нет.

Света уже отбежала далеко от нас, неожиданно обернулась, сложила ладошки рупором и протяжно крикнула:

— А у нас мама опять ушла!

Едва приметная тень пробежала по лицу Нагорного, но это длилось всего лишь мгновение.

Я забрал свой рюкзак и пошел вслед за Нагорным.

С левой стороны тропинки, по которой мы шли, вскоре показался огород. Среди грядок капусты, огурцов, лука и других овощей я увидел высокого стройного человека в полосатой пижаме. Он был широкоплеч и крепкогруд. Закатанные выше локтей рукава открывали мускулистые загорелые руки. По виду этот человек был хорошим физкультурником. Он аппетитно хрустел только что сорванным огурцом. Рядом с ним стояла беленькая женщина в китайском халате и чему-то улыбалась жизнерадостной и в то же время наивной улыбкой.

Я услышал часть их разговора.

— Ты сорвал мой огурец, — нарочито обиженным тоном сказала женщина. Щеки ее разгорелись, точно их подожгли.

— Самый обыкновенный огурец, — хрипловатым баском откликнулся мужчина. — Ничего особенного.

— Ничего особенного! — возмущенно повторила она его слова. — А еще говоришь, что у каждого художника зоркие глаза. Огурец был такой свежий. Как новорожденный. Весь в пупырышках. И капельки росы на нем ледяные, прямо рот обжигают. И как ты мог съесть его! Он сам просился в натюрморт.

Я не расслышал, что он ответил ей, а видел только, что мужчина взял ее за плечи. Их лиц уже не было видно, но мне показалось, что они поцеловались.

Когда мы проходили мимо них, женщина, заметив нас, приветливо кивнула нам головой. Мужчина в знак приветствия поднял мощную руку вверх и слегка потряс ею. Нагорный отдал честь и ничего не сказал.

— Кто это? — спросил я Нагорного, когда мы были уже далеко.

— Мой заместитель. Лейтенант Колосков. С женой, — коротко ответил он и, подумав, добавил: — Молодые. Резвятся.

— Вы не одобряете такую резвость?

— Нет, почему же... — уклончиво ответил Нагорный, и мне показалось, что он произнес эти слова с сожалением.

Тропинка вывела нас на песчаную дорогу.

— Дело не в этом, — вдруг сказал Нагорный. — На заставе — и в пижаме.

— А что, нельзя? Даже в свободное время?

— Застава есть застава, — сурово отчеканил он и резко одернул гимнастерку.

3

Дом; в котором жил Нагорный вместе с Колосковым, был кирпичный, с островерхой черепичной крышей. Судя по тому, что черепица во многих местах покрылась густым и плотным зеленым мхом, можно было догадаться, что дом построен давно, однако выглядел он моложе своих лет благодаря свежей светло-коричневой окраске. Перед домом, огороженным мелкой металлической сеткой, пышно разрослась смородина.

— Уютный домик, — похвалил я. — Отремонтировали?

— Почти заново сделали, — оживился Нагорный. — Это была самая обыкновенная коробка. Знаете, таких много оставалось после войны.

— И давно восстановили?

— Год назад. Раньше офицеры жили в поселке. За шесть километров. Дома раз в сутки бывали, да и то не всегда. А главное, для службы было несподручно. Теперь, можно сказать, на заставе живем.

Мы поднимались уже по ступенькам крыльца, когда из-за угла дома появилась невысокая пожилая женщина в синей шерстяной кофточке и с легкой косынкой на голове. Она шла мелкими быстрыми шагами. Увидев нас, приложила ладонь ко лбу, защищаясь от солнца, и пристально посмотрела на меня. Мне сделалось как-то теплее от дружелюбного взгляда ее карих, по-молодому ясных, приветливых глаз.

— Знакомьтесь, — сказал Нагорный. — Это моя мать, Мария Петровна.

— Климов, — представился я, пожимая ее маленькую теплую ладонь.

— Партийный работник, хочет познакомиться с жизнью пограничников, — добавил Нагорный. — Устраивай, мать.

Дело в том, что я попросил Нагорного, а еще раньше Перепелкина, не говорить никому, что я журналист. Я боялся, что, узнав о моей профессии, люди, которые меня будут интересоваться, замкнутся и уйдут в себя. Но кто

мог предвидеть, что проницательную Марию Петровну не так-то просто ввести в заблуждение.

— Ты можешь мне об этом и не сообщать, — обидчиво сказала она и, обращаясь ко мне, не без иронии добавила: — Представьте, я читала ваши очерки. Я очень внимательно слежу за печатью.

Мы с Нагорным переглянулись.

— Не притворяйтесь, — заговорила она таким тоном, словно уличила меня в шалости. — Кстати, в ваших очерках мне не все понравилось. Вашим героям все дается очень легко. Будто у них в жизни не было ни горя, ни ошибок. А ведь люди идут трудной тропой. Иначе они обошлись бы без воли и упорства. Не сердитесь, это плохо, если в книге все нравится. Ну, об этом мы еще поговорим.

— Но, вероятно, вы имеете в виду моего однофамильца, — не совсем уверенно сказал я.

— А фотография? Запомните, у меня прекрасная зрительная память, — засмеялась она, довольная, что из моей затеи ничего не вышло. — Мой муж был пограничник, а у жены пограничника тоже должны быть зоркие глаза. Бывало, что и мы, женщины, ложились за пулемет. Но вы не бойтесь, я вашего инкогнито никому не выдам. Я очень хорошо понимаю ваш замысел. Мы скажем всем любопытным, что вы — наш родственник. Хорошо, что вы приехали. Это очень кстати, очень!

Сказав это, Мария Петровна мельком скользнула взглядом по лицу сына, тот укоризненно качнул головой, и она умолкла.

— Я совсем упустил из виду, — сказал Нагорный матери, когда мы вошли в комнату, — что ты у нас большой книголюб.

— Да, это чувствуется, — проговорил я, подходя к полкам с книгами, вытянувшимся вдоль одной из стен комнаты.

Тут же, позабыв спросить разрешения, я принялся перебирать книги. У книжных полок я почувствовал себя совсем как дома.

— У нас вся семья собралась книжная, — подошла ко мне Мария Петровна. — Читаем запоем. Даже Светлана к книгам равнодушна. Уже их ставить некуда, а все покупаем. Просто болезнь какая-то. Знаете, как пьяницу тянет к водке.

— Побольше бы таких пьяниц.

— Нет, знаете, это тоже горе. Видите, какой у нас коврик бедненький. Еще из моего приданого. Я его по всем границам провезла. И шифоньера до сих пор не приобрели. Сколько денег летит на книги! Уж зарок давали книжный магазин стороной обходить. Да где там! Подписные издания выкупать надо? Надо. Да что говорить, без книг не житье. Я кастрюльки бросала, а книги перевозила.

— Мама руководствуется правилом: лучше много знать, чем много иметь, — вставил Нагорный.

— Ты уж на маму не сваливай, — рассердилась Мария Петровна. — Сам это правило выдумал. Сколько раз Нонна тебе говорила...

— Это совсем не интересно, — резко перебил ее Нагорный.

Мария Петровна тревожно посмотрела на него и, будто вспомнив о чем-то, виновато заморгала глазами. «Не сердись, — как бы говорил ее взгляд, — я совсем, совсем забыла...»

Мы сели за стол. Борщ оказался чудесным. Он был из свежей капусты, с мясом, заправлен старым пахучим салом и душистым болгарским перцем. Давно я не ел такого борща. Перед обедом мы с Нагорным выпили по рюмке доброго коньяку, а Марии Петровне я налил хорошего молдавского вина, которое купил еще в городе. Ей очень понравилось, что вино пахнет цветами. Видя, что я особенно налегаю на салат из овощей, Мария Петровна принесла для меня большой пучок молодого чеснока, укропа и петрушки.

Накормив нас, Мария Петровна пошла разыскивать Светланку. Нагорный распахнул окно. Запахло яблоками, черной смородиной, холодной мятой. Солнце заволакивало тучами, и откуда-то из глубоких тайников леса вдруг вырвался на волю сырой ветер.

— Вот здесь мы и живем, — задумчиво сказал Нагорный, словно обращаясь к кому-то, стоявшему там, за окном.

— Прекрасное место, — подхватил я. — Лес под боком. Руку протяни — и достанешь матушку-сосну. Это же настоящее чудо. — Я вдруг вспомнил, что режиссер, о котором рассказывал Павел, тоже все называл чудом, и осекся. — Сосны, наверное, стонут во время бури.

Нагорный резко повернулся ко мне, став спиной к окну. Лицо его обострилось, густые брови стремительно сомкнулись над переносицей. Он смотрел на меня злыми глазами.

— А вы прожили бы здесь, скажем, пять лет? Или десять? — жестко, точно строгий учитель на экзамене, спросил он. — Только отвечайте прямо.

— Не знаю, — откровенно признался я. — Мне трудно судить. Я здесь всего только гость. И говорю лишь о первом впечатлении. Кроме того, многое зависит от характера человека. Я, например, очень большой непоседа.

— Ладно, — сказал он немного спокойнее. — Я расскажу вам кое-что об этих местах.

Из его рассказа я узнал, что здесь все плохо: замучили вечные дожди, погода меняется двадцать раз на день, зима гнилая, сырость невероятная. Иногда на внутренних сторонах стен и в жилых помещениях выступают капли воды. Здешний климат он назвал туберкулезным. Правый фланг участка сильно заболочен, и там нарядом житья не дают комары. Но странное дело: тут же Нагорный начал расхваливать Камчатку, где он, оказывается, служил раньше. С увлечением рассказывал о свирепых буранах, о том, что частенько приходилось ему, помимо своей воли, купаться в ледяной морской воде, о чудесной малосольной кетовой икре, о собачьих упряжках, которые местные шутники окрестили «камчатским такси». Я не бывал в тех местах и потому слушал его с особым интересом.

— Но ведь там не легче, — заметил я, когда он закончил.

— А вы знаете, что я уже год не был в театре? — спросил он вместо того, чтобы ответить на мой вопрос. — Моя дочь растет без подруг и становится маленьким солдатом. В школу ее придется возить чуть ли не за десять километров. У нас один-единственный маршрут круглый год: квартира — застава — граница и обратно. Человек может одичать.

Я не верил своим ушам. Он говорил мне все это таким тоном, будто я был виновником того, что он тут живет. И разве можно с таким настроением хорошо работать?

«Так, так, товарищ Перепелкин, не знаете вы людей, не знаете», — подумал я, вспоминая свой разговор с подполковником. «Но почему же он в таком случае хвалит

Камчатку? — тут же мелькнула у меня мысль. — Или с годами потух огонек?»

Неожиданно сердито зазуммерил стоявший на подоконнике полевой телефон. Нагорный схватил трубку.

— Следы на левом фланге? — переспросил он спокойно, и все же в его голосе было что-то такое, что заставило меня вздрогнуть. — От нас? К нам? Тревожную группу — немедленно, — отрывисто приказал он. — Состав: Пшеничный, Соколов, Исаев. Пшеничному и мне — коней.

— И мне, — умоляюще вставил я.

— И еще одного коня дополнительно. Посмирнее, — добавил Нагорный.

— Происшествие? — возбужденно спросил я.

Нагорный промолчал.

«В первый же день приезда на заставу — столкновение с нарушителем границы», — ликовал я, не пытаясь скрыть своей радости.

Нагорный положил трубку и выскочил за дверь. Я ринулся вслед за ним. Во дворе он едва не столкнулся с Колосковым.

— Доложите в отряд! — не останавливаясь, прокричал ему Нагорный. — На левом — следы.

— Не преждевременно? — откликнулся Колосков.

— Делайте, что приказано, — отрезал Нагорный.

Через три минуты мы были на заставе. Тревожная группа в полной готовности стояла в строю. Нагорный поставил пограничникам задачу. По полу застучали сапоги, топот ног раздался во дворе, и снова все стихло.

Мы быстро вышли на крыльцо. Коновод подвел оседланных коней.

— Ну и придумал Смоляков, — укоризненно сказал коноводу Нагорный. — Товарищу Климову самую строптивую кобылу оседлал.

— Да она поумнела, товарищ капитан, — весело отозвался круглолицый коновод с плутоватыми глазами.

Смоляков, конечно, знал, что нам некогда возиться и нужно выезжать, не теряя ни одной секунды. Но он понимал, что капитан вполне сможет обойтись и без меня, и, как видно, решил потешиться. Я разгадал его замысел, когда увидел, с каким напряженным вниманием, готовый расплыться в блаженной счастливой улыбке, наблюдал он за каждым моим движением. Однако он не

учел, что перед ним не новичок, которого любой порядочный конь угадает за полверсты и начнет выделять с ним, что только ему заблагорассудится.

Кобыла действительно упрямилась, когда я подошел к ней. Она сразу же заплесала, стараясь отвести от меня свой корпус и не дать сесть. Но я предупредительно и веско похлопал ее ладонью по лоснящейся шелковистой шее, натянул левый повод и, несмотря на ее приплясывания, вставил левую ногу в стремя, а правую, почти не сгибая в коленке, перекинул через седло. Она встала на дыбы, но сбросить меня ей не удалось.

Мы поскакали по проселочной дороге. Я ехал справа и чуть сзади Нагорного. Время от времени капитан оглядывался на меня. Кажется, он был доволен моей посадкой.

Вскоре дорога, обсаженная с обеих сторон деревьями, закончилась, и мы подъехали к высокой вышке. Пограничник, стоявший наверху, уже давно заметил нас.

— Зоркий у вас народ, — похвалил я солдата.

— На людей не жалуюсь, — откликнулся Нагорный.

Он быстро взглянул на меня, чему-то едва заметно улыбнулся и прищипорил коня. Размашистой рысью мы проехали по открытой, хорошо наезженной дороге, миновали узкую просеку, точно ножом разрезавшую молодую сосновую рощу, и очутились у длинной полосы густого низкорослого кустарника. Она тянулась слева и справа от нас, то исчезая в глубоких лощинах, то снова появляясь на возвышенностях.

В высоком небе звенел невидимый простым глазом жаворонок, но мне сейчас было не до него.

Повернув направо, мы поехали вдоль этой полосы. Тропка, по которой рысили наши кони, была твердой, утоптанной. На нее насадала высокая трава, кое-где достававшая до лошадиных морд.

Прямо перед нами открылось большое озеро. Берега его оказались топкими, здесь привольно разросся камыш и молодые светло-зеленые вербы. Через узкую горловину озера были проложены деревянные мостки с перилами. Кое-где мостки были залиты водой. Мы спешили и повели коней в поводу.

— Трудновато здесь ночью, — заметил я.

— Это не Невский проспект, — согласился Нагорный. — Но бывает хуже.

Миновав мостки, он ловко вскочил на коня без помощи стремян, прищепил его, давая понять, что разговаривать сейчас некогда.

И вот мы подъехали к месту, где были обнаружены следы. Нас встретил пограничник со смуглым лицом. Это был Хушоян. Он, горячася и сбиваясь, доложил Нагорному о происшествии.

— Где Пшеничный? — спросил Нагорный.

— По следу пошел. Наряд границу закрыл.

Нагорный двинулся вперед. Он сразу же стал бодрым, сосредоточенным, готовым к действию. И лишь в глазах, когда я встречался с ними, все еще жил слабый отблеск горечи и усталости. Я неотступно следовал за ним, стараясь не упустить ни одного его движения.

Дозорная тропа в лощине шла через сильно заболоченное место. Служебная полоса пролежала чуть повыше, по сухому склону высоты. На ней и виднелись следы. Они образовывали ясно видимый полукруг и снова исчезали на тропе. Нагорный присел к отпечатку и вымерил его сухой травинкой. Потом вдруг заговорил, будто убеждая самого себя:

— Так. Прошел мужчина. В сапогах. Точно. Молодой. Тоже точно. Один. Худой. Невысокий. Без груза. Шел спокойно. Точно.

Я ничего не понимал. Нагорный говорил это, не отрывая глаз от следа, словно читал по книге. Я же, сколько ни всматривался в след, ничего не смог бы сказать о нем, кроме того, что он оставлен человеком, обутым в сапоги. Хушоян слушал капитана, восторженно причмокивая влажными губами.

— Скажи, пожалуйста! — повторял он, то и дело поглядывая на меня, словно призывая в свидетели. — Я тоже так думал.

— Хитришь, дорогой, — в тон ему сказал Нагорный. — Почему сразу не доложил?

— Как буду докладывать? — нахмурился Хушоян. — Один раз зимой докладывал, лейтенант Колосков говорит: косою языком. Зачем так говорит? Зачем обижает?

— Долго же ты помнишь, — похлопал его по плечу Нагорный. — И все же молодец: зоркие у тебя глаза.

— Так точно, товарищ капитан! — просиял Хушоян, и улыбка еще ярче озарила его лицо. — Мои глаза все хотят видеть.

— Не хвались, — доброжелательно одернул его Нагорный. — Цыплят по осени считают. А пока включись в линию, вызови с заставы Уварова. Пусть сюда летит. По тревоге!

— Есть! — громко выкрикнул Хушоян и бросился выполнять приказание. Я понял, что он любит выполнять то, что приказывает ему капитан.

В это время из кустов вынырнул старший сержант с овчаркой. Собака была настроена почему-то благодушно, заискивающе поглядывала на своего проводника и покорно шла рядом.

— Ну что, Пшеничный? — спросил старшего сержанта Нагорный.

— С дозорки след не выходит, — густым басом, хмурясь, будто ему причинили неприятность, доложил Пшеничный. — Проверил до самого стыка. Соседям позволил, чтобы у себя проверили. А собака чуть не до самой заставы довела. Да что говорить, товарищ капитан, своя это работенка.

Я все еще не мог понять, что к чему, и все же чувство тревоги ослабло. Мы уселись на траву, скрывшись за высокие кусты. Нагорный лег на землю и направил бинокль на сопредельную сторону.

На той стороне я увидел точно такие же лощинки, березовые и сосновые массивы, как и у нас. Но сознание того, что рубеж, возле которого мы находились, перейти нельзя, что в светло-синюю, как небо на рассвете, воду маленького озера при всем желании не закинешь удочки, это сознание запретности и рождало чувство границы. Да, мы были на самом переднем крае советской земли!

Наконец появился запыхавшийся Уваров. Овчарка рванулась к нему, но Пшеничный изо всех сил сдерживал ее, натянув поводок. Я с любопытством взглянул на Уварова. Быстрые зеленоватые глаза его растерянно смотрели на Нагорного. Казалось, на полные упругие щеки, к которым так и хотелось притронуться, чтобы проверить их упругость, на маленький упрямо вздернутый нос и даже на покатый лоб кто-то щедро сыпанул полную пригоршню веснушек.

— Рядовой Уваров, — приказал Нагорный. — Пройдите-ка след в след.

Уваров осторожно опустил ногу на отпечаток и огля-

нул на капитана. Кажется, ему что-то хотелось сказать, но он не решался. Помявшись, он сделал еще несколько шагов.

— Да что, — мрачно сказал он, останавливаясь. — Мои следы, товарищ капитан.

— А кто вам велел здесь разгуливать? — строго спросил Нагорный, кивнув головой в сторону служебной полосы. — Вы знаете, что это наше зеркало? Азбуку забыли.

— Заблудился, — насупился Костя.

— Промочить ножки боялся, — зло вставил Пшеничный.

— Еще немного, и мы подняли бы дружину, а там, смотри, попросили бы помощь у отряда, — медленно, отделяя одно слово от другого, продолжал Нагорный. — Отрывали бы людей от напряженного труда. И все из-за рядового Уварова. Так прикажете понимать ваши фокусы?

— С ним всегда какая-нибудь история, — пробурчал Пшеничный.

Я был уверен, что ему хочется отругать Уварова самыми крепкими словами и что он, конечно, недоумевал, почему капитан до сих пор не объявил Уварову приличное количество суток ареста.

И чтобы соответствующим образом настроить начальника заставы, он добавил:

— Шею намылить за это надо.

— Разговор продолжим на заставе, — твердо сказал Нагорный. — А сейчас — все сюда, — позвал он пограничников, и те обступили его. — Изучим следы рядового Уварова. Константина Лукича, — насмешливо добавил он. — Почему, скажете вы, эти следы принадлежат мужчине? Может, женщина надела мужские сапоги? А что? И размер подберет, и фасон. А размах шага? Никуда не денешься. Или угол разворота ступни. У мужчины он всегда больше. Видите? Почему молодой? Дорожка следов прямая. Старый шел бы мелкими шажками и не так ровно. У толстяка нет должного равновесия, он от прямой линии тянет то влево, то вправо. А здесь все нормально. Значит, старика и толстяка тут и в помине не было. А прошел вот такой молодец, — Нагорный бросил взгляд в сторону Кости. — А как рост определить? Длина ступни равна примерно одной седьмой роста. Измеряем. Пе-

ремножаем на семь. Видите, рост примерно метр шестьдесят девять. Как у Уварова. Шел без груза. А вот если бы он тащил на себе, скажем, рацию, он бы ноги пошире расставлял для упора. Давность следа известна. Все знаете, когда Уваров из наряда вернулся. Вот и вся наука. Не первый раз слышите. Тренировка нужна. Плохой следопыт — все равно что слепой человек.

— Скажи пожалуйста! — восхищенно воскликнул Хушоян. — Я тоже так думал.

— Берите коней — и на заставу, — приказал Нагорный Пшеничному. — А мы пешком. Ну, и Уваров с нами. Ему пешком полезно, будет время подумать.

Мы двинулись в обратный путь. Позади нас плелся хмурый Костя. Нагорный шел молча, будто забыл и про меня, и про Уварова. Лишь один раз он приостановился и, обернувшись к Уварову, пообещал:

— Я еще про твои фокусы Зойке расскажу. Пускай повеселится.

Костя не вымолвил ни одного слова в свое оправдание. На лице его выступили капельки пота. Но веснушки проступали все так же отчетливо.

Мы подошли к большой лужайке, окруженной веселыми молодыми березами. Ветер уже успел разметать тучи, и небо прояснилось.

Стояла та пора лета, когда земля украшает себя полевыми цветами и лежит счастливая, зная, что люди любят ее скромной, неяркой красотой.

Я попросил у Нагорного бинокль и, сняв очки, на ходу время от времени смотрел в него. Все, что было не под силу увидеть невооруженному глазу, что казалось далеким от нас, окутанным легкой дымкой тайны, бинокль приближал, делал доступным и ясным. Сперва я направил его на вышку и увидел на ней лобастого плечистого пограничника. В густой неразберихе темно-зеленых крепких листьев кряжистого дуба, обособленно и независимо стоявшего на опушке и словно намертво вросшего в землю, разглядел старое, полуразрушенное птичье гнездо. Потом в поле моего зрения попал веселый золотистый подсолнух.

Окуляры бинокля спешили дальше, нетерпеливо перескакивая с одного места на другое, и неожиданно наткнулись на двух человек — мужчину и женщину, которые медленно брели по траве, поднимаясь на пригорок.

Женщина была в легком светлом плаще с откидным капюшоном. Широкополая капроновая шляпа не могла спрятать пышных золотистых волос, пронизанных вспыхнувшим лучом предзакатного солнца. Время от времени женщина нагибалась, чтобы сорвать цветок, и тут же, стремительным изящным движением поворачивалась к мужчине, чтобы показать свою находку.

Мужчина был чуть ниже ее. Он шел непринужденно и легко. Грива черных волос свешивалась с непокрытой головы на воротник светло-коричневого костюма. Что-то металлическое время от времени резко сверкало на его пиджаке и тут же погасало.

Я засмотрелся на них, но вдруг понял, что они идут совсем близко от линии границы.

— Это свои? — обратился я к Косте, передавая ему бинокль. — Или, может, на мое счастье, нарушители?

Костя посмотрел в ту сторону, куда я ему указал. Я ждал ответа, но он нестерпимо долго молчал.

— Ну что? — не выдержав, рассмеялся Нагорный. — Вот товарищ Климов и скажет: «Что за молчуны эти пограничники?» Видно что-нибудь? Или плохому наблюдателю и бинокль не помощник? Можете вы доложить, свои там или чужие?

— Могу, — почему-то смущенно и тихо ответил Костя.

— Так докладывайте! — терпение Нагорного, кажется, иссякало. — Смотрите, мы же сгораем от любопытства.

Костя неуклюже выпустил из рук бинокль, и он раскачиваясь, повис на ремешке, перекинутом через его голову.

— Ну? — напустился на него Нагорный. — Кого вы там увидели, черт побери?

— Да там... — несмело начал Костя и вдруг добавил решительнее и тверже: — Ну это, режиссер...

— А женщина? — не выдержал я.

Костя не ответил, будто не расслышал моего вопроса.

Нагорный нетерпеливым движением забрал у Кости бинокль, приткнул к окулярам, но тут же, оторвав его от глаз, обернулся ко мне.

— Не везет вам, товарищ Климов, — вызывающе сказал он. — Нет нарушителей. И нет происшествий. Спокойная жизнь.

И он вдруг резко ускорил шаг.

Через несколько дней я уже имел некоторое представление о пограничной службе, познакомился с участком, который охраняет застава, с жизнью пограничников. Застава жила хорошей, дружной семьей. Народ был здесь приветливый, скромный, веселый, и я не чувствовал себя чужим. Правда, первое время, как это обычно бывает, люди ко мне присматривались, но я держал себя со всеми просто, как равный с равными, и ко мне быстро привыкли. Однако мне надоело быть в роли наблюдателя, и однажды я сказал Нагорному:

— Дайте мне работу. Пошлите в наряд.

— Ну нет, рано, — возразил он. — Всему свое время. Со мной — пожалуйста. А так присматривайтесь пока.

Это было несправедливо. Я был свидетелем того, как Нагорный целыми ночами пропадал на границе, потом появлялся в конюшне, чтобы показать новичку, как надо чистить коня, днем на политзанятиях водил указкой по карте, рассказывая, какие страны входят в агрессивные блоки, успевал попробовать гречневую кашу и выговаривал повару за то, что тот слабо поджарил крупу и потому вышла размазня, по вечерам играл с солдатами в волейбол и, как ребенок, радовался каждому удачному мячу.

Находясь с людьми, он оживал, был со всеми общителен, иногда шутил, но, оставшись один, мрачнел, становился задумчивым. В такие моменты мне было искренне жаль его.

А дни шли, и я узнавал о людях все больше и больше.

Пробнувшись как-то на рассвете, я услышал незнакомый девичий голосок, доносившийся со двора.

— Ты чего в такую рань? Красотка спать не дает, что ли?

Девушка говорила вроде бы сердито, но чувствовалось, что веселые нотки пересиливают строгость. Ее, видимо, так и подмывало сказать что-нибудь насмешливое, озорное.

— Брось смеяться, — ответил ей хрипловатый юношеский голос.

Голос этот был незрелый, тонкий, но паренек что есть силы старался придать ему басовые оттенки, точно молодой петух.

— А я смеюсь, что ли? — хихикнула девушка. — Красотка еще даст тебе жизни. Вовсе спать перестанешь.

Я никак не мог понять, о ком идет речь. Вероятно, девушка ревнует его к какой-то местной красавице.

— Еще о ней слово скажешь — отлуплю, — самым серьезным тоном пригрозил парень, и тут я наконец понял, кому принадлежали эти слова. С девушкой разговаривал Костя Уваров.

— Ой ли! — задорно воскликнула девушка. — Я тебе жена, что ли?

— Что ли, что ли, — передразнил ее Костя, и тут же послышалась веселая возня.

Я сел на постели. Нагорного уже не было. Дверь во вторую комнату, где спали Мария Петровна и Светлячок, была плотно прикрыта. Я потянулся к окну, стараясь увидеть, с кем это ни свет ни заря болтает Костя. Но все окно закрывал взъерошенный куст шиповника. Ночью над заставой пронесся ошалелый дождь, разгульно плясала молния, и дождевые капли все еще падали с листьев. Казалось, они чувствовали, что еще немного — и появится солнце, которое не даст им так привольно наслаждаться утренним сыроватым холодком, и спешили спрятаться подальше. Так и хотелось подставить ладони под эти чистые студеные капли.

— А что я тебе забыла сказать, Костя, — снова послышался девичий голосок. — Поступай к нам на ферму, что ли? Валентина возражать не будет. У тебя теперь опыт, с тобой соревноваться можно. Вместе Америку по молоку перегонять будем.

В ответ раздался громкий шлепок.

— Дурачок, меня теперь никто любить не будет, — взвизгнула девушка и вдруг спохватилась: — Тише, скаженный, гостя разбудим. Спит, как на курорте.

— Какого еще гостя?

— Да ты что, не видел? Не старый еще, а в очках. И гимнастерка как у тебя, солдатская. Климов.

— Климова знаю, — почему-то невесело сказал Костя.

— Еще бы тебе не знать. Он же видел, как ты вместо нарушителя сам себя поймал.

— Уже разузнала? — едва слышно спросил Костя.

— Я все всегда знаю! — с гордостью похвалилась девушка.

— Ты бы лучше Евдокимову глазки не строила! — вдруг зло сказал Костя.

— А вот и неправда, — возмутилась девушка. — Я его и не видела вовсе. Если кому и сострою глазки, — добавила она уже игриво, — так только тебе. Иди сюда поближе. Ты меня боишься, что ли?

Казалось, не добавляй она этого «что ли», и что-то особенно приятное и озорное исчезло бы в ее разговоре.

Я еще не видел девушку, но был почти уверен, что это одна из тех веселых, общительных и беззаботных резвущек, о которых, встретив раз, думаешь, что знаком с ними с давних пор. Костя, очевидно, послушался ее, подошел, и в тот же миг я увидел, как куст зашатался, словно подхваченный бурей, зашумели листья и целый хор вод капель так и брызнул с них в разные стороны. Костя отчаянно вскрикнул, и сейчас же за окном, словно вихрь, промелькнул цветастый сарафанчик.

— Я тебе это припомню! — крикнул Костя.

Через минуту все стихло.

Мне стало легко и весело, наверное, потому, что разбудили меня молодые жизнерадостные голоса, что можно еще застать восход солнца. Огорчало лишь то, что Нагорный не выполнил своего обещания взять меня на границу.

Я вскочил с постели и принялся делать зарядку. В ту же минуту едва слышно скрипнула дверь и в комнату проскользнула совсем еще юная девушка.

Она была худенькая и гибкая, как прутик лозы. Кругленькое лицо ее так и искрилось любопытством. Она еще не успела со мной поздороваться, не успела извиниться за такое бесцеремонное вторжение, а уже улыбалась той лукавой и таинственной улыбкой, какая бывает у людей, которые загадали загадку и рады, что ее никто не отгадал. Она слегка прикусила белыми, как сметана, зубами маленькую припухлую губу, дошла на цыпочках почти до середины комнаты и невольно попятилась назад.

— Ой, извините! — воскликнула она. — Я думала, что и вы, и Аркадий Сергеевич еще спите.

В ее голосе я не уловил чувства застенчивости или стыдливости, скорее, в нем слышалась шаловливая веселость.

— Как видите, мы уже на ногах, — сказал я, радуясь тому, что еще до ее прихода успел натянуть на себя пижамные штаны. — А вы кто такая?

— Я — Зойка! — ответила она просто и коротко, не переставая улыбаться, и тотчас же присела на краешек стула.

Она осмотрела меня без особого удивления, будто я давным-давно живу здесь и вот так, каждое утро, вижу с нею. Ей явно не терпелось поговорить со мной.

— Так это вы сейчас с каким-то пареньком веселились?

— А вы слышали, что ли? — обрадованно спросила Зойка. Ей, видно, приятно было, что о ее разговоре с Костей знают еще и другие люди. — Это солдат с заставы, — охотно сообщила она мне, как старому знакомому. — Костя Уваров. Вы же его должны знать.

— Вы, как я понял, ревнуете его?

— Я? Ревную? — изумилась Зойка, по-детски всплеснув худенькими, с острыми локотками фуками.

— Ну да. К какой-то красавице.

Зойка так и прыснула. Я показал ей рукой на дверь, предупреждая, что там, в другой комнате, еще спят. Но она продолжала хохотать, едва не упав со стула.

— Красотка? — то и дело переспрашивала она. — Красотка? — и не могла больше сказать ни слова, потому что ее буквально душил смех. Я невольно улыбнулся, все еще не понимая, почему она смеется.

— Красотка? — еще раз, словно колокольчик, прозвенел Зойкин голос, и она ладошками вытерла выступившие слезы. — Ой, никогда еще так не смеялась! Чудной вы! Красоткой корову зовут на заставе, поняли? — Она еще раз хихикнула. — А Костя ее доит, поняли? Только он всегда просит об этом не рассказывать. Военная тайна. Он и мне не признавался, да меня не проведешь, проследила. Да так ловко доит, лучше меня. Я аж позавидовала. А когда он выдоил корову, я крикнула: «Привет передовой доярке!» Так он чуть ведро с молоком не опрокинул. Щеки, как мак, разгорелись. А волосы еще рыжей стали. Чуть было не поссорился со мной. А я ему говорю: «Ничего, Костя, не горюй. Поженимся, коровку свою заведем, по очереди доить будем». Так он весь день за Аркадием Сергеевичем ходил, просил освободить. Я, говорит, приехал служить на границу. И у ме-

ня, говорит, зеленая фуражка. Даром она выдана, что ли? И не согласен я, говорит, корову доить. Только Аркадий Сергеевич на своем стоит — его не поворачишь. «Ты, говорит, Уваров, чудака. Ты каждый день можешь парное молоко попивать и в наряд реже ходить. А знаешь, говорит, в парном молоке сколько разных витаминов? Ты, говорит, совсем неплохо устроился. На твое место ползаставы метит, только знак подай». Толково ему разъяснил, между прочим. Плохо, что ли? Сам молоко пьет и заставу поит. А полезней молока ничего нет. Вы наших солдат видели? Здоровенные все да краснощекие. А с чего? Со строевой подготовки, что ли? С молока.

— Да ты сама не доярка ли? — спросил я.

— Доярка, а как же! Только временно не работаю. Валя мне отпуск предоставила.

— Какая Валя?

— А вы не знаете? — многозначительно спросила Зойка. — Она часто сюда навещается. Наша заведующая фермой. Чуть постарше меня, в прошлом году десятилетку закончила, потом на курсах училась. А я весной на экзаменах по русскому поплыла, мне на осень перенесли. В вечерней школе я. Бросить хотела, так она чуть не прибила меня за это. Марию Петровну уговорила поднатаскать меня. Вот теперь через день прихожу диктант писать. Правила учу. Да еще со Светланкой играю. Она мне как своя. И на меня похожа: веселая да бойкая. А Валентина хитрющая, меня контролировать приходит. Да только у нее на уме другое, совсем другое, — вполголоса добавила Зойка.

— Что же?

— Ишь вы какой! Все хотите знать, — улыбнулась Зойка, но тут же спохватилась и направилась к двери. — Я только одно скажу: она куда лучше Нонны! Та, конечно, на лицо виднее. Красивее, одним словом. Зато у Валентины душа чистая-чистая, ну вот как вода в проруби. Ну, Нонна, конечно, артистка. Только зачем же людьми играть?

— А что же это Нонна не появляется?

Зойка стремительно подошла ко мне вплотную. От непослушных вьющихся волос пахло лесной земляникой. Приподнявшись на носках, она быстро зашептала мне на ухо:

— В кино снимается. В поселке живет и домой приезжает раз в год по обещанию. А режиссер от нее ни на шаг.

— Послушай, — остановил я Зойку. — Нехорошо говорить о людях в их отсутствие. Ты, наверное, знаешь, как это называется.

Зойка разочарованно отскочила от меня.

— Вы же сами расспрашивали, — попробовала обидеться она, но из этого ничего не получилось. — Или вы думаете, что об этом никто не знает, что ли? Да на месте Аркадия Сергеевича я бы ей давно порог показала. А он ее на руках носит. Вы умываться собрались? — тут же перескочила она на другую тему. — Идите, меня не переждете. Я разговорчивая, — с гордостью добавила Зойка.

На дворе меня ослепило ясное и свежее утреннее солнце. Больше всего на свете я любил встречать восход, и если случалось, что просыпал его или погода была облачной, мне казалось, что упустил уйму драгоценного времени.

Густой малинник окружал низенький каменный колодец. Я откинул тяжелую деревянную крышку, опустил ведро на длинной мокрой веревке и заглянул вниз. Оттуда пахнуло холодком.

Умывшись, я долго растирался жестким полотенцем. Тело сделалось красным, будто его ошпарили кипятком, и было приятно чувствовать, как кровь все веселее и веселее бежит по жилам.

Перед тем как вернуться в дом, я постоял на воздухе, любуясь нескончаемым хороводом сосен, что растянулся до самого горизонта. Отсюда, с этого дворика, не видно было даже заставы, она угадывалась лишь по красному флагу, неподвижно повисшему на высокой мачте.

В комнате я застал Зойку. Заложив руки за спину, она важно прохаживалась возле зеркала, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, чтобы получше рассмотреть себя. На голове у нее красовалась моя фуражка, из-под козырька которой выбивался вихор волос. Весь ее вид как бы говорил: «Идет мне? Ну, конечно, идет. Мне все идет, что ни надень, потому что я совсем еще девчонка и очень веселая».

Я поймал себя на мысли, что и впрямь было бы приятно видеть возле себя эту девчонку. Услышав мои ша-

ги; Зойка сбросила с головы фуражку и виновато проговорила:

— И не вовремя же вы вернулись. Ну, не беда. Завтрак готов. Я сама его приготовила. Сейчас принесу.

Завтрак она притащила мигом. На столе появилась сковородка с яичницей и большая кружка молока.

— Парное, — сообщила Зойка. — Костя надоил. Хотите, я с вами позавтракаю?

Зойка без устали продолжала болтать. Я сказал, что она, вероятно, не на шутку влюбилась в Костю.

— Не знаю, — вздернула узенькими плечами Зойка. — А он без меня жить не может, — вздохнула она. — Хочет, как отслужит, на Алтай меня везти. И знаете, у него в блокноте карта вычерчена. Весь Алтайский край. И звездочкой то место отмечено, где мы с ним жить будем. Чудной он, Костя! А я смеюсь: «Пока шпиона не поймаешь, не пойду за тебя, хоть весь блокнот картами исчерти». Так он чуть не плачет.

— Зачем же ты изводишь его? — спросил я.

— А так. Интересно! — сверкнула зубами Зойка.

— И что же, он ни одного нарушителя еще не задержал?

— Нет. Невезучий он. У нас Евдокимов самый везучий. Тот зарок дал. В нашей семье, говорит, десять человек. Так, значит, я должен до «гражданки» десять шпионов поймать. На каждого члена семьи, говорит, по одному. И надо же, двух уже задержал. Долго ему, что ли? Он же из бригады коммунистического труда. А Костю разве к нему приравнять? Костя у меня еще несознательный, — вздохнула Зойка. — Аркадий Сергеевич так и говорит. Или Костя несчастливый, что ли? Или рыжих шпионы далеко видят? Вот про любовь он умеет говорить. Складно. Не разговор, а чистые стихи.

Зойка вдруг умолкла, перестала пить молоко, прислушалась.

В дверь постучали. Вошла Мария Петровна. Огорченно всплеснув руками, она сказала:

— В такую рань? Это ты, бесстыдница, разбудила?

Я вступился за Зойку и сказал, что спешу на заставу.

— Так там сейчас сонное царство. Вы же знаете, у нас люди ночные. Ну да ступайте, я смотрю, вам не терпится. А ты, непоседа, носи тетрадь. Пока Светланка спит, я тебе подиктую. Попыхтишь ты у меня сегодня.

Я тебе подобрала диктантик. Не будешь людей поднимать чуть свет.

— Мария Петровна, а можно я сбегаю корову подою? Костя просил. А потом — хоть два диктанта!

— Ну что с тобой поделаешь? Беги. Только быстро.

Зойка выскочила за дверь так стремительно, что по комнате прошумел легкий ветерок.

Мария Петровна села за стол напротив меня, подперла лицо ладонями и по-матерински ласково заглянула в мои глаза.

— А дома жена, наверное, скучает, дети? — будто рассуждая сама с собой, спросила она. — Всю жизнь вот так, в командировках?

— Профессия, — улыбнулся я. — На самолетах налетал, пожалуй, не меньше, чем Валерий Чкалов.

— А жена?

— Что жена?

— Ну, как она на все это смотрит? Одобряет?

— Привыкла. Она знает, что я никогда не заброшу свой журналистский блокнот.

Мария Петровна задумалась, и в эти минуты как-то сразу постарела, осунулась, ясный взгляд ее всегда жизнерадостных глаз словно подернуло тихим утренним туманом.

— Что это со мной? — вдруг спросила она. — Ночью вот о вас, о вашей семье думала. Все старалась угадать, счастливая семья или нет. Не спалось. Да и как заснешь — чуть не всю ночь шаги и шаги.

— А кто же ходил? Я что-то не слышал.

— Такое только матерям дано услышать. — Голос ее дрогнул. Она еще раз очень внимательно посмотрела на меня и, решившись, заговорила медленнее, словно взвешивала каждое слово: — Был вчера Аркаша в поселке. Нонна не показывается всю неделю, так он к ней поехал. А вернулся — как с того света. Однолюб он. Вспыхнуло чувство еще в юности. Жаркое как солнце. Первая любовь. Кто ее не знает? Всю жизнь будет любить, до самого смертного часа.

— А она?

— И она ведь тоже любила! Все хорошо было: слезы вместе, смех пополам. А сейчас чувствую: крадется несчастье в семью. Тихо, незаметно, а крадется.

— Но что за причина?

— Так я со своей колокольни смотрю. Сами рассудите. У нее талант. Артистка. А здесь главная сцена — граница. Тут тебе и репетиции, и премьеры. Аркашин талант на этой сцене крепнет. А ей что? Двоим тесно. А главное — Нонна славу любит. Но чем же виновата семья? Присмотритесь вы к ним, Илья Андреевич. Помогите. Иначе — не выдержит Аркаша. Боюсь я за него.

Я не успел ответить, как вбежала Зойка. Ее лицо пылало счастьем.

— Вы знаете, — воскликнула она и с размаху прильнула к Марии Петровне. — Костя меня поцеловал. Первый раз в жизни!

Потом, заметив, что я еще здесь, смутилась и снова выбежала из комнаты.

5

Я полюбил заставу в тихие утренние часы, когда рабобяга-дятел будил сонную еще сосну крепким ударом неутомимого клюва, когда вместе с последним, хватающим за душу присвистом наконец умолкал чудо-композитор соловей, а непоседливая кукушка здесь и там роняла тоскливые вкрадчивые «ку-ку», словно искала и никак не могла найти кого-то до смерти нужного ей.

В такие часы у калитки всегда можно было встретить один из пограничных нарядов, который, простившись с сырым и таинственным ночным мраком, возвращался в свой родной дом вместе с первыми, еще пугливыми лучами солнца.

Так было и сегодня. Едва я подошел к заставе, как со мной повстречались два пограничника с автоматами. Они шли друг за другом: впереди невысокий крепыш с хмурым лицом, за ним длинноногий смуглый парень, смахивающий на цыгана. Шли они неторопливой, деловой походкой людей, которым зря спешить не только не хочется, но и незачем. Потом я узнал, что это и называется «пограничной походкой». Несмотря на то что солнце уже начинало пригревать, оба были в коротких и плотных брезентовых плащах защитного цвета с капюшонами. Сапоги и полы плащей — мокрые.

Идущий впереди крепыш мельком взглянул на меня маленькими колючими глазами. Это длилось, пожалуй, не больше секунды, но я был уверен, что он уже успел рассмотреть меня досконально.

Я видел, как они вошли во двор, остановились; вышедший к ним дежурный проверил, как они разрядили автоматы. Потом все вместе скрылись в здании заставы.

Два солдата, голые до пояса, старательно чистили зубы у умывальника. На крыльце пристройки сидел повар в белом халате, одетом поверх солдатского обмундирования. Он неторопливо чистил картошку и складывал ее в алюминиевый бачок. Вдоль забора прохаживался часовой. Невысокий пограничник в майке поливал в саду деревья. Я сразу же узнал его. Это был Костя Уваров.

Я уже бывал в здании заставы, но каждый раз мне было интересно осмотреть все заново. В небольшой дежурной комнате находились телефоны, коммутатор и еще какие-то незнакомые мне приборы, схемы, завешанные матерчатыми шторками. У стен стояли закрытые пирамиды с оружием. На одной стене висел щит, выкрашенный голубой масляной краской. На нем выделялся заголовок, написанный крупными буквами. «Как ты сегодня нес службу?» — строго требовал отчета он.

Я постучал в дверь с табличкой «Канцелярия».

— Да, да, — раздался за дверью громкий голос.

За столом сидел лейтенант Колосков. Мне все никак не доводилось поближе познакомиться с ним. Он встал и протянул мне руку.

— Не надоело еще у нас? — спросил Колосков и, не ожидая ответа, продолжил: — А я простыл. Чертово болото. Ухнул по пояс. А там родники. Холодно, как в проруби. Провалился в постели. И недели как не бывало. А жизнь идет. Кто, спрашивается, вернет мне эту неделю? И что может быть ценнее времени? Вот сижу здесь, а стрелка бежит — попробуй останови!

Он забросал меня вопросами. Я не успевал на них отвечать. Мне хотелось самому все расспрашивать, во все вникать, а не превращаться в источник информации. И потому я был очень обрадован, когда Колосков умолк.

Наступила пауза, в продолжение которой я еще раз осмотрел канцелярию. Здесь не было ничего особенного. Кабинет как кабинет. Два письменных стола без скатертей, с толстыми стеклами. На столах — стопочки журналов и газет, какие-то учебники. Шкаф с книгами. Телефон полевого типа. В углу примостилась голландка, облицованная блестящими кафельными плитками коричневого цвета. Вешалка. И единственное, что отличало

этот кабинет от многих других подобных ему, — это солдатская кровать, стоящая у стены и аккуратно заправленная синим байковым одеялом.

— А где Аркадий Сергеевич? — поинтересовался я.

— Делает «докторский» обход, — усмехнулся Колосков, и круглые зоркие глаза его заблестели еще ярче.

— Как это понять?

— Пройдите в казарму, посмотрите, — не очень дружелюбно ответил Колосков. — Вообще странно, — заговорил он через некоторое время, поднимаясь со стула, — у него сегодня выходной, а он опять пришел.

Говорил Колосков громко, подчеркивая отдельные слова колоритной интонацией и подкрепляя их энергичными нетерпеливыми жестами.

— Что же здесь странного? — спросил я.

— Да так, — уклончиво ответил Колосков.

Я не стал больше задерживаться в канцелярии и пошел в казарму. Ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж, как заправская хозяйка, надраивал мокрой тряпкой худенький солдат. В спальне было темно, и со света вначале ничего нельзя было рассмотреть. Однако ни ставни, ни шторы не могли полностью задержать яркий солнечный свет, и потому глаза скоро освоились. Здесь, кажется, не было ни одной свободной койки. Кто-то в самом углу аппетитно, с посвистом похрапывал. Первая спальная комната соединялась со второй открытым широким проходом. Я заглянул туда.

Между рядами коек шел Нагорный. Он передвигался неслышно. Остановившись у одной из коек, он поднял упавшую на пол простыню и накрыл ею спящего солдата. На лицо другого пограничника падал солнечный луч, пробившийся сквозь шторку. Заметив это, Нагорный подошел к окну, прижал шторку ближе к раме и нижний ее конец придавил чем-то тяжелым, кажется камешком. В комнате сделалось чуточку темнее.

Боясь, что он увидит меня и это может его смутить, я вышел из спальни и вернулся в канцелярию.

— Видели? — осведомился Колосков, едва я переступил порог.

— Видел.

Колосков саркастически улыбнулся. Вообще улыбался он сдержанно и как бы нехотя. Я напрямик спросил его:

— А вам не по душе такая забота?

— Я не против заботы, я против опеки, — ответил Колосков, наморщив высокий лоб.

— Я вовек не забуду одного фронтового эпизода, — сказал я ему. — Меня ранило во время атаки. Дело было поздней осенью. Очнулся я уже в сумерках. Рота ушла вперед. Вокруг одна степь. Холодная, чужая какая-то. Ну, думаю, пропал. И вот меня каким-то чудом нашли санитары. Один из них осмотрел мою рану и говорит: «Потерпи, браток, там есть один потяжелее». И, понимаете, уходя, он снял с себя шинель и накрыл меня ею. Мне показалось, что я ощутил тепло его тела. Было темно, и я не смог рассмотреть его лица. А как мне хотелось увидеть! Это мне почему-то вспомнилось сейчас, когда я смотрел на Нагорного.

— Значит, вы одобряете, — кивнул головой Колосков. Когда он взмахивал головой, мягкие волосы его рассыпались по лбу. — Но время не то. Необходимости нет. Обстановочка совсем другая. Да и эту функцию, если хотите, мог бы успешно выполнить дежурный по заставе. Но тогда ведь из уст в уста не будут передавать рассказов о внимании и заботе командира.

— А вам никогда не приходилось испытывать чувство счастья, величайшего морального удовлетворения, когда вы проявляли чуткость и внимание к другим людям? Даже забывая в таких случаях о себе?

— Нет, почему же, — пожал плечами Колосков. — Всякое бывало.

— Мне кажется, — сказал я, — на заставе командир даже больше, чем отец.

— Вы, наверное, изучали курс воинского воспитания?

— А что такое отец, — продолжал я, не обращая внимания на его иронию, — вы поймете, когда у вас будут дети.

— Дети! — разочарованно воскликнул Колосков. — Поработайте с нашими солдатами хотя бы с неделю, и я посмотрю, что вы запоете. Помните, я советовал Нагорному не сообщать в отряд о следах на левом фланге? — Колосков говорил теперь торопливо, как сообщают новость, которую пришлось долго держать под спудом. — Кто оказался прав? И вот вам результат: мы, если хотите, в дурацком положении. Теперь нас будут склонять на десяти совещаниях. А рядовой Уваров сделал это, види-

мо, сознательно и посмеивается над нами, добрыми дядями. Ему объявлен на боевом расчете выговор. Выговор! А знаете ли вы, что он мне ответил, когда я спросил его, почему он нарушил следовую дисциплину? Мне, говорит, хотелось узнать, заметят мои следы или нет, и как будет действовать застава. Что вы на это скажете? Это же ничем не прикрытое нахальство. И вот такого Уварова заботливо укрывают простынкой, чтобы он, избави бог, не чихнул лишний раз.

Мне нечего было пока ответить Колоскову, да и не хотелось. Я вышел во двор, раздумывая, чем сегодня заняться. Сходить в поселок к кинематографистам? Или в штаб народной дружины? Или после обеда побыть на стрельбище?

Подумав, я решил остановиться на последнем и отправился в лес. По мере того как накапливались мои наблюдения и впечатления, я старался как можно полнее занести их в свой блокнот. Лучше всего это было делать в лесу. Я отыскал знакомую полянку и сел возле широкого пня, который служил мне походным столом. Пахло свежим медом. Было безветренно. Над лесом раскинулось безмятежное небо.

Я так углубился в свою работу, что не заметил, как за кустами неподалеку от меня остановились Зойка и незнакомая мне девушка. На ней была надета тоненькая голубая кофточка-безрукавка и темная юбка. Все у нее: и типичное русское лицо, и высокая тугая грудь, и в меру полные крепкие икры стройных ног — все дышало здоровьем, свежестью, нерастраченной девичьей силой. Темные, с нежным отливом волосы пышными волнами приподнимались над большим выпуклым лбом, ласково обрамляя его. Прическа девушки, как видно, была сделана искусным городским парикмахером, хотя, мне показалось, ей было бы лучше отпустить косы. В больших голубых глазах, таких ясных и чистых, будто только что омытых грозным дождем, можно было заметить легкое смущение. Девушки не замечали меня.

— Не знаю, что с ним делать, — говорила Зойка. — Вчера на огороде за кустом поймал и давай целовать. Всю исцеловал. От него отобьешься, что ли?

— Дурочка, разве об этом говорят? — испуганно остановила ее подруга.

— А почему не говорят? Почему боятся? Да я хоть кому расскажу, что он меня целовал, — весело ответила Зойка.

— Сумасшедшая ты, Зойка, — перебила ее девушка. — Думаешь, отца-матери у тебя нет, так все можно? Рано тебе еще целоваться.

— Ох и сказала ж ты, рано! — воскликнула Зойка. — Ты посмотри, какая я стала. А грудь скоро как у тебя будет. Ты что, не видишь?

— Тише, шальная, — одернула ее девушка. — Люди услышат.

— Это в лесу-то услышат, что ли? — хихикнула Зойка. — Чудная ты, Валентина.

«А, это та самая Валя», — подумал я.

После непродолжительного молчания девушки заговорили снова.

— И чего ты молчишь? Чего ему не откроешься? Изведешься ты так, — начала Зойка.

— Не могу я открыться, — с горечью в голосе ответила Валя. — Не глядит он на меня. Не нужна я ему. Он ее любит.

— Ее? — переспросила Зойка. — Да что в ней хорошего?

— Не говори. Красивая она. Ох какая красивая!

— А ты хуже, что ли? Да если б я парнем была, я бы в тебя влюбилась. У тебя глаза вон какие! Заглянешь — утонешь.

— Только и всего, что глаза.

— И неправда. А губы? Так бы и поцеловалась с тобой. А брови? Вон они, как все равно куда лететь собрались. Только строгая ты. Не подступись к тебе. Пропадет твоя красота. Выходи замуж за Павлика.

— Нет, Зойка. Тебе, может, любовь как ипрушка, а мне она не для игры.

— Ой, что мне с тобой делать?! — испуганно воскликнула Зойка и почему-то заплакала.

Мне стало не по себе. Я незаметно вышел из своего укрытия и быстро свернул на боковую тропку.

Едва я вернулся на заставу, как Нагорный пригласил меня пообедать в солдатской столовой.

В маленькой уютной комнате пахло щами из свежей капусты и яблоками. Каждый стол был накрыт скатертью, на окнах висели легкие вышитые шторы.

— Это что же, сами солдаты делали?

— Жены, девчата. Юля, Валя, Зойка, ну и... Нонна.

— А картину кто рисовал? — спросил я, указывая на отлично выполненный приморский пейзаж.

— Разве вы не знаете? Лейтенант Колосков. Он способный парень.

В это время в столовую вошел долговязый пограничник.

— Приятного аппетита, — вежливо сказал он, обращаясь к нам. — Товарищ капитан, разрешите поесть?

— Присаживайся к нашему столу, — пригласил Нагорный.

Солдат присел на кончик табуретки. Чувствовал он себя неловко. Его белесые глаза поглядывали на нас наивно и беспомощно.

— Теперь на заставе, — сообщил мне Нагорный, заметив, что я с любопытством разглядываю тонкие кисти рук солдата, — люди с десятилетним образованием не редкость. Вот, к примеру, у рядового Мончика, — он кивнул на солдата, — аттестат зрелости.

Мончик еще пуще покраснел.

Повар принес жирные щи в алюминиевых мисках. Я дотронулся до этой посуды и сразу же отдернул руку.

— Напиши-ка, Мончик, пограничную песню, — снова заговорил Нагорный. — Для своей заставы. Да такую, чтоб за душу хватала. Ты слышал «Я люблю тебя, жизнь»? Вот такую. Напишешь, мечтатель?

— Попробую, — неуверенно ответил Мончик, — вдохновение не приходит.

— Так где ж еще быть вдохновению, как не на границе? Люди сюда специально за ним приезжают. А ты — не приходит!

Когда мы вышли из столовой, застава строилась на занятиях.

Старшина Рыжиков, веселый человек с орлиным носом, выравнивал шеренги, готовясь вести людей на огневую подготовку. И тут, неизвестно откуда, возле строя появилась Светланка. Она независимо прошла вдоль рядов и, подражая старшине, озабоченно вглядывалась в лица пограничников.

— Смоляков! — вдруг сердито воскликнула она, не останавливаясь. — Почему фуражка набок? Третий год служишь!

Солдаты засмеялись. Громко, на весь двор захохотал Рыжиков.

Смоляков — Светланкин любимец. Он учит ее читать, играть на баяне. Но Светланка непреклонна. Она любит порядок. Дружба дружбой, а служба службой.

— Видите, — невесело сказал Нагорный. — Не девочка, а второй старшина.

— Разрешите вести людей на занятия? — подошел к нему Колосков.

— Ведите, — отозвался Нагорный. — Мы подойдем к вам немного позже. Я сейчас беседовал с народом, и мы решили, что с сегодняшнего дня каждый пограничник будет отправляться на границу через учебную следовую полосу и оставлять на ней свои следы. А потом их изучать. Как на них действует дождь, солнце, ветер. И соревнования по следопытству нам надо проводить чаще, хорошо бы раз в неделю. Евдокимов обсудит этот вопрос на комсомольском бюро.

— Ясно, — сказал Колосков.

Лицо его, как мне показалось, оставалось безучастным и равнодушным. Я ожидал от него предложений и большей заинтересованности в том важном вопросе, о котором говорил Нагорный.

Через несколько минут строй пограничников миновал арку и скрылся в лесу. Оттуда донеслась песня:

И улыбка, без сомненья,
Вдруг коснется ваших глаз,
И хорошее настроение
Не покинет больше вас!

— Черт знает что! — возмутился Нагорный, прислушиваясь к песне. — Скажите, что вы пели в строю, когда были солдатом? «Дальневосточная, даешь отпор» пели? «Броня крепка и танки наши быстры» тоже пели? А потом: «До свиданья, города и хаты». И мы пели. И о границе пели. А это же фокстрот! И Колосков ничего, шагает, да еще, наверное, радуется.

— Вы что же, против лирики?

— Нет. Лирику я люблю. Но строевая песня должна звать в бой, чтобы от нее сердце горело. Помните: «И сегодня, как прежде, сердце пылает боевым огнем!» — пропел он тихо, задушевно.

Он словно ожил.

Однажды я проснулся среди ночи. Стоило приоткрыть глаза, как мне почудилось, что я тихо и неслышно лечу на сказочном корабле совсем близко возле луны и таинственно мигающих звезд. Приподнявшись, я наконец понял, что вся комната залита лунным светом. Луна плыла прямо в окно, словно ей не терпелось получше рассмотреть все, что происходило в комнате.

Я прислушался. Кто-то почти неслышно ходил неподалеку от меня. Время от времени осторожные шаги затихали. Немного позже в соседней комнате послышались голоса. Видно, разговор начался уже давно.

— И к чему эти прогулки возле самой границы? — медленно, как бы ощупью находя нужные слова, говорил Нагорный. — Ты знаешь, что это не разрешается. Даже жене начальника заставы.

— Ревность? — нервно, отрывисто спросила женщина, голос которой я слышал впервые. — Так скажи прямо. Все гораздо проще и яснее. Ромуальду Ксенофонтовичу хотелось настроить себя, ощутить чувство границы. Предстоит самая ответственная съемка. А ты... У Сервантеса, кажется, сказано, что ревнивцы вечно смотрят в подзорную трубу, которая вещи малые превращает в большие, карликов — в гигантов, догадки — в истину. Режиссер не может творить без вдохновения. Творчество — это не то что высылать наряды и проверять, как они несут службу.

— Пограничная служба — это тоже творчество, — упрямо возразил Нагорный. — В ней тоже есть своя красота. Но кто виноват, что не каждому дано ее видеть? Дело не в этом. Мне бы не хотелось в следующий раз посылать тревожную группу, чтобы выдворить нарушителей режима из пограничной полосы.

— Этого делать не придется, — с чувством превосходства сказала женщина. — Скоро некого будет выдворять. Я уже говорила тебе, что уеду. Я проверяла себя. И, кажется, экзамен выдержан. Сомнениям и колебаниям приходит конец.

— Значит, юность забыта? Значит, все, чем мы жили, — украдено?

— Не нужно громких слов. Я не переносу их даже на сцене. Пойми, искусство повелевает человеком.

— Раньше ты говорила другое.

— Раньше... Человек растет, совершенствуется. Меняются его взгляды, привычки, мечты. Кажется, только ты постоянен. Ты предан своей заставе, как идолу. — Женщина помолчала и добавила тише и мягче: — Пусть все, что я тебе сегодня рассказала, для тебя не будет неожиданностью. Я люблю честность.

— С твоей честностью опасно оставаться один на один, — после долгой паузы вдруг сказал Нагорный. Спокойные, убеждающие интонации его голоса исчезли, и он произнес эти слова неожиданно грубо и резко.

И тут же по полу простучали каблучки туфель, хлопнула дверь, вдали послышался мягкий приглушенный гул автомашины, и установилась прежняя умиротворенная и торжественная тишина.

Прошло не меньше часа, прежде чем дверь открылась снова. В комнату, где я спал, вошел Нагорный. Он тихо опустился на стул возле окна. Я пошевелился сильнее и кашлянул, чтобы дать понять ему, что не сплю.

— Вы, кажется, бодрствуете? — обрадованно спросил он. — Хотите папиросу?

Я бросил курить с полгода назад. Но сейчас не посмел отказать.

— Давайте испорчу, — сказал я, взял папиросу и сел на кровати, свесив ноги.

Дым в комнате не застаивался — его тут же выживал свежий бодрящий воздух, льющийся через окно. Он приносил с собой терпкий запах полевых цветов, лесных тропинок, дыхание едва приметных облаков, сопровождавших сияющую счастьем, как невеста, луну.

Нагорный долго молчал, потушил окурок, снова закурил. Потом решительно встал со стула.

— Нет, — сказал он с ожесточением. — Не могу не рассказать правду. Она собирается уехать. Навсегда.

— Кто?

— Нонна. Жена.

Я насторожился. По едва приметным признакам, по немногословному рассказу Марии Петровны, по догадкам я чувствовал, что в семье Нагорного происходит что-то неладное. Это подтверждал и только что происшедший разговор Нагорного и Нонны.

— Вы, конечно, тоже любили, — начал Нагорный. — Вот на этих полках много книг. И почти каждая рассказывает о человеческой любви. И отражает какую-то частицу этого чувства. И потому каждая — только часть правды, а не вся правда. Но даже если сложить все эти книги вместе, они не расскажут, что такое любовь. О ней никому не дано рассказать. Ни один гений не смог и не сможет сделать этого. Впрочем, я не о том говорю. После того что произошло со мной, я не могу читать книги, в которых пытаются раскрыть тайну любви. Мне кажется, что кто-то смеется надо мной.

Он помолчал, затем снова заговорил, то нервно и поспешно, то задумчиво и мечтательно:

— Я полюбил ее давно, еще в школе. Это было какое-то необъяснимое чувство. Что-то прекрасное вдруг открылось в жизни, и от этого жизнь стала еще дороже. Так бывает утром, на восходе солнца. Те же поля вокруг, та же сонная речка, такое же бесконечное небо. И вместе с тем все это уже другое. Новое. Да, совершенно новое. И светлое. Мы проводили с ней целые ночи напролет. Любили запах догорающего костра. Не отрываясь, смотрели, как перемигиваются веселые звезды. Ходили в обнимку под дождем и ветром. У нас были чистые души... Впрочем, к чему я об этом?

Он остановился, посмотрел на меня, словно желая убедиться, тут ли я. Потом опять слышались его тихие шаги.

— Да. Время летело. Получилось так, что я был принят в пограничное училище. Попал туда с боем. Отбирали лучших из лучших. Отец хлопотать за меня отказался. Он хотел, чтобы я сам нашел свое место в жизни, и терпеть не мог всякого рода протекции. На медкомиссии врачи зацепились за какой-то пустяк. А на мандатной я сказал начальнику училища, что все равно буду здесь учиться и что вынести за ворота училища они могут только мой труп.

Начальник училища оказался человеком добрым. Он почему-то обрадовался моему упрямству. Зачислили. К счастью, я учился в том же городе, где находилось театральное училище, в которое поступила Нонна. Смешно, но мне трудно было прожить без нее даже день. Военная жизнь сурова. Вы, конечно, знаете, в ней мало места для лирики. Но мы встречались каждую субботу и каждое

воскресенье. Пятерки стоили мне большого труда, но зато они помогали мне получать увольнительные. Правда, бывало и так. Мы договаривались с Нонной о встрече, а наш старшина посылал меня в наряд. Он не интересовался любовными делами своих подчиненных. Да мало ли! Учения, выезды на границу, стажировка в войсках. Но всегда я знал, что там, в городе, она ждет меня. Говорят, любовь помогает человеку во всем. Нет, мало так сказать: помогает. Даже то, что родился именно теперь, а не раньше и не позже, тоже кажется счастьем, которое доступно только тебе. И что нет на свете ничего непреодолимого.

Я с интересом и волнением слушал его и думал, что то, о чем он говорит, можно было говорить только такой лунной ночью, какой была эта ночь, и только в том состоянии, в каком находился этот не совсем понятный еще для меня человек.

— Вам не надоело? — отрывисто спросил Нагорный. — Нет? Ну тогда слушайте. Все равно. Влюбленный всегда на виду. Как бы он ни скрывал свои чувства. И над ним обычно посмеиваются. Чаще всего беззлобно, без всяких задних мыслей. Но все же посмеиваются. И может быть, оттого влюбленный становится глупее, что ли? Не знаю. Знаю только, что надо мной следовало смеяться. Доходило до того, что я искал Нонну по ее следам. Я знал до тонкостей, какой отпечаток оставляет на земле ее обувь. Да, да, летом — туфелька или босоножка, зимой — ботинки. У нас был чудесный преподаватель трассологии. Это наука о следах. Майор Шубарев. Не слышали? Да, вы же не служили в погранвойсках. Так вот. Если бы Нонна прошла босиком по пыльной дороге или по траве, когда еще не исчезла роса, я все равно узнал бы, что это прошла она. И не знаю, дурацкая сентиментальность, что ли, но мне порой хотелось поцеловать эти следы. Потому что прошла она. Потому что это следы ее ног. Я боялся, что такая чувствительность повредит мне в моей службе. Но ничего поделать не мог. Я видел, что и она любит меня. По крайней мере, так мне казалось. Она часто повторяла мне, что никогда никого не сможет полюбить так, как меня.

Нагорный снова достал папиросу. Спичка вспыхнула бледным желтоватым огоньком. Луна хозяйничала в комнате, как у себя дома.

— Мы твердо решили пожениться, — продолжал он, жадно затянувшись папиросным дымом. — И только когда стала подходить к концу наша учеба, мы разговорились о земных делах. Я кончу училище, она тоже. А граница, как известно, не проходит через большие города. Я не страшился этого, меня тянуло в самые глухие места, на край света. Туда, где поопаснее, неизведаннее. Но как было поступить Нонне? Ей нужен был театр. Сама она никогда не говорила об этом. А я, напротив, старался как можно чаще напоминать ей о Памире, о каракумских песках и Курилах. Я рассказывал ей все самое страшное, что читал или слышал об этих местах, еще более сгущая краски. Она смеялась: «Ты пугаешь меня, чтобы я не поехала с тобой? Напрасно. Теперь ты от меня уже никуда не уедешь». Поверьте, за такие слова я готов был пронести ее на руках по всей земле! «Что театр! — говорила она в ответ на мои сомнения. — Ты мне дороже. И потом, не вечно же мы будем в глуши?» — «А если вечно?» — спрашивал я. «Ну что же, если вечно, так тоже вдвоем». Так она мне отвечала. И видите, что из этого получилось. Я привык верить людям. И убежден, что, если бы на земле не было ни одного человека, которому можно верить, я возненавидел бы и себя и все человечество. Нет большего счастья, чем верить друг другу и ни разу не обмануться в этой вере. Может быть, это даже необходимее человеку, чем сама любовь.

И тут я услышал тихие, но ясные звуки музыки, от которой затрепетало сердце. Они доносились через окно из соседней квартиры.

— «Аппассионата», — прислушавшись, сказал Нагорный. — Это Юля, жена Колоскова. Она уезжала в город. Приехала вчера. И почему-то всегда играет в это время. Перед рассветом.

Близилось утро. Лунный свет все более тускнел, таял, и было видно, как вместе с ним исчезали силуэты деревьев и причудливый орнамент занавески. В комнате делалось темнее, сумрачнее. Мы молчали и слушали неутраченную мелодию.

— Если бы эта музыка звучала всегда, не переставая, — вдруг сказал Нагорный, — я бы не сделал ничего ошибочного, ничего дурного. Вы чувствуете, как она очищает душу? И убеждает, что жизнь лучше, чем о ней иной раз думаешь.

— А вы бы могли уехать с границы ради жены?—не-
терпеливо спросил я.

— А вы могли бы бросить писать? — вопросом на во-
прос ответил он.

И я понял его.

— Э, все пустое! — промолвил он немного погодя. —
Вам совсем другое нужно. Что, вы за этим приехали?

Немного подумав, он добавил:

— Помните, я спрашивал вас, могли бы вы прожить
здесь пять или, скажем, десять лет? И жаловался. А все
это ее вопросы. И ее жалобы.

Я больше ни о чем не спросил его. Впоследствии я по-
жалел об этом. Никогда больше за все мое пребывание
на заставе Нагорный не говорил со мной на эту тему так
подробно и так откровенно.

Я долго лежал, размышляя о жизни и любви, стар-
ался поставить себя на место Нагорного. Мне очень хо-
телось помочь ему.

Лишь к утру я задремал.

7

Рядовой Смоляков, парень с удивленно-насмешливым
взглядом, собирался осенью «на гражданку» и потому
чувствовал себя особенно независимо. Он покровитель-
ственно-небрежным тоном разговаривал с молодыми сол-
датами, считая своим неременным долгом проехаться по
поводу какой-нибудь слабости каждого из них. Службу
в наряде он нес отменно, стрелял лучше всех, на политза-
нятиях затевал дискуссии и числился штатным оратором,
особенно любившим выступать в присутствии какого-
нибудь проверяющего. Смоляков смело высказывал кри-
тические замечания, на собраниях не мог высидеть без
того, чтобы не пустить какую-нибудь едкую реплику.
Молодые солдаты прислушивались к нему и рассказы-
вали о его проделках с чувством восхищения и непри-
крытой зависти.

От них я узнал, например, что Смоляков определяет
свое отношение к новому человеку на заставе в зависи-
мости от того, сможет ли тот обуздать его строптивую ко-
былу. Однажды какой-то майор, занимающий довольно
солидную должность, прибыв на заставу, решил увекове-

чить себя снимком, запечатлев свою личность в воинственной позе верхом на коне. Смоляков подsunул ему рыжую кобылу, и та долго издевалась над незадачливым седоком. Когда майор, потный и взъерошенный, уронив фуражку, все же забрался в седло, кобыла, чувствуя слабый повод и поняв, что седок уж очень неуверенно держит себя, понесла его по двору, то и дело вставая на дыбы. Майора пришлось снимать с лошади. А Смоляков, вволю нахохотавшись, серьезным тоном сказал ему:

— Самая смиренная кобыла на заставе, товарищ майор. Что с ней происходит? Она, должно, фотографироваться не любит. Как увидит «фэдовский» фотоаппарат, так и на дыбы. С скромная кобыла!

Раздосадованный майор, пообещав посадить Смолякова на гауптвахту, ушел, а Смоляков жаловался своим друзьям:

— Видали? Еще неизвестно, кому на гауптвахту! Ты сперва ездить научись, а потом на заставу милости просим. А еще зеленую фуражку надел.

И когда ему пытались доказывать, что майор — специалист в других пограничных вопросах и что не обязательно каждый должен уметь ездить на коне, да еще в атомный век, Смоляков невозмутимо отвечал:

— Дальнобойная ракета на границе неприемлема. Сколько граница будет, столько и кони будут. И я так смотрю: можешь на коне ездить — иди на границу, не можешь — работай себе бухгалтером или стихи пиши.

Особенно любил подтрунивать Смоляков над Костей Уваровым. При всяком удобном случае он напоминал ему о Зойке, уверяя, что она с первого же дня после свадьбы будет командовать Костей не хуже старшины Рыжикова или лейтенанта Колоскова и навечно установит матриархат.

Доставалось Косте от Смолякова и на занятиях по физподготовке. Эти занятия были для Уварова самыми мучительными. В этом мне как-то пришлось убедиться.

Уже перед построением в спортгородке Смоляков под общий хохот объявил:

— Ожидается выступление олимпийского чемпиона по гимнастике Константина Уварова!

Занятия проводил Колосков. Он стоял в своей любимой динамовской майке и спортивных брюках, внима-

тельно наблюдая за тем, как идет дело. Только что он вернул в строй пограничника, который нечетко вышел к снаряду, и заставил проделать все сначала. Увидев меня, Колосков строго сказал:

— Показываю еще раз.

Он легко, свободно и красиво подошел к турнику, остановился под ним, даже не взглянув на перекладину, затем пружинисто отвел руки назад, чуть присел, одновременно приподнимаясь на носки, и тотчас же легким изящным движением оттолкнулся от земли, цепко схватился за перекладину. Он весь прогнулся, вытянув носки, зафиксировал свое положение и, чуть качнув корпусом, без всяких усилий занес ноги кверху и очутился на турнике. Потом расчетливым, экономным движением соскочил вниз и, четко повернувшись кругом, скомандовал:

— Очередной, к снаряду!

К снаряду подошел Евдокимов. Он выполнил упражнение довольно чисто, хотя и без того изящества, какое так отличало Колоскова. Лейтенант остался недоволен.

— Толстеть начинаете, Евдокимов. Животик отращиваете.

Вслед за Евдокимовым вышел Уваров. Фигура его сейчас была несобранной, и он, как ни старался, шагал к турнику тяжело и вяло. С усилием схватившись за перекладину, он тут же едва не сорвался с нее. Он попробовал проделать упражнение еще раз — получилось значительно хуже.

— Мертвая хватка, — презрительно процедил Колосков. — Мешок с костями.

Уваров все еще размахивал ногами, но силы уже покинули его.

— Вы долго намерены висеть? — возмутился Колосков.

Уваров разжал руки и плюхнулся на землю. Кто-то из стоявших в строю пограничников хихикнул.

— Сейчас Константин Уваров совершит круг почета, — серьезно сказал Смоляков и этим подлил масла в огонь: грохнула смехом вся шеренга.

Уваров смотрел прямо перед собой растерянно и жалко, боясь встретиться взглядом с Колосковым. Жаркий солнечный луч вцепился в его рыжие волосы и словно поджег их.

— Почему не выполняете упражнения? — сурово спросил Колосков.

Уваров молчал.

— Почему, я вас спрашиваю?

— Не получается, — пролепетал Уваров.

— И ни черта не получится. Спите много. До одурения спите. Я за вас на турник буду лазить? И девушками увлекаетесь. Или служить, или любовь крутить.

— А это не ваше дело, — вдруг одним духом выпалил Костя.

— Не мое дело? — оторопел Колосков. — Прекрасно. Ждите взыскания.

— Ну и пусть, — будто самому себе сказал Уваров, не поднимая головы.

Колосков метнул быстрый взгляд в мою сторону, как бы говоря мне: «Видели, каков гусь!»

— Будете иметь дело с начальником заставы, — сказал он Уварову. — Я не намерен выслушивать ваши пререкания. А сейчас отправляйтесь в казарму.

— Пусть еще попробует, — раздался рядом голос Нагорного.

Он, видимо, недавно пришел в спортгородок, и его никто не успел заметить.

— Пусть попробует, — повторил Нагорный. — Все дело в голове. Голову нужно отводить назад до отказа.

— Рядовой Уваров, к снаряду, — скомандовал Колосков таким тоном, будто делал одолжение.

Уваров подошел. В его движениях появилось что-то похожее на уверенность. Нагорный приблизился к турнику.

— Так, — сказал он, когда Костя начал с огромным усилием поднимать ноги. — Уже лучше. Голову назад. Еще. Еще сильнее. Вот и ноги пошли.

В тот момент, когда перекладина была уже чуть выше колен Уварова, Нагорный коротким, но сильным толчком руки подтолкнул плечи солдата назад, и тот оказался на турнике. Костя держался за перекладину, возбужденный и счастливый. Он так был доволен, что не спешил спускаться на землю. Глядя на него, улыбались солдаты. Смоляков торжественно поднял большой палец вверх. Колосков молча отвернулся в сторону.

— Дело у вас пойдет, — убежденно сказал Нагор-

ный. — Человек все может. Нет такого, чего бы человек не сделал.

— Так это вы помогли, — неуверенно сказал Костя.

— Тренироваться. Три раза в день. Перед принятием пищи. Вот и все лекарство, — приказным тоном сказал Нагорный и, увидев младшего сержанта Бойко, нахмурился: — А вы не улыбайтесь, Бойко! И знаете почему?

— Знаю, товарищ капитан, — четко и громко ответил Бойко, открыто и безбоязненно глядя на Нагорного. — Мой подчиненный. Молодой. Учить надо.

— Точно, — удовлетворенно сказал Нагорный. — Вот через недельку и доложите. А лейтенант Колосков проверит. Заниматься с Уваровым будет Смоляков.

— Есть, заниматься с Уваровым! — радостно воскликнул Смоляков, любивший получать задания лично от начальника заставы.

После занятий Колосков сказал мне:

— Так зарабатывается дешевый авторитет.

Он был очень раздражен и никак не мог успокоиться.

— Почему же дешевый?

— Вы разве не видели?

— А разве вы не можете учить так, как Нагорный?

— У меня свои методы, — упрямо сказал Колосков. — Обучения без требовательности я не признаю. И, если хотите, этой снисходительности не перевариваю. Игра в доброго дядю.

Он не стал слушать моих возражений, попрощался и ушел. Я еще раньше заметил, что он любил в разгар спора высказать свое мнение и уйти, давая понять, что переубеждать его абсолютно бессмысленно.

Да, чем больше я жил на заставе, тем явственнее чувствовал различие между Нагорным и Колосковым. Не скажу, что Колосков не помогал Нагорному или вовсе бездельничал. Нет, сказать так значило бы покривить душой. И тот и другой большую часть времени проводили с людьми. Но там, где появлялся Нагорный, лица солдат светлели, становились жизнерадостными. С Колосковым же пограничники говорили мало и неохотно. Я заметил, что он, слушая человека, думал о чем-то своем. К Нагорному шли за советом, за помощью. К Колоскову обращались редко. Даже приказ на охрану границы они отдавали по-разному. Слушая Нагорного, невольно

хотелось стать по команде «Смирно». Слова приказа западали в душу, и мне казалось, что эти слова произносит не Нагорный, а Левитан, лучший диктор Московского радио. Колосков отдавал приказ скороговоркой, будто за ним кто-то гнался, и лица пограничников, слушавших его, тускнели.

И все-таки одних этих сопоставлений было недостаточно. Я еще по-настоящему не знал Колоскова.

8

Прошел почти месяц с того дня, как я приехал на заставу.

В один из вечеров я сидел за своим дневником. Нагорный лежал на кушетке с учебником немецкого языка (он учился заочно в военном институте). Светланка уже спала. Мария Петровна занималась с Зойкой в другой комнате. Я записывал в тетрадку свои думы о пограничной службе, о должности начальника заставы. Я писал:

«Начальник заставы!.. Он не знает шума больших городов, торжественного очарования столичных театров, а главное — он не знает покоя. Зато он знает каждый метр своего участка, знает, что Костя Уваров любит Зойку, что у Ландышева заболела мать, а Степченко нужно ежедневно тренировать по стрельбе, иначе какой же от него толк на границе.

Он очень много должен знать, начальник заставы! Он обязан быть следопытом, снайпером, педагогом, ветеринаром, строителем. И самое важное — уметь предвидеть возможное нарушение границы. Нет, он должен уметь еще больше — закрыть путь нарушителю. Он должен сделать все, чтобы ежедневно иметь моральное право сказать старшему начальнику спокойно, как само собой разумеющееся: «На участке заставы без происшествий». И мне кажется, нет, скорее, я убежден в том, что начальник заставы даже в те редкие минуты отдыха, что выпадают на его долю, даже когда он держит на коленях своего ребенка или ласкает жену, не перестает думать о границе. Его всюду неотступно преследует мысль: «А как там, на участке? Все так же граница неприступна или через нее уже крадется злобный и коварный враг?»

Я перечитал эту запись и с грустью подумал, что не сумел проще и глубже выразить в ней то, что мне хоте-

лось сказать о труде начальника заставы. Я хотел было тотчас же спросить Нагорного, какого он мнения об этих строках, но он был так увлечен каким-то переводом, что я не стал ему мешать.

Я заправил авторучку чернилами и продолжал писать, обращаясь к своему далекому другу:

«Друг мой! Если ты идешь сейчас по вечерней улице веселого города и твоя любимая девушка идет с тобой рядом, и оба вы смеетесь от радости, только на миг, хотя бы на один миг подумайте о далекой пограничной заставе, о том, что именно в эту пору один за другим выходят на границу ночные наряды. И я знаю, вы мысленно пошлете свое спасибо этим простым и скромным людям в зеленых фуражках.

Друг мой! Вспомни, приходилось ли тебе когда-нибудь утром говорить своему товарищу «спокойной ночи»?

Это было, наверное, в то утро, когда после выпускного бала ты бродил с ребятами и девушками по сонному городу, очумевший от соловьиного пения, от радости, что все книги с самыми замысловатыми формулами брошены в беспорядочную кучу, дан ответ на последний вопрос в последнем билете и фотограф увековечил тебя вместе с твоими сверстниками на громадной фотографии, которую ты постараться сохранить у себя всю свою жизнь. Усталый, ты возвращался домой, сказав своим друзьям: «Спокойной ночи». Это, конечно, вызвало взрыв веселого хохота.

Это могло быть, если ты возвращался с завода после ночной смены или когда твой трактор до утра бороздил степь.

А здесь, на погранзаставе, это происходит изо дня в день, ровно столько, сколько существует граница. И в тот момент, когда восходит солнце, здесь никто не смеется над привычными словами «спокойной ночи». И когда одни сомкнут уставшие очи, другие встретят рассвет на дозорной тропе...

Дозорная тропа! Залитая дождем, утонувшая в рухлом, по пояс, снегу, потрескавшаяся от нещадного солнца, нырнувшая в черное болото, в лес, куда на ночь заползает туман и где за каждым деревом тебя может подстеречь неожиданность. Непрерывная, нескончаемая тропа... Шестьдесят тысяч километров гранитных валунов, озер, сыпучих дюн и сосновых лесов, морской гальки и непроходимых горных хребтов, жаркой до удушья пустыни,

тайги и сопок, тихоокеанской волны, остервенело кусающей хмурый и неприветливый берег...

И пока ты любишься по-детски нежным восходом, или сидишь на рыбалке, или, борясь со сном, торопишься узнать конец приключенческой повести с хитро закрученным сюжетом, или грузишь вагонетку с углем, по этой тропе идут и идут пограничные наряды. Чтобы ты мог варить сталь! Чтобы ты мог любить! Чтобы ты жил! И ни на одну секунду не приостанавливается это движение, ни на один миг не закрываются тысячи зорких глаз, ни на одно мгновение не выпускается из крепких, надежных рук оружие...

Так любовно хранят они твой покой. И его, и ее, и всех нас. Низкий поклон им за это, солдатам границы!»

— Аркадий Сергеевич, — позвал я Нагорного, отложив в сторону ручку. — Хотите послушать, что я тут написал?

— Да.

Я прочел, думая, что он будет упрекать меня за излишнюю приподнятость стиля. Но, вопреки моим ожиданиям, он сказал:

— Знаете, есть в нашей профессии много такого, о чем нельзя сказать обыкновенными словами, обычным языком.

Он подпер кулаком подбородок и, припомнив что-то, продолжал:

— Был у нас в училище один преподаватель. Ругал он нас за романтику звёрски. Вы, говорит, начитались книг о шпионах. У вас одни приключения в голове, а приедете на заставу — увидите черновой труд. Дьявольски тяжелый. Спину нужно гнуть, пот проливать, мозгами вращать и другим мозги вправлять. Да еще ходить по соток километров в сутки. Так что про романтику забудьте. А я вот с ним не согласен. Разве труд не романтика? Что же это получается? Труд сам по себе, а романтика сама по себе? Труд реален, а романтика — так себе, витание в облаках? Нельзя так разделять. Возьмешь иную книгу о пограничниках и видишь только погоню за нарушителями. Конечно мы и живем для этого. Но мы и любим, и детей нянчим, и заблуждаемся, и картошку сажаем. Жизнь нужно нашу показывать правдиво. Романтику и труд не разделять.

Мы помолчали. Потом я спросил:

— Аркадий Сергеевич, вот вы соседи с Колосковым. А что это вы чуждаетесь как-то друг друга? Хотя бы в гости ходили.

— Кто его знает, — смущенно ответил он. — Ходили мы. Нонна тогда еще в съемках не участвовала, все время дома была.

Он встал, отложил учебники и зашагал по комнате.

— Если ты друг мне — люби границу, — заговорил он. — У меня такая мерка. Не знаю, может быть, странность это. А только встречаются у нас еще офицеры: ему тридцать пять от роду и выслуги лет тридцать пять. У нас счет льготный. Правильно это — служба особая. Но кто зеленую фуражку не из тщеславия носит, тот эти годы не считает. Для этого отдел кадров существует. Да разве что-нибудь может принести большую радость, чем любимый труд? Разве садик или дачка его заменят? Не знаю, может, Колосков и не такой. Семьянин он хороший, ничего не скажешь. За это я его уважаю. Да и жена у него редкостная: веселая, простая, справедливая. А он все у нас вроде гостя. На чемоданах сидит. Знаний у него много, кругозор широкий. А вот не тянет. Нет, ко всякой работе приверженность нужна. Любовь к своему делу. А к пограничной службе особенно.

Нагорный слегка усмехнулся:

— Кстати, вспомнил. Вы знаете, что сказал мне Уваров после того случая на следовой полосе? Накажите, говорит, по всем правилам. Только ей не говорите. Зойке, значит. Я и не сказал. А она все равно разузнала.

Наш разговор прервала Мария Петровна. Она выглянула из своей комнаты и, таинственно улыбаясь, сообщила:

— А ко мне в окошко сейчас стукнули. Угадайте, кто?

Из приоткрытой двери выглянула Зойка:

— А чего угадывать? Неизвестно, что ли? Моя начальница явилась. За книгами. И проверять, как я учусь.

Зойка бросила многозначительный взгляд на Нагорного. Мария Петровна поспешила в коридор и вскоре вернулась оттуда вместе с Валей.

— Знакомьтесь, — обратилась Мария Петровна ко мне. — Это Валя, заведующая животноводческой фермой.

Я крепко пожал сильную, коричневую от загара руку девушки. Валя сразу же вызвала во мне воспоминание

о красавицах соснах, о свежих полевых цветах, о широком раздолье полей. В ее свежести, здоровье, сдержанности было что-то очень осязаемое от неяркой и скромной, но дорогой сердцу русской природы.

— За книжками, значит? — спросила Зойка. — Будто у нас в поселке своих нет?

Валя опустила глаза, и было удивительно, что эта сильная девушка смутилась от озорных Зойкиных слов. Казалось, будто ее уличили в чем-то, и она не может признаться в этом даже самой себе.

— Что нового в поселке? — поспешил ей на помощь Нагорный, помогая преодолеть смущение. — Как работает дружина?

— Ничего нет, Аркадий Сергеевич, — ответила Валя певучим голосом. — Если кто появится из чужих, дружинники не растеряются. Да и я вам сразу сообщу.

— Буду надеяться, — сказал Нагорный.

— И так уж нас Василий Емельянович пограничниками зовет, — девушка улыбнулась. — Вы, говорит, не столько за высокие удои молока боретесь, сколько границу охраняете. Вам, говорит, осталось только форму выдать.

— Так и говорит?

— В шутку, конечно.

— Ну, а свадьба когда? — спросил, улыбаясь, Нагорный. — Мне, Валентина Ивановна, не терпится на вашей свадьбе погулять. Пригласите?

— Нет, не приглашу, — резко ответила Валя.

— Это почему же? Чем же я перед вами провинился?

— Ничем. Просто свадьбы не будет.

— Э-э нет, без свадьбы не выйдет, Валентина Ивановна.

— А вы меня сосватали, Аркадий Сергеевич? Сосватали?

— Разве Павел плохой парень?

— Хороший. Только не про то вы речь завели, Аркадий Сергеевич. Я пришла книжку поменять...

— Что же дать тебе, Валюша? — спросила Мария Петровна, копаясь в книгах.

— Да такую же интересную, как эта, Мария Петровна.

Я взял у Вали из рук книгу. Это была «Сильные духом» Медведева.

— Опять про войну? — удивилась Мария Петровна. — Может, дать тебе о любви что-нибудь?

— Возьми Мопассана, — посоветовала Зойка, прищурив глаза.

— Читала уже, — нахмурилась Валя.

— Понравилось? — поинтересовался я.

— Нет, — спокойно сказала Валя. — Иной рассказ прочитаешь и умыться хочется.

— Ну, не Мопассана, так возьми другую книгу о любви, — советовала Мария Петровна. — Тебе, молоденькой да красивой, только о любви и читать.

— А пусть правду пишут, — вспыхнула Валя. Сдержанная и немногословная, она заговорила быстро и убежденно. — У них все легко получается. И она любила, и он ее полюбил. И про вечную любовь сказано очень красиво. А в жизни...

Валя еще хотела что-то сказать, но, взглянув на улыбающуюся беззаботной веселой улыбкой Зойку, умолкла.

— Старается она, Мария Петровна? — спросила Валя, кивнув на Зойку.

— Да уж не беспокойся. Я требовательная. У меня кое-как не выйдет.

— Спасибо вам, Мария Петровна, — сказала Валя, вставая. — Трудно с ней. Стрекоза настоящая. Пойдем, проводишь меня, Зойка. Собирайся скорее.

— Тетя Валя, а я проснулась, — слышался неожиданно для нас тоненький голосок Светланы. — Идите ко мне.

Девушка обрадованно всплеснула руками и поспешила на зов. Через открытую дверь я видел, как она подняла девочку на руки, и как та обвила ее шею своими худенькими ручонками. Валя поцеловала ее сначала в одну, потом в другую щеку, бережно опустила в кровать и укрыла одеялом.

— А вы маму мою видели? — спросила у нее Света.

— Видела. Ты что, соскучилась?

— Она совсем про меня забыла, — вздохнула Света.

Валя и Нагорный переглянулись.

— Спи, — сказала Валя. — Все будет хорошо. Ты готова? — обернулась она к Зойке.

— Неохота идти, — сделала кислое лицо Зойка, — я босая.

— Мы вас проводим, — поднявшись, сказал Нагорный. — Как раз нам пора.

Едва приметная улыбка промелькнула на лице Вали.

— А книгу я все же тебе про любовь подобрала, — сказала Мария Петровна, подавая ей томик Куприна. — Хватит про войну.

Мы оделись и вышли из дому. Стояла темная ночь. Ветра не было, накрапывал мелкий назойливый дождь.

— Валя, — слышался из-за кустов негромкий, но отчетливый голос.

«Павел», — догадался я.

Валя не отозвалась.

— Ты что это прячешься? — удивился Нагорный, подходя к Павлу. — Почему не зашел?

— Неудобно, Аркадий Сергеевич, — ответил Павел, волнуясь. — Я ей говорил: поздно уже, не ходи. Нет, без книги, говорит, не могу. Спать, говорит, спокойно не буду. Ну что с ней...

— А кто тебя просил все это рассказывать? — сердито оборвала его Валя.

— Что с вами, Валентина Ивановна? — спросил Нагорный, уловив в голосе девушки необычные нотки.

— Ничего, — все тем же тоном ответила она. — Я всегда такая. И не провожайте меня. Я сама дорогу знаю.

Она попрощалась с нами и пошла по дороге так быстро, что тут же исчезла в темноте. Павел, забыв про нас, кинулся вслед за ней.

Мы постояли еще немного и повернули к заставе.

— Непонятная она, — сказал Нагорный. — Парень по ней мается, хороший парень, толковый. Чего она ищет?

— А может быть, она другого любит? — спросил я Нагорного.

Он промолчал.

На заставе светилося всего одно окошко. Мы вооружились пистолетами, надели плащи и вышли в ночь.

Я уже ходил ночью на границу и с Нагорным, и с Колосковым, и со старшиной заставы Рыжиковым, но каждый раз испытывал большое волнение. Это была не боязнь, а сильное и всеобъемлющее чувство ответственности, которое помимо моей воли вселялось в меня и не давало покоя. Говорят, что артист, всю жизнь отдавший театру, волнуется всякий раз, когда выходит на сцену. И я тоже был уверен, что, сколько бы лет изо дня в день

я не выходил на границу, это чувство волнения, напряженности, собранности и ответственности не покинуло бы меня никогда.

Война идет не вечно. Она имеет свое начало и свой конец. Война на границе не затихает ни на одну минуту. Затишье на одной заставе — схватка на другой. Напряженная тишина прерывается то вспышкой осветительной ракеты, то сухой автоматной очередью, то гулким топотом конских копыт, то лаем служебной овчарки. Война тайная, неприметная со стороны.

Когда мы вышли на дозорную тропу, дождь усилился, идти становилось все труднее. Кусты и деревья словно ожили, задышали, заговорили.

Правый фланг участка был лесистым и местами, особенно в лощинах, сильно заболочен. Во время дождя эти низинки делались и вовсе труднопроходимыми. Я старался не отстать от Нагорного и быстро устал. Он часто останавливался, приседал, замирая на месте. Я копировал все его движения, радовался этим остановкам, потому что имел возможность отдышаться, протереть очки, вытереть платком мокрый лоб.

Скоро мы вошли в густой лес. Дождь не давал ему спать. Листья спросонок испуганно перешептывались, стряхивали с себя капли. Пахло сырой землей, лопухами, сосновой корой. При малейшем прикосновении к веткам, нависшим над самой тропой, нас обдавало целым потоком дождевых капель. Ни один плащ не смог бы задержать их, они настырно лезли за воротник, проникали на разгоряченную спину, и к их острому холодному прикосновению невозможно было привыкнуть.

Я забылся и едва не наткнулся на внезапно остановившегося Нагорного.

— Тихо, — сказал он мне. — Скоро должен пройти наряд.

Я сошел с дозорки и занял место, которое он мне указал. Здесь лежала сваленная ветром старая сосна с вывороченными корнями, похожими на чудовищ.

— Стойте здесь, — прошептал мне Нагорный. — Пароль не забыли?

И он скрылся в темноте.

Ждать пришлось дольше, чем предполагал Нагорный. Видимо, наряд задерживался. Стало тише, туча миновала лес, и дождь прекратился.

Вдруг впереди меня ожил куст. Кто-то появился на тропе. Я затаил дыхание, но чем больше всматривался в темноту, тем сильнее убеждал себя в том, что все это мне показалось, что куст качнулся от налетевшего ветерка и что на тропе никого нет. И потому совершенно неожиданным был для меня тихий, внятный оклик, раздавшийся откуда-то сзади:

— Пропуск!

Я вздрогнул. Пропуск вылетел у меня из головы, хотя я никогда не обижался на свою память.

— Я свой. Климов. Свой, — как можно убедительнее сказал я в темноту.

— Пропуск! — уже настойчиво и властно прозвучал тот же голос.

Я почувствовал, что спине моей стало холодно, а во рту пересохло. Выручил меня Нагорный. Он появился откуда-то из непронйцаемой тьмы, и я облегченно вздохнул.

Пограничник вполголоса доложил Нагорному о том, что нарушения границы не обнаружено.

— Хорошо, Евдокимов, — сказал Нагорный. — Толково. С вами Кошкин?

— Так точно.

— Продолжайте нести службу.

— Есть.

Мы снова двинулись вперед. Вымокший и продрогший лес спал. Кроны деревьев, нависшие над нами, образовали как бы второе небо, плотное и неприветливое. Вскоре я стал замечать, что ночь постепенно начинает бледнеть. Когда мы остановились на одной из опушек, я увидел высоко над головой тусклую звездочку и обрадовался ей как желанной находке. Звездочка, испуганно и робко мигала, точно еще не верила себе, что наконец-то может снова смотреть на землю, а у меня было такое состояние, как будто меня выпустили из темницы.

Я прислушался. Метнулась с дерева разбуженная птица, сердито квакнула лягушка. Вторая лениво отозвалась ей.

Впереди хрустнула ветка. Кто-то быстро приближался к нам. Я пригнулся, как учил Нагорный, чтобы лучше рассмотреть на фоне неба идущего человека. Теперь я уже был убежден, что идет наряд. Вслед за первым пограничником, стараясь не отставать слишком далеко,

прошел второй. Как бы обрадовался сейчас нарушитель, будь он на моем месте!

Когда у Нагорного не осталось никакой надежды на то, что наряд обнаружит нас, он окликнул пограничников. Те камнем упали на землю. Нагорный подозвал их к себе. Стало светлее, но я так и не смог рассмотреть их лица.

— Тихо, — резко прервал доклад старшего Нагорный. — Топот развели здесь. Вы что, на танцплощадке? Краковьяк пляшете?

Солдат молчал.

— След в наш тыл, — отрывисто сказал Нагорный. — Ваши действия?

Выслушав ответ, Нагорный задал наряду еще несколько вопросов, и мы продолжали свой путь.

— Вы узнали старшего? — спросил меня Нагорный.

— Нет. В темноте они все похожи друг на друга.

— Это Уваров.

Я знал, что Нагорный доверил Косте ответственную службу старшего наряда и что Колосков несколько дней возмущался таким решением.

— Жалеете, что назначили? Ошиблись?

— Нет, не ошибся. Не ошибся! — еще более убежденно повторил он.

— А что же?

— Не научил.

Мы вернулись на заставу к рассвету. Все вокруг — и деревья, и крыши, и дорога — было мокрое, а небо уже заволакивало новыми тучами. Утро обещало быть пасмурным и тоскливым.

Нагорный дождался возвращения с границы Уварова и долго сидел с ним в канцелярии. Я не знал, о чем они говорили. Но в последующие три ночи Нагорный не ночевал дома. Я думал, что он уезжал к Нонне, и каждый раз спрашивал у дежурного, где начальник заставы. И каждый раз узнавал, что Нагорный на границе вместе с Уваровым. Он возвращался оттуда промокший, облепленный едкой болотной грязью, искусанный злыми комарами.

Через несколько дней Нагорный сказал мне:

— На границе нужно забывать обо всем, кроме нее самой. Граница ревнива. Она, как и человек, не про-

щает равнодушных. А пограничник — не сторож, он должен не ждать, а искать нарушителя.

Сказал ли он это, имея в виду Костю, или, возможно, Колоскова, или же ему просто хотелось высказать свою мысль — я так и не понял.

9

— Вы любите рыбалку? — спросил меня как-то Нагорный, когда мы проходили мимо озера.

Уже одно напоминание о рыбалке приводило меня в трепет. Это была моя болезнь. Рыбная ловля безнадежно пожирала время, которым я так дорожил. Обычно я сдерживал себя и всякий раз отгонял прочь желание сесть в лодку и, забравшись куда-нибудь в камыши, отдаться радостному состоянию человека, забывающего в эти минуты обо всем на свете, кроме поплавка. Все это я и поведал Нагорному.

— Этим многие болеют, — улыбнулся он. — А вот мне граница не дает. Да и вообще... сейчас не до нее. А вы, если хотите... Моя лодка в вашем распоряжении. Вон Константин Лукич, заядлый, опытный рыболов, будет вам хорошим спутником.

Я оглянулся на Костю. Тот, казалось, не ожидал этих слов. Веснушки на порозовевших щеках отпечатались еще яснее.

На другой день еще до рассвета мы с Костей отправились на рыбалку. Едва вышли за ворота заставы, как нагрянула туча, в ней заиграла озорная молния, и по крышам застучал торопливый дождь.

Мы добежали до камышей, нашли лодку, вычерпали из нее пахнущую тиной воду и, завернувшись плотнее в плащи, отплыли от берега. Но закинуть удочки сразу же не удалось: неистовый ливень обрушился на озеро; целые потоки воды хлынули в лодку, а по нашим спинам забарабанили крупные, как картечь, капли. С жадным любопытством я смотрел на озеро. Оно бурлило, кипело, как будто подогреваемое изнутри. Переждав ливень, мы закинули удочки. Рыба долго не клевала, поплавки неподвижно лежали на успокоившейся водной глади, где-то в рыжих камышах сердито крякала утка.

Мы разговорились. Речь как-то сама собой зашла о Зойке.

— И что ты нашел в ней хорошего? — подтрунивал я. — Стрекоза какая-то. И командовать слишком любит. Смотри, не попади в кабалу. Потом пожалеешь.

Костя, исподлобья взглянув на меня, сказал:

— А я таких люблю. Огонь, а не девка. Вы ее с Валькой сравните. Та ходит да вокруг себя тоску разводит, а Зойка сама веселая и всех веселыми делает.

Он замолчал, нахмурился и, сколько я ни пытался вызвать его на разговор, отвечал односложно и нехотя.

Взошло солнце. Ветерок пробежал по метелкам камыша, они тревожно зашептались, роняя с макушек в воду крупные дождевые капли. Начался веселый клев, я не заметил, как наступил полдень. Костя взглянул на свои часы и молча стал сматывать удочки.

— Куда торопишься? — спросил я.

— А мне к часу на заставу нужно, — откликнулся он. — Вы меня на берег высадите, а сами назад. Хотя клев-то вот-вот кончится.

— Нет, не хочу я один. Поедем вместе, — решил я, и мы направились к берегу.

До самых сумерек я проспал непробудным сном, и проснулся, когда уже первые неяркие звезды стали робко проглядывать на потемневшем небосводе.

Во дворе заставы меня встретил чем-то обеспокоенный дежурный.

— Уварова не встречали случайно? — спросил он.

— Нет... Да ведь он мне говорил, что ему к часу на заставе нужно быть. Он со мной до самой развилки дороги шел. Куда же он делся?

— Ума не приложу, — растерянно развел руками дежурный. — Не иначе, к Зойке своей удрал. Пошлю сейчас на розыски.

Дежурный ушел, и я вспомнил, как подтрунивал на рыбалке над Костей, вспомнил и пожалел. Не нужно было мне говорить о Зойке, совсем не нужно.

— Ну вот, дождались и ЧП, — этими словами встретил меня Колосков, когда я на другой день утром пришел в канцелярию заставы.

— Что случилось? — с тревогой спросил я.

Колосков усмехнулся:

— Знаменитый Уваров напился до чертиков. Из самоволки явился как зюзя. Вот вам и методы Макаренко. Все эти разговоры о том, что человека надо воспитывать

в коллективе, через коллектив и для коллектива, чудесно звучат только в устах преподавателей. А на деле прежде всего нужна железная рука.

Тон, которым была произнесена эта тирада, не понравился мне: иронизировать по поводу происхождения на той заставе, где он сам же и служит! Колосков сразу же понял мое настроение.

— Не сердитесь, — примирительным тоном продолжал он. — Я сам возмущаюсь тем, что Уварова испортили. Да, да! Испортили мягкостью, либерализмом. Человек совершает проступок, а ему читают проповедь. В конце концов, армия — не школьный интернат. Есть уставы, законы, которым должны подчиняться все без исключения.

— И какие же методы воспитания вы считаете наилучшими? — спросил я.

— Железная требовательность. Суровость! Вот что нам нужно для армии.

— Гауптвахта и трибунал! — в тон ему продолжил я.

— А вы что думаете? — загорячился Колосков. — И гауптвахта, и трибунал. Уваров своими пререканиями может вывести из терпения железного человека. И тут лучшее лекарство — гауптвахта.

— И это говорите вы, человек, любящий искусство?

Колосков вдруг покраснел и растерянно заморгал возбужденными глазами. Я еще не видел его таким.

— А пререкания Уварова вы вызвали по существу искусственно. Вспомните занятия по физподготовке.

— Уговаривать я не стану, — угрюмо, но уже не так резко сказал Колосков. — И не могу. Нужно учить не словом, а делом.

— Вернее: и словом и делом, — поправил его я. — Как это странно и противоречиво: часто вы рассуждаете правильно, а делаете совсем по-другому. Сколько раз вы сажали Уварова на гауптвахту?

— Два раза.

— И все за пререкания?

— Да. А что?

— А изменился он к лучшему?

Колосков хотел что-то ответить мне, но в это время вошел дежурный и доложил:

— Товарищ лейтенант! К вам пришли.

Порог несмело переступила старушка лет шестиде-

сяти. Она поправила на голове выгоревший на солнце клетчатый платок и поздоровалась с нами.

— К тебе я, сынок. Не откажи, — обратилась она к Колоскову.

— Слушаю, мамаша. Садитесь, — не очень приветливо указал на стул Колосков.

— Спасибо, сынок.

Старушка села и посмотрела на лейтенанта добрыми выцветшими глазами.

— Из поселка я. Коровку имею. Сено-то мне колхоз помог накосить, а теперича перевезти надо. Дай, сынок, подводу.

— Подводу? — удивленно переспросил Колосков. — Может быть, ты заблудилась, мамаша? Тут застава.

— Понимаю, застава. Павел Фомич мне посоветовал, бригадир наш. Сходи, говорит, Климовна, там не откажут.

— Мудрый у вас бригадир, — усмехнулся Колосков, с любопытством разглядывая старушку. — Сам-то почему не перевезет?

— Подводы все в разгоне. На ферме работают.

— Вот-вот. И у нас, бабушка, в разгоне. Граница, служба. Никак не могу.

Старушка встала:

— Так чего ж ты меня на стуло сажал? Что я тебе, больная какая? А теперича «не могу».

Она опять поправила платок и, еще раз неодобрительно посмотрев на Колоскова, не попрощавшись, вышла за дверь.

— Идут, как в горсобес, — словно оправдываясь, проговорил Колосков, проводив ее взглядом, и вдруг его глаза загорелись живым огоньком: — Вы хорошо рассмотрели ее лицо? Это же вылитая Арина Родионовна, няня Пушкина. У нее такой умиротворенный мудрый взгляд. Ни хитрости, ни лукавства. Только тихая, ясная мудрость. Я бы взялся ее рисовать.

— И вы не захотели помочь ей?

— Поймите, застава...

В комнату быстро вошел Нагорный.

— Товарищ Колосков!

Тот встал.

— Я приказал Смолякову перевезти сено старушке. Почему вы отказали?

Колосков недоуменно пожал плечами.

— Я не могу делать этого без вашего разрешения. Откуда мне знать, что вы приказали?

— Надо было спросить.

— Скажу прямо, — нахмурился Колосков. — Помому, граница важнее сена, а...

— Верховых коней мы не трогаем, — перебил его Нагорный. — Кстати, вы что-либо знаете об этой старушке?

— А что я должен о ней знать? Знаю, что зовут ее, кажется, Климовна. Живет в поселке.

— И только? Мало. Так вот. Сын у нее на Памире. Такую же фуражку носит, как и вы. Но дело не только в этом. У нее двое приемных детей. И главное... с народом нужно жить дружно, товарищ Колосков, помогать ему, а народ вам во сто раз больше поможет. Прошу вас проверить, выехал ли Смоляков.

Колосков надел фуражку и молча вышел. Нагорный повернулся к окну, распахнул его и выглянул во двор.

— Товарищ капитан! Можно к вам? — послышался голос Зойки, и через минуту она была уже в комнате.

— Что скажешь, быстроглазая? — улыбнулся Нагорный, но, взглянув на расстроенное Зойкино лицо, сразу согнал улыбку и молча указал на стул.

— Про Костика я, товарищ капитан, — заговорила Зойка, смущенно поглядывая то на меня, то на Нагорного и теребя пальцами кончик голубого шарфа, накинутого на узенькие покатые плечи. — Пришел он вчера. Я спросила: «Кто тебя отпустил?» Никогда не спрашивала раньше, а тут как сердце подсказало. Никто, говорит. Сам ушел. Ну, я и обозлилась. Интересно мне, чтобы его, дурака, посадили, что ли? Взяла его за руку — и на заставу. Ничего, идет, даже не упрямится. А возле заставы я ему и говорю: «Видеть тебя больше не хочу. Слышала про тебя, хватит. Да и какой из тебя пограничник, когда ты из-за девчонки службу готов бросить?» Высказала ему все, высказала и убежала. А он с горя-то вон что — напился. Из-за меня это, Аркадий Сергеевич. Я виновата. Не надо его под трибунал.

И Зойка во весь голос разревелась.

— Вот тебе и на!.. А я думал, ты и плакать-то не умеешь, — тепло улыбнулся Нагорный, обнял Зойку за плечи и повел к двери. — Иди-ка к Марии Петровне, к Светланке. А мы тут что-нибудь придумаем.

Всхлипывающая Зойка ушла, а мы еще долго сидели вдвоем с Нагорным и говорили о Косте, о Зойке, о человеческих характерах, которые иной раз вот так неожиданно открываются перед тобою.

И я подумал о Нагорном: какую силу воли и какое сердце нужно иметь, чтобы, переживая сильнейшую душевную драму, вот так щедро помогать людям стать лучше, чем они есть?

10

Тихим теплым вечером мы с Колосковым стояли во дворе заставы. Было слышно, как в конюшне жуют сено уставшие кони. Я думал о Косте. Передо мной как бы всплыло его наивное и добродушное лицо с зеленоватыми, под цвет весенней травы, глазами. Нет, не может быть, чтобы этот застенчивый паренек вдруг оказался неисправимым нарушителем дисциплины. Словно угадывая, о ком я думаю, Колосков сказал:

— Человек променял границу на бабий подол, и с ним столько церемоний. Не укладывается это в мою бедную извилинами башку.

— Разве человек создан для того, чтобы его сгибали? Хорошо, когда человек выпрямляется, растет.

— Это верно, — согласился Колосков.

— А вы любите свою профессию? — напрямик спросил я.

— Почему вы так спрашиваете? — удивился он. — Если бы не любил, я бы не служил здесь. Но к чему этот вопрос? Вы, наверное, из тех людей, которые создают свое собственное мнение о человеке и потом уже не принимают во внимание мнение других. Что же, вы рискуете так и остаться слепым. Извините, вы старше меня, но я вынужден вам это сказать.

Я не стал переубеждать его. Хотелось помолчать.

В темноте мелькнуло белое платье, и к нам легко пробежала молодая женщина. Это была Юля, жена Колоскова.

— Я вам помешала? — спросила она, весело здороваясь с нами. — А я только что из леса. Стемнело, стало страшно. Но каких я набрала грибков! Белых! Целое лукошко.

— Хорошо в лесу? — спросил я.

— Ой, очень! — обрадованно воскликнула Юля, словно давно уже ждала этого вопроса. — Я же сибирячка. Только мне хочется, чтобы лес был дикий-дикий. Чтобы еще никто-никто там не ходил, а я первая. Хорошо быть первой! И чтоб грибов, малины было видимо-невидимо. Правда?

И она начала с восхищением рассказывать о сибирских лесах на берегах Оби. Потом, будто вспомнив что-то, спросила:

— А вы любитель грибов?

— Жареных? Да, — улыбнулся я.

— Знаете что? Пойдемте к нам ужинать. Я на вас сердита. Столько живете и ни разу не зашли. Ленечка, что ж ты не зовешь? Пойдемте, я грибов нажарю. Со сметаной. Вкусно! — И Юля от удовольствия прищелкнула языком.

— И правда, пойдемте! — поддержал ее Колосков. Я охотно согласился.

Колосковы жили в маленьких уютных комнатках. Обставлены обе комнаты были просто, из мебели здесь было только самое необходимое. Наиболее внушительной вещью было пианино. Рядом с ним на подставке стоял проигрыватель. Юля включила его и поставила пластинку.

— Люблю музыку, и сама петь люблю, — призналась она.

— Не только петь, но, кажется, и плясать? — сказал я, вспомнив, как иногда за стеной раздается drobный перестук женских каблучков.

— Неужели слышно? — спросила Юля. — Вот никогда не думала!

— Ты, кажется, пообещала нам жареных грибов в сметане? — напомнил Колосков. — Может, тебе помочь?

— Так точно! Обещала! — по-военному щелкнула каблучками Юля. — Сейчас все будет на столе. Одну минутку! Только я сама сделаю. А вы пока посмотрите картины, — обратилась она ко мне. — Это все Леня рисует, — с гордостью добавила она, показав на висевшие на стенах рисунки и картины.

Юля вышла. Колосков охотно стал рассказывать мне о своем увлечении живописью. Я отметил про себя, что некоторые рисунки были исполнены с душой. Это были преимущественно пейзажи и натюрморты. В пейзажах

меня обрадовала мягкость рисунка и тонкий, почти прозрачный лиризм.

— Мой любимец — Левитан, — почему-то с грустью сказал Колосков.

— А почему бы вам, Леонид Павлович, не написать картину на пограничный сюжет? — поинтересовался я.

— Уварова изобразить? — иронически усмехнулся он.

— Хотя бы и Уварова. Разве искусство призвано отражать лишь безусловно положительное в жизни? И разве люди учатся понимать друг друга только тогда, когда в отношениях между ними нет никаких противоречий? А не наоборот ли?

Вернулась Юля и прервала наш разговор.

— Вы, кажется, опять спорите? — проговорила она, расставляя на столе посуду. У нее все горело в руках. Мне казалось, что ее стремительные и легкие движения передавались даже вещам: тарелки, ножи, вилки ложились на скатерть, словно из рук волшебника.

Колосков вышел.

— Вы не всегда придавайте значение его словам, — быстро заговорила Юля, воспользовавшись отсутствием мужа. — В нем — дух противоречия. Леня лучше, добрее, чем хочет казаться. Но он бывает зол на людей, потому что они забирают у него все время. И на живопись остаются одни крохи. Это его мучает. Он еще на перепутье, понимаете? Ну, как бы вам сказать? Вот бывает, видит человек огонек в тумане, а все еще не верит, что это как раз его огонек. Нагорный — другое дело. Он выбрал свой путь. У него ясная цель. С первых шагов. Это большое счастье. Но, как всегда, счастье не живет без горя...

Вернулся Колосков, и Юля перевела разговор на другую тему.

Когда мы закончили ужинать, я попросил ее спеть что-нибудь. Колосков сел за пианино. Юля исполнила арию Антонины.

— Застава артисток! — закончив аккомпанировать, улыбнулся Колосков, но я видел, что он любовался женой, был доволен, что она пела.

— Мне очень жаль, что я не получила хорошего музыкального образования, — с грустью сказала Юля.

— Но я слышал в вашем исполнении даже «Аппассионату».

— Вы знаете, я разучивала ее почти год. И теперь, когда Леня рисует, я исполняю ее. Он говорит, что у него в это время появляется вдохновение.

— Вы не скучаете, живя здесь? — задал я традиционный вопрос.

— Нет! — Юля взмахнула головой, отбрасывая со лба легкие белые кудряшки. — Мне здесь нравится. Я учительница, вот каникулы кончатся, у меня работы будет хоть отбавляй. На одну ходьбу в поселок сколько времени уходит. А сейчас два раза в неделю веду кружок на заставе. Есть ребята, которые после демобилизации мечтают в институт поступить, так я им помогаю готовиться.

— А кто же это? — поинтересовался я.

— Евдокимов, Ландышев, Хушоян. Иногда Мончик посещает.

— А что, если бы вы были артисткой? Или инженером? — допытывался я. Мне давно хотелось задать этот вопрос Юле, и сейчас представился удобный момент.

— Все равно, — не задумываясь, ответила она. — Я заставу люблю. Пограничников. И рада, что мой Леня пограничник.

— Но специальность? Диплом? Призвание?

— Так что же? Получается, за пограничника выходить замуж только тем, кто специальности не имеет? Я думаю, везде можно быть полезной. С любой профессией. Разве Нонна не может самостоятельный театр организовать? Сколько способных людей на заставе и в поселке! Только мне до сих пор не верится, что она уедет.

— Философия! — воскликнул Колосков. — Она — человек искусства и не вольна распоряжаться собой.

— Нет, вольна! — горячо возразила Юля. — Все во власти человека. Все!

— Ты уже цитируешь Нагорного, — передернул плечами Колосков.

— Не знаю, кого я цитирую. Я о жизни говорю.

— Все дело в призвании, — твердо сказал Колосков.

— А помнишь Леня, самый первый день, когда я к тебе приехала? — вдруг начала вспоминать Юля. — Самый, самый первый. Койка у тебя была солдатская, одеяло солдатское, кружка солдатская. Чайной ложки и в помине не было, сахар ножом размешивали.

— К чему это ты? — Колосков с удивлением посмотрел на жену.

— К тому, что понравилось мне здесь. Хорошо начинать все заново. С верой, что выбрал свой путь. А призвание прежде всего в том, что ты чувствуешь себя нужным людям.

Мы долго непринужденно беседовали. Юлия спрашивала меня о детях, жалела, что у них нет еще своих детей. Потом мы говорили о музыке, об искусстве. Несколько раз я пытался спросить Колоскова о делах заставы. Мне хотелось с помощью Юли подробнее узнать, почему между ее мужем и Нагорным нет теплых товарищеских отношений. Но Колосков всякий раз переводил разговор на другое. Он восхищался Левитаном и говорил, что, когда смотрит его картины, ему хочется искренне и радостно плакать.

— Я слышала ваш разговор, — шепнула мне Юлия, когда Колосков отыскивал в столе какой-то эскиз. — И знаете что? Леня начал рисовать Уварова. Не верите? Только он никому об этом не говорит.

Ушел я от Колосковых поздно ночью.

11

Отчетливо запомнился мне день, когда Костю Уварова обсуждали на комсомольском собрании.

Утром Костя поехал за сеном. Дул сильный ветер. Теплый и сухой, он нещадно раскачивал яблони, сбивая падалицу. Жалобно поскрипывали сосны.

Костя уже сел в телегу, когда порыв ветра сорвал с его головы фуражку, и она покатилась по двору заставы. Костя соскочил на землю и неуклюже погнался за ней. Он догнал ее лишь у ворот. Мне стало жаль его: я знал, что ему предстоит сегодня нелегкий экзамен. Хотелось как-то ободрить парня, но я не стал этого делать. Ему нужно было пережить все самому, даже помучиться. Только тогда в душе зажжется светлый и чистый огонек.

Я вышел на дорогу вслед за телегой. Костя сразу же тронул рысью. Ветер развеивал лошадиные гривы. И тут с боковой тропки на дорогу выскочила Зойка. Она легко догнала телегу и что-то бросила в нее. Кажется, то был конверт. Но Костя даже не обернулся. Казалось, его интересуют только сосны, что бегут и бегут туда, где

осталась застава. Когда телега скрылась за поворотом, Зойка, неподвижно стоявшая на дороге, медленно, точно слепая, пошла назад.

Вечером комсомольцы собрались в уютной ленинской комнате. Они сидели тесным полукругом, в центре которого оказался смущенный и сгорбившийся Костя. Лицо у него было растерянное и жалкое.

После короткого сообщения секретаря комсомольского бюро Евдокимова комсомольцы начали задавать вопросы. Костя молча ежилась, будто до него дотрагивались чем-то холодным и острым.

— Силен! — осуждающе проворчал Смоляков. — Заговор молчания!

Смоляков всегда любил сказать что-нибудь краткое и, как ему казалось, оригинальное.

— Товарищ Уваров, — мягко, располагающим к непринужденному разговору тоном сказал добродушный Евдокимов. — Вы не смущайтесь, рассказывайте все, как было. Мы собрались не избивать вас, а помочь.

— В чем помогать-то? — сердито буркнул ефрейтор Рогов. Это был тот самый крепыш с сосредоточенным лицом, которого я видел в один из первых дней пребывания на заставе возвращающимся с границы вместе с высоким напарником, похожим на цыгана. — В чем помогать? — повторил он. — Четвертинки распивать?

— Погодите, товарищ Рогов, — остановил его Евдокимов. Обращаясь в обычной обстановке ко всем солдатам на «ты», Евдокимов на собраниях переходил на «вы». — Погодите. Дайте ему рассказать спокойно, все по порядку.

Уваров молчал.

— Да ты что, языком закусил? — послышался чей-то иронический голос. — Нам долго сидеть некогда, ребятам скоро в наряд идти.

— Разрешите мне, — поднял руку Хушоян. — Я спрашивал. Долго спрашивал. Товарищ Уваров говорил мне. Все говорил. Правдиво. Он в дровах нашел четвертинку.

Раздался дружный смех. Громче всех хохотал повар Осокин.

— Законно! — кричал он. — В каждый штабель, оказывается, четвертинку закладывают. Чтoб дровишки лучше горели. Культура! А я до сих пор и не знал!

— Сенсация! Высший класс! — поддакивал Смоляков.

Уваров поднял голову. «Ну говори же, говори, — приказывали и просили взгляды окружающих. — Говори, лучше будет. И самому легче».

— Чего смеетесь? — заговорил наконец Костя обиженным тоном. — Смешной я? Смешной?

— А мы не смеемся, — жестко сказал Рогов. — Мы ждем, когда ваше величество соизволят рот открыть.

— Рассказывай, а то мы тебя по-своему, по-солдатски начнем воспитывать! — выкрикнул еще раз повар Осокин.

— С горя я, — сознался Костя. — А четвертинку купил в поселке.

Кажется, никого так не возмутило это признание, как Хушояна.

— Зачем врал? — возмущенно крикнул он. — Я тебе товарищ или кто? Зачем меня дураком делаешь? Почему обманываешь?

— Тише, — успокаивающим жестом остановил его Евдокимов. — Тише, товарищ Хушоян. Зачем так кричать? Какое у вас горе, товарищ Уваров?

Костя отрицательно покачал головой:

— Про это не скажу. Наказывайте.

— «Наказывайте!» — зло передразнил его Рогов. — Заставу опозорил, а теперь «наказывайте». Заставу опозорил, понимаешь?

Комсомольцы заговорили, перебивая друг друга. Евдокимов постучал по столу карандашом и снова обратился к Уварову.

— Ну что же, — сказал он, — комсомольское собрание найдет способ, чтобы заставить вас говорить. Вы можете не ответить одному человеку, двум, трем, но не ответить всей комсомольской организации заставы невозможно.

— Я уже все рассказал капитану, — угрюмо сказал Костя. — Он все знает.

— Этого мало. Вы комсомолец? Ну и держите ответ перед комсомолом.

Уваров молчал.

— Ну, в таком случае, — медленно произнес Евдокимов, — комсомольское бюро доведет до всей организации письменное заявление. Его написала комсомолка Зоя Белецкая, состоящая на учете в комсомольской орга-

низации колхоза «Путь Ильича». Есть предложение зачитать, товарищи.

— Зачитать, зачитать! — зашумели комсомольцы, не скрывая своего явного любопытства.

— Не надо читать! — вдруг выкрикнул Костя. — Я сам расскажу. Из-за нее я ушел, — произнес он, потупив глаза. — Из-за Зойки. И напился потом. Вот и все.

Он поколебался немного, хотел еще что-то сказать, но безнадежно махнул рукой и сел.

— Вот как! — произнес Рогов. — Так что тебе дороже, застава или девчонка?

И тут со своего места поднялся Мончик.

— Смешно и грустно слышать такие вопросы, — напевно и тихо, будто самому себе, сказал он. — Смешно и грустно. Кто же ответит на такой вопрос? Я бы не взялся на него отвечать. Это смешно. А еще больше — грустно...

— Ты что предлагаешь, — перебил его Савельев, — пьянки оправдывать?

— Разве я что-нибудь хотел предложить? — спокойно ответил Мончик.

— Стихи пишешь, а нытиков оправдываешь, — возмутился Рогов.

— Правильно, — радостно поддержал его Хушоян. — Хочешь плакать — юбку надевай, пожалуйста. Любовь и правда — это две сестры. А где твоя правда? Где еще сестра?

— Может, все-таки зачитать заявление Белецкой? — обратился Евдокимов к собранию. — Так вот, — улыбнулся он, — эта девушка пишет, что сама виновата во всем и обязуется помочь нашей организации перевоспитать товарища Уварова и сделать из него настоящего пограничника.

Дружный хохот заглушил последние слова Евдокимова. Костя тоже вяло улыбнулся, но тут же, погасив улыбку, прустно сказал:

— Виноват — накажите! А пограничника из меня не получится.

В комнате воцарилась тишина. Так продолжалось с полминуты, но тут скрипнула табуретка, и все почему-то обернулись в ту сторону, где сидел Мончик. Евдокимов, почувствовав, что пауза затянулась, и встретив взгляд подавшего о себе знать Мончика, спросил:

— Вы еще что-то хотите сказать, товарищ Мончик?

— Нет, нет. Я ничего не хочу, я просто подвинуться захотел, — скороговоркой пояснил Мончик, приподнялся, поправил табуретку и сел, положив по привычке свои женственные руки на колени.

— Может, кто внесет предложение? — спросил Евдокимов.

— А чего тут вносить? — все так же хмуро заявил Рогов. — Что мы от него видим? Как он служит? По принципу: ешь — потей, работай — зябни. Что мы от него видим? Пререкания — раз. Нарушение следовой дисциплины — два. Пьянку — три. Двойки по физподготовке — четыре. Обман — пять. Достаточно?

— Достаточно! Вполне достаточно! — горячился Хушоян. — Хватит обманывать!

— А я так думаю, — заговорил Евдокимов возбужденно, словно чувствовал, что не выскажи свою мысль горячо и ясно, — все согласятся с мнением Рогова. — Когда человек сам по себе хорош — это еще не все. У тебя есть хорошее — передай другому. А у нас что же получается? Я хорош, а до товарища мне дела нет? А я помню, где-то читал: «В жизни есть только одно несомненное счастье — жить для другого».

— Это сказал Лев Толстой, — тихо пояснил Мончик.

— А что каждый из нас сделал, чтобы Костя стал другим? Кто совсем мало, а кто ничего. Смеяться мы умеем. У человека неудача — хохот. В любви не везет — улыбочки. На турник не может подняться — ржем как лошади. А теперь, значит, исключить. Да нам на заводе старые кадры за такое решение голову бы снесли. Исключить! А ты сделай человека лучше, чище, чем он есть. Исключить! Поднял руку — и дело с концом. Подумаешь, подвиг! А вот перевоспитать — тут голова нужна, да не просто голова, а с мозгами.

Я с удивлением и радостью смотрел на Евдокимова. Всегда такой спокойный, казалось, невозмутимый, он сейчас весь горел убежденностью и правдой. И люди, слушая его, притихли, пораженные его простой правотой.

— Так он сам сказал, что пограничник из него не получится, — все еще сердито произнес Рогов.

— А все-таки получится! — твердо проговорил Нагорный, до этого молча наблюдавший за ходом собрания. Он поднялся и подошел к столу. — Дайте-ка мне

слово. Как же это, Константин, — обратился Нагорный к Уварову, — такие слова решился произнести: пограничник не получится! Настоящий пограничник должен из тебя выйти, такой же как Рогов, как Евдокимов, как Пшеничный, как большинство пограничников нашей заставы. Кто знает, может, для тебя, Уваров, Монетный двор уже медаль чеканит. Я это, кроме шуток, серьезно говорю. Со службой у тебя дела пошли лучше, это заметно. А в ошибках твоих и я виноват. Хотел в одиночку тебя всему обучить. А вот про них забыл, — Нагорный широким жестом показал на сидевших полукругом комсомольцев. — Теперь вместе помогать будем, остальное зависит от тебя. Ты слышишь, Уваров?

— Слышу, — словно в забытии отозвался Костя. — Только как же я без комсомола? Как?

— Это решат комсомольцы, — сказал Нагорный.

Теперь выступления комсомольцев пошли по другому руслу. Резко осуждая Уварова, товарищи старались напомнить обо всем хорошем, что было у него в прошлом, выражали готовность помочь ему. Никто из выступающих, словно они сговорились, ни разу не упомянул имени Зойки.

Но еще больше поразило меня решение собрания. Комсомольцы объявили Уварову только выговор. Причем, это предложение внес не кто-нибудь, а именно Рогов, которого я считал сторонником беспощадных мер.

Все это явилось для меня новой пищей для размышлений. Вечером я поделился своими раздумьями с Нагорным.

— Разве дело во взыскании? — ответил он мне. — Главное в том, что сказали Уварову его же товарищи. Те, кто спит рядом с ним, в наряде под одним дождем мокнет. Я доволен.

12

Утром несмело выглянуло солнце. Его лучи неяркой бронзой покрыли песчаные тропинки, ведущие в лес. Мне хотелось пойти по одной из тропинок, лечь под кустом, слушать пересвист веселых птиц, думать о жизни и судьбах людей. Я уже собрался было осуществить свое желание, как к калитке почти бесшумно подкатила бледно-голубая «Волга».

С сиденья водителя пружинисто выпрыгнул человек с взлохмаченной копной непокорных волос. Он весь сиял и выглядел таким свежим и бодрым, будто вылез не из душной машины, а из холодной речной воды, какой она бывает в туманную предрассветную пору. Я сразу же узнал его: это был режиссер. Он стремительно обежал машину спереди и красивым, ловким движением открыл дверцу.

На дорогу, подле колючего репейника, разросшегося у обочины, осторожно и не совсем уверенно опустилась упругая загорелая женская ножка, обутая в черную замшевую туфлю, и из машины вышла молодая золотоволосая женщина.

— Ракета приземлилась, Нонна Антоновна! — воскликнул режиссер, и на его золотых зубах блеснуло солнце.

Я впервые увидел Нонну вблизи. Меня сразу же поразило ее лицо. Поразило особым изяществом, оригинальностью, какой-то даже чуть болезненной утонченностью. Мне показалось, что утро не было бы таким чудесным, если бы на лесной дороге не появилась эта женщина.

— Сейчас вы поведете нас, — продолжал режиссер. — Как настоящая хозяйка заставы. Граница, разумеется, на замке, а ключ — у вас.

Ярко-синие, цвета утреннего неба, глаза Нонны стремительно поблекли. Она укоризненно посмотрела на режиссера. «Хоть вы и остры на язык, но сейчас ваши шутки совсем ни к чему», — как бы говорил ее резкий холодный взгляд.

Режиссер, казалось, не придал ее немому упреку никакого значения. Он подошел к задней дверце и, приоткрыв ее, громко позвал:

— Петр Ефимович! Да вы, никак, заняли долговременную оборону.

Петр Ефимович неуклюже выбрался из машины и, потягиваясь, развел в стороны крупные тяжелые руки.

— Окуни клюют сегодня так, — угрюмо сообщил он, — будто ничего не брали в рот со времени капитуляции Германии. А я трясусь на заднем сиденье. Ради чего? И кстати, какого черта вы так гнали машину? Вообще, в такое время или спать беспробудно, или не спускать глаз с поплавка.

— Тоска! — восхищенно и протяжно откликнулся режиссер.

Петр Ефимович шумно вздохнул, крупные черты его смуглого лица дрогнули, и он, махнув рукой, грозно пошел к дому. Вслед за ним, то и дело поглядывая на окна, почти невесомо шла Нонна. У нее был такой вид, словно она намеревалась войти в незнакомый ей дом и не могла никак угадать, что ее там ждет. Режиссер выудил из багажника какой-то сверток и все с тем же приподнятым, бодрым настроением догнал их.

Сонный, в измятой шляпе, Петр Ефимович вразвалку поднялся по ступенькам, будто его вели под конвоем, и тут натолкнулся на меня.

— Потеря бдительности! — заворчал он, даже не сделав попытки поздороваться со мной. — Мы полчаса чешем языки на дороге, а застава и ухом не повела.

— Поведет, если потребуется, — заверил его я. — Кстати, я вас сразу же заметил.

— А что толку, что заметили? — не унимался Петр Ефимович. — Вы знаете, что я шпион! Да, да, шпион. Всю жизнь играю шпионов, черт бы их подрал. Зритель уже не может без ненависти смотреть на мою рожу. И все благодаря нашему Ромуальду Ксенофоновичу.

— Не горюйте, юноша, я вывел вас на большой экран! — воскликнул режиссер, вовремя подхватив Нонну под локоть: она оступилась и едва не сломала длинный и тонкий, как гвоздь, каблук.

— Хвастать — не косить: спина не болит, — обидчиво сказал Петр Ефимович.

Этот старый артист, о котором мне когда-то рассказывал Павел, нравился мне все больше и больше. Я сразу же почувствовал, что чем сильнее он ершится и шумит, тем ближе становится мне. Его ворчание несколько не угнетало.

Режиссер размашисто поздоровался со мной, будто знал меня всю жизнь. Нонна вяло протянула маленькую, словно точеную, ладонь. Я пожал ее. Она была холодна.

— Вы перед нами в большом долгу, — сказал мне режиссер, пристально вглядываясь в мое лицо, стремясь, вероятно, как можно скорее узнать, что я за человек и какие мысли у меня в голове. — Ни разу не побывали у своих собратьев. Не узнаю журналиста,

— Где прошел кинорежиссер, там журналисту делать нечего, — попробовал отшутиться я.

— Э, мой дружок, наоборот, вовсе наоборот, — мелодичным красивым смехом сопровождал каждое свое слово режиссер.

В это время из двери показалась Мария Петровна. Появление гостей несколько не удивило ее. Она сдержанно поздоровалась с ними.

— Не спится? А у меня и стол еще не накрыт.

— Считаю себя пограничниками, — зашумел режиссер. У меня все отчетливее складывалось убеждение в том, что и шумом, и смехом, и шутками он старается заглушить беспокоившее его чувство тревоги и неуверенности. — А о столе прошу ни звука: у нас скатерть-самобранка. Идея: забрать всех обитателей этого теремка и забиться куда-нибудь в чащу. Ваше отношение к данному мероприятию, дорогая мамаша?

— Пойду позвоню Аркадию, — вместо ответа сказала Мария Петровна.

— А где он? — быстро спросила Нонна. — Где Светлана?

Она несмело приподняла большие настороженные глаза, и что-то похожее на всплеск морской волны взметнулось в них. Кажется, в эти секунды Нонна больше всего боялась, что Мария Петровна не ответит ей.

— На заставе, — немного помедлив, спокойно сказала Мария Петровна, не взглянув на нее. — Где же ему еще быть?

— На заставе, — как эхо откликнулась Нонна. — Всегда на заставе...

В ожидании Нагорного мы сели на скамью, что стояла возле крыльца. Лицо Нонны было грустным, тень сомнения и ожидания чего-то неприятного и страшного время от времени пробегала по нему. Ее состояние никак не вязалось с тихой радостью свежего, только что родившегося утра. Петр Ефимович сидел нахохлившись, тяжелые веки почти закрывали его большие круглые глаза. Кажется, он дремал. И только режиссер был все так же весел, жизнерадостен, словно и это чистое утро, и близкий лес, шептавший листвою нежные тихие слова высокому небу, и каждая росинка, веселыми живыми искорками заигрывавшая с солнцем, — все это было создано для него и ради него.

Я первый заметил Нагорного. Он шел неторопливо, даже чуть вразвалку. На плечах у него сидела Светланка. Она что-то весело говорила отцу. Нагорный держал ее руками за босые толстенькие лодыжки и то и дело вскидывал голову кверху. Я не мог понять, искал ли он в это время своими глазами сияющие Светланкины глаза или же не мог насмотреться на синее и ласковое небо, в которое хотелось взлететь, чтобы уже никогда не возвращаться на землю.

Увидев нас, Нагорный словно споткнулся о что-то, но тут же справился с собой, ускорил шаги и подошел к нам.

Светланка тут же спрыгнула на землю и, подбежав к матери, весело затормошила ее. Нонна обрадованно и поспешно посадила дочку к себе на колени. Я понял Нонну: сейчас Светланка была для нее своего рода щитом. Она тихо заговорила с дочкой, и это давало ей возможность не принимать участия в том разговоре, который должен был здесь произойти.

— Здравствуйте, — сказал Нагорный, и звенящие нотки отчужденности почти открыто прозвучали в его приглушенном голосе.

— Аркадий Сергеевич, — завладел инициативой режиссер. Он порывисто и чуть театрально протянул к Нагорному полные, черные от загара руки, густо покрытые выгоревшими на солнце волосками. Ветра не было, но волоски все же шевелились как живые. — Прошу извинить, что мы в такую рань и непрошеными явились к вам. У нас осталась последняя съемка и родилась идея — провести воскресенье в лесу вместе с вами. Вот и вся причина.

— Для заставы что воскресенье, что четверг — почти одно и то же, — хмуро отозвался Нагорный.

— И все равно — в лес, на лоно природы, — режиссер старался произносить все это как можно искреннее. — Ночью промчался короткий стремительный дождь. Деревья пригоршнями пили воду, и сейчас в лесу светло, чисто и тихо как перед свадьбой.

— Наряды промокли насквозь, — казалось, Нагорный говорит эти слова не режиссеру, а какому-то другому человеку, который незримо присутствует здесь и виден только одному ему. — Плащи ни к черту. Да и какой плащ выдержит? — зло выпалил он и замолчал.

Я смотрел на Нагорного, и его душевное состояние настолько сильно прорывалось наружу, что мне, пожалуй, можно было безошибочно понять его мысли, отгадать желания и расслышать не только те слова, которые он произносил вслух, но и те, которые ему хотелось произнести, но которые усилием воли он все же сдерживал в своей душе. Все мы по-прежнему сидели на скамье, а Нагорный стоял как-то вполоборота к нам, будто чувствовал себя здесь ненужным и лишним. Со стороны можно было подумать, что его мысли заняты заботами о границе, о промокших на ночном ливне нарядах, о тихих дозорных тропах. Но по осунувшемуся, почерневшему лицу, по собранной, точно готовой к прыжку фигуре было видно, что недостает лишь одной, даже слабенькой искорки, чтобы взрыв гнева обрушился на режиссера. Глаза Нагорного вспыхивали жаркими злыми огоньками, кажется, в них настырно лезли солнечные лучи, пробившие себе дорогу сквозь густую сосновую хвою. Мне вдруг сделалось страшно: я привык к тому, что яркое утреннее солнце вызывает на лицах людей не тихую ярость, а добрую, ясную улыбку. Но, невольно поставив себя на место Нагорного, я понял его и мысленно согласился с ним.

— Плащи... Мокрые плащи, — рассеянно проговорил режиссер и добавил уже без прежнего энтузиазма: — И все же в лесу сейчас такое чудо!

— Чудо — не природа, а люди, — безмятежно откликнулся Петр Ефимович, не поднимая головы. — Человек вытаращит глаза на березку и умиляется. А нет, чтобы с таким же трепетом душевным взглянуть на другого человека. Вот это было бы действительно чудо. А то он или ищет в другом человеке недостатки, или завидует ему, или старается исковеркать ему жизнь.

— Это же не философия, а беспросветная тоска! — радостно воскликнул режиссер, видимо стремясь благожелательным восприятием сказанного старым актером повлиять на его настроение. — Зачем же противопоставлять человека и природу? Они слиты, так какой же смысл разделять? И все из-за того, что Петра Ефимовича отлучили сегодня от окуней. Дайте им пожить спокойно. Так как же, Аркадий Сергеевич?

— Служба, — помолчав, твердо ответил Нагорный, нервным движением тонких пальцев разминая папиро-

су, — граница. — Он резко перевел взгляд на Нонну, словно ища у нее поддержки, но та еще ниже склонилась к голове Светланки и что-то шептала ей на ухо. — К тому же я только что из леса и вряд ли увижу там что-нибудь новое, — добавил он и швырнул на землю так и незажженную папиросу.

— А я считал вас лириком, — сказал режиссер, встав со скамьи. — В отличие от тех военных, чьи чувства подчинены статьям устава.

— И в уставах можно услышать голос поэзии, — возразил Нагорный. Я понял его мысль, но почему-то пожалел, что он высказал ее несколько выпренно, в тон режиссеру.

— Значит, поход отменяется? — встряхнул крепкой полысевшей головой Петр Ефимович. — Впрочем, для меня это не открытие, я знал это еще когда садился в машину. Но какого же дьявола у меня отняли зорьку?

— Аркаша, — послышался из открытого окна голос Марии Петровны. — Все же нам лучше пойти.

И мне вдруг тоже захотелось ее поддержать. Я понимал, что, если Нагорный не согласится пойти, мучительные раздумья еще с большей силой завладеют его душой. Рано или поздно он должен узнать все то, что должен узнать. И разве не лучше, если это произойдет скорее?

— Сегодня дежурит Колосков, — торопливо напомнил я Нагорному, не решаясь, однако, прямо высказать свое мнение.

— Ну конечно, Колосков, — тут же подхватила мои слова Мария Петровна и решительно добавила: — Мы пойдем, Аркаша. Мы пойдем.

— А ты? — тихо, словно боясь потревожить своим вопросом, обратился Нагорный к Нонне.

— Если пойдешь ты, — неуверенно и в то же время как-то слишком покорно отозвалась она. И кажется, эта внезапная покорность сделала свое.

— Идти так идти, — резко сказал Нагорный, и я заметил, как смутная надежда пронеслась по его сумрачному лицу.

— Слышу голос воина, — сказал режиссер. Меня удивило, что в его словах сейчас не слышалось патетических ноток.

— В лес, в лес! — восторженно завопила Светланка

и, став по стойке «смирно», как это делал старшина Рыжиков, звучно, по-мальчишечьи крикнула:

— Выходи строиться!

Этой шумной, веселой команде нельзя было не подчиниться. Вскоре один за другим мы потянулись по тропке, капризно петлявшей в темно-зеленом, как малахит, ельнике, где ели так тесно прижались друг к дружке, что им, наверное, было трудно дышать. Впереди то и дело мелькало, как флажок, красненькое платьице Светланы, за ней бодро поспешал режиссер. Мария Петровна замыкала шествие. В плетенке из ивовых прутьев она несла окуней и красноперок, которых на рассвете вытряс из верши Нагорный. Плетенка перед этим стояла в воде, и сейчас каждый ее прутик молодо зеленел, и на желтый, еще сыроватый после дождя песок нетерпеливо падали мелкие мутноватые капли.

Режиссер выбрал поляну под тремя могучими соснами, сплошь залитую нежарким солнцем. Воздух здесь был полон запаха чистого мокрого песка, сосновых шишек и свежего цветочного меда. Мы разбрелись по ближним зарослям, чтобы набрать сушняку для костра, а Мария Петровна и Петр Ефимович расположились на полянке чистить рыбу. Старый актер заявил, что варку ухи он берет на себя и никому этой роли не уступит. Он помогал Марии Петровне вынимать из плетенки окуней, колол пальцы об острые плавники и беспрерывно чертыхался.

Я соорудил из собранного сушняка шалашик, подложил снизу пучок успевшей высохнуть на солнце, шелестевшей в руках травы, сунул в него спичку, и в то же мгновение над полянкой занялся тихий, вначале тонкий и робкий, дымок костра. Режиссер балагурил, сыпал остротами и раскладывал на целлофановой скатерти бутерброды с кетовой икрой, колбасу, вареные яйца, яблоки.

Костер разгорался всё ярче. Петр Ефимович успел спуститься вниз, к ручью, и теперь прилаживал над огнем большую кастрюлю с очищенной и выпотрошенной рыбой. Несколько красноперок он тщательно обернул газетой и сунул в раскаленные угли, обещая угостить нас печеной рыбой. Ромуальд Ксенофонович ловким ударом ладони выбил пробку из бутылки с коньяком. Разлив светло-коричневую, янтарную жидкость в пласт-

массовые стаканчики, он роздал их каждому из нас и торжественно провозгласил:

— За человека!

Мы выпили молча, как это всегда бывает среди не успевших еще как следует познакомиться людей. Я смотрел на костер, и мне почему-то вспомнилась зима 1941 года, Подмоскovie, фронтовые сто праммов и почти такой же костер на свежем, только что выпавшем снегу. Я, как и другие бойцы нашей батареи, дремал у костра. Лицо так накалилось, что вот-вот должно было вспыхнуть, а спина будто покрывалась льдом от холода. Вспомнилось, как прогорела от прилетевшей искры моя шапка и как утром наши гаубицы снова открыли огонь. Мне захотелось рассказать обо всем этом, и я рассказал.

— И знаете, чем были заняты мои думы у того костра? — невольно вырвалось у меня. — Я вспомнил о своей первой любви. Девушку звали Женей. И мне чудилось, что не пламя костра, а горячие глаза любимой согревают меня. От жары проснулся, шапка дымилась, а я был счастлив...

Проговорив все это, я взглянул на Нагорного и вдруг понял, насколько неуместно было сейчас это мое воспоминание. Он весь сжался, словно ожидая удара. Но режиссер тут же уцепился за эту тему.

— Любовь — это чудо! — с подъемом произнес он. Крепкие золотые зубы его так хрустнули яблоком, что во все стороны брызнул сок. — Да, чудо. И если в тебе не живет вечное чувство любви или нет на земле человека, который бы любил тебя, ты напрасно родился. Вы посмотрите на людей в большом городе. Они на ходу прыгают в троллейбус, мчатся по эскалатору метро, перебегают через улицу, рискуя попасть под первую же машину. И со стороны кажется, что вся их жизнь заключена в этой непонятной, стремительной и беспорядочной беготне. Разве что вы увидите промелькнувшую возле вас улыбку девушки или нахмуренные брови старика. Но ведь у каждого человека — сердце. И в каждом сердце — своя, пусть маленькая, буря. Это или буря радости, или неизбывное горе, или клокотание творческой мысли.

Режиссер говорил быстро, восторженно, никому не давая перебить себя и не забывая с аппетитом уплетать яблоко.

— Я считаю, что самое умное, чего достиг человек, — это умение любить женщину. Все прекрасное на земле производно от этой любви, — пылко произнес он и обвел всех просветленным ликующим взглядом.

— Точно так же считал Горький, — спокойно, будто самому себе проговорил Нагорный, подкладывая в костер сушняк.

Я посмотрел на режиссера. Чуть выпуклые глаза его улыбались все так же искренне и приветливо, а щеки вспыхнули еще ярче.

— Это — бестактно! — мрачно воскликнул Петр Ефимович, помешивая деревянной ложкой закипавшую уху.

Я успел заметить, что его глаза подобрили и засветились едва приметной радостью, но так и не понял, кому он адресовал свое замечание.

Нонна вздрогнула, точно обожглась о раскаленные угли, вскочила на ноги и, заложив руки за спину, оперлась ими о широкий корявый ствол сосны. В этот момент мне показалось, что сосна рядом с ней стала моложе.

— Но даже если есть любовь, но нет труда, который несет в себе радость и веру в жизнь, человек не может испытывать полного счастья, — громче сказал Ромуальд Ксенофонтович, видимо стараясь, чтобы его обязательно услышала Нонна. — Вы слышите: над нами, не переставая, свистит какая-то птица. Она сидит где-то там, на самой макушке этой древней сосны, и ее свист полон наивного светлого счастья. Слышите?

Мы прислушались. Трещали сучья в костре, булькала уха, на перекате мирно звенел ручеек, но свиста птицы, кажется, никто не услышал.

— Но сейчас речь не о птице. Я хочу говорить о людях, — улыбка со свежего румяного лица режиссера медленно сошла, и он заговорил тверже и резче. — Людей на земле рождается много. Но нашей планете нужен не просто человек. Ей нужен талант. Во всем его многообразии. Пусть это будут грубые, но умные руки каменотеса. Или мятежный мозг конструктора космических кораблей. Или горячие глаза женщины, которая умеет любить так, как не умеет никто другой. Жизнь не терпит посредственности, она ищет в людях драгоценные зерна, и если найдет их, к своему счастью, то старается, чтобы они дали всходы, а потом и чудесный урожай. Талант нуждается в том, чтобы его пробуждали, звали к актив-

ному действию, доводили до совершенства. Выпьем за талант!

Нагорный в упор смотрел на Нонну, и та ответила ему таким же пристальным немигающим взглядом. «И ты еще посмела приехать с ним, чтобы он говорил мне все это», — прочитал я в глазах Нагорного. «Да, приехала, — отвечали ему глаза Нонны. — И если ты не согласен с тем, что он сейчас говорит, убеди его, разбей его доводы, и мы все посмеемся над ним. Но ты все равно не сможешь сделать этого, потому что его слова беспощадны, но зато правдивы».

— Но к сожалению, жизнь бывает устроена так, что независимо от воли человека талант его остается в тени.

— Причина? — все тем же хмурым басом спросил Петр Ефимович.

— Извольте: либо человек сам чудовищно инертен, либо талант его сдерживается искусственными барьерами. И в конечном счете гибнет человеческое счастье.

— И как хорошо, что есть люди, которые специализируются на спасении талантов, — едва приметно усмехнулся Нагорный, наклонившись к костру.

— Таким я бы ставил памятники при жизни, — оживился режиссер.

— Памятника не жалко, — сказал Нагорный. Смуглые щеки его покраснелись: то ли от пламени костра, то ли от внезапно прихлынувшей к лицу крови. — Обидно только, что они считают, будто человечество у них в неоплатном долгу.

— Пожалуй, главное совсем не в том, что они считают, — возразил режиссер. — И даже не в том, что о них думают. Главное в том, что с их помощью на радость людям вырастает талант.

— Гении не нуждаются в том, чтобы благодетели от искусства вели их под ручку до самого Парнаса. Они сами карабкаются по каменистым тропам. И славу добывают своим горбом. И чем она горше достается, тем ценнее и дороже.

— Так мы зайдем с вами очень далеко, Аркадий Сергеевич, — нахмурился режиссер. — Собственно, я не стремлюсь навязать свое мнение. Каждый из нас вправе думать так, как подсказывает нам наша совесть. Но я видел немало одаренных людей. Одни из них, потеряв поддержку, падали, чтобы уже не встать, а другие, ощу-

тив, говоря армейским языком, чувство локтя, смело шли навстречу славе.

— Слава сама находит тех, кто достоин ее, — убежденно сказал Нагорный, глубоко затянувшись папиросным дымом.

Искры костра летели во все стороны бледным, неярким снопом: их заглушало солнце, поднимавшееся все выше и выше над тихим лесом. Нонна стояла все так же неподвижно, откинув голову к стволу сосны. На ее лице, отражались, сменяя друг друга, словно облачные тени, самые противоречивые чувства — растерянность, грусть, ирония, дерзкая решимость. Все, что происходило в ее душе, можно было прочесть по блеску продолговатых глаз, по взлету пушистых ресниц, по нервным движениям припухших губ и тонких ноздрей, даже по едва заметной жилочке, что билась на ее виске. Мне хотелось подойти к этой женщине и заговорить с ней. О чем она думает? Почему молчит? Согласна ли с тем, что говорит режиссер, или готова поддерживать слова своего мужа? Верит ли она сама в свой талант, видит ли в труде актера, этом мучительно радостном, каторжном труде свое призвание? Но меня что-то удерживало от этого шага. Я боялся потревожить ее думы, неосторожным словом спугнуть их.

— Да, съемки наши почти завершены, — с сожалением вздохнул режиссер. — Вы знаете, друзья, когда приходит пора прощаться со своим детищем и когда оно, собственно, совсем уже не ваше, а общечеловеческое, как становится тоскливо на душе. Думаешь: все, на этом точка. Придут в искусство люди с молодыми сердцами, которые не тронула еще горечь разочарований, и они будут творить лучше нас. Выпьем же за вечную молодость искусства, за радость творчества.

— Я больше не пью, — упрямо сказал Нагорный.

— Даже за творчество? — изумился Ромуальд Ксенофонович. — Но в нем все радости жизни. Творить — значит убивать смерть. И предваряя возможное ваше замечание по поводу источника этого афоризма, я сам назову вам его: Ромен Роллан.

— Уха готова! — торжественно воскликнул Петр Ефимович. — Слово за виночерпием!

— А вы, Нонна Антоновна, выпьете за радость творить? — обернулся к ней режиссер. — Аркадий Сергеевич, кажется, вы видели свою супругу на съемках. Как

она преображается, какое искрометное счастье загорается в ней, когда она играет! У нее — будущее. Но нужен размах, нужна большая сцена. И тогда талант будет оплодотворен великой целью, и люди изумятся его силе, красоте и необычности.

— Тоска! — вдруг гневно выкрикнул Петр Ефимович, повторив одно из любимых словечек режиссера. — Я бы сейчас — в поселок, в народ, на клубную сцену! Или сколотил бы что-то вроде маленького народного театра. И начал бы жизнь заново. К черту идиота с перекошенным лицом, о котором все заранее знают, что это шпион и что он все равно к концу фильма попадется самым наиглупейшим образом. Одни мальчишки в восторге. Да и то умный мальчишка сперва завопит от восхищения, а на досуге подумает: «Брехня, наверно. Разве так бывает?»

Мария Петровна смотрела на Нонну, как бы говоря ей: «Что же ты молчишь? Скажи хоть слово!» Потом она мельком, с надеждой взглянула на сына и быстро пошла к ручью, где играла Светлана.

«Наверное, чтобы не высказать того, что наболело на душе», — подумал я.

Подул легкий ветерок. Дым ел мне глаза. Я отодвинулся от костра. Отсюда мне хорошо были видны Нагорный и Нонна. И если бы в эти минуты они говорили вслух, я был уверен, что услышал бы разговор, состоящий из коротких и стремительных, как росчерк молнии, фраз, каждая из которых искала отзвук в сердце другого. И пока все молчали, мне почудилось, что я слышу эти слова.

«Ты любишь меня? Но любовь приносит человеку крылья. А ты не даешь мне лететь».

«Если ты можешь лететь, лети! Но гордо, не принимая ничьих подачек. Я сам помогу тебе найти то, к чему ты стремишься».

«Ты способен помочь мне? Но тебе помешает граница. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я никогда не стану здесь настоящей артисткой».

«Настоящей? Но разве старый артист не прав? Разве путь в тысячу верст начинается не с одного шага?»

«Я не хочу быть путником, бредущим за своей судьбой. Она сама пришла ко мне, моя судьба. И я не могу упустить свой звездный час».

«Теперь я знаю, что можно потерять веру в людей, в чистоту и силу их чувств».

«Нет, эта вера окрепнет в тебе. Ты увидишь меня в фильмах и будешь гордиться мною. Я вернусь к тебе, и ты еще крепче полюбишь меня».

«Крепче, чем я люблю тебя сейчас, любить невозможно. Ты хорошо знаешь это».

«Да, знаю. Но неужели любовь дана людям для того, чтобы мучить друг друга?»

«Не надо говорить о любви. Ты не имеешь права говорить о любви. И ты сама знаешь почему».

«Нет я скажу. Любовь и счастье — это одно и то же».

«Верно. И, кажется, я очень мало помогал тебе бороться за него. Верь мне, я сделаю больше».

«А граница?»

«И граница поможет! Застава поможет! Все, кто окружают нас, помогут. Лучше и чище, чем этот человек с его красивыми словами».

«Мне нелегко. Если бы ты знал, как мне трудно!»

«Я знаю. Ты ищешь, сомневаешься, ты полна смятения. Но выбери путь потруднее. Выбери!»

«Но я хочу быть счастливой!»

«И я хочу этого. Я хочу, чтобы ты была счастливой, как только может быть счастлив человек. Давай же идти вместе. В одиночку мы не достигнем счастья. Ты понимаешь, вместе! Твое счастье неотделимо от моего».

«А может быть, оно у нас разное, совсем-совсем разное?»

«Разное? Ты могла так подумать? Значит, ты не любишь меня».

— Поймите, я растерял крохи своего таланта! — вдруг надрывно всхлипнул Петр Ефимович, нарушив затянувшееся молчание.

— В таких случаях люди обычно задают себе вопрос: был ли у них этот самый талант? — невозмутимо сказал режиссер.

— Был! — промовым голосом крикнул Петр Ефимович. — Но я не поставил бы вам памятника. Слышите, не поставил бы! — Крупное, на вид невзрачное лицо его, с обвисшими полными щеками и двойным подбородком, горело гневом. — Поймите, черт вас возьми, люди обязаны говорить то, что думают, и делать то, что говорят. Обязаны!

Петр Ефимович неуклюже повернулся, зацепил своей полной, грузной ногой конец березовой жерди, на которой была подвешена кастрюля, и вдруг вся уха, остро пахнувшая пряностями и свежей вареной рыбой, опрокинулась в ослабевшее уже пламя костра.

Мы отскочили в стороны. Послышался треск, костер шипел, дымил, затухал.

— Все испортили! — резко, будто подводя черту под весь разговор, сказал режиссер, и глаза его, полные злобы, так и впились в неуклюжую, ставшую сейчас какой-то жалкой, фигуру Петра Ефимовича. — Надо же так напиться!

И тут я услышал, как Нонна коротко, пронзительно всхлипнула. Я обернулся. Она, чуть пошатываясь, уходила по тропинке. Кусты орешника смыкались за ней.

К костру подбежала Светланка.

— Уху опрокинул! — звонко захохотала она. — Пять суток ареста!

Никто из нас не засмеялся в ответ. Мы стали поспешно собираться. Режиссер потускнел и молча уложил в сумку недопитую бутылку коньяку.

Мы возвращались из лесу неразговорчивые и злые, в предчувствии чего-то непоправимого, что должно произойти.

Я несказанно любил костры и горький привкус дыма, любил лесные чащи, тихие места непуганых птиц, испеченных на углях красноперок, тончайшие нити проводов-паутинок между ершистыми кустами и глухой звук падающей шишки. Но сегодня все это не показалось мне таким же прекрасным, как это было всегда.

Утром следующего дня Нонна отвела меня в сторону, испытующе посмотрела мне в лицо и подала небольшой зеленоватый блокнот.

— Вы, наверное, такое обо мне думаете, — точно оправдываясь, проговорила она. — Есть поговорка: не осуждай, пока не выслушаешь обе стороны. Вот почитайте. Что-то вроде исповеди души. Только с одним условием: открыть этот блокнот после моего отъезда. И все, что прочитаете, держать в тайне. А вернете при встрече в Москве.

— Вы все же решили уехать?

— Да, — тихо, но твердо ответила она. — Или теперь, или никогда.

А вечером ко мне подошла Мария Петровна.

— Всю ночь проговорили, — доверительно сообщила она и глубоко вздохнула. — Хотя все понятно и без слов. Каждый убежден в своей правоте.

— Есть у границы и свои минусы, — сказал я. — Не так просто здесь семью построить.

— Неправда, — запальчиво возразила Мария Петровна. — Граница не виновата. — И уже спокойнее продолжала: — Ведь он, Аркадий мой, разве без души? Он говорит: «Я тебя понимаю, очень хорошо понимаю. Но зачем же вот так, в самую душу...» И она умно ответила: «Разве я не вижу, какой человек этот режиссер? И чувствую, что ты прав, но не могу. Понимаешь, не могу иначе». Граница... Здесь люди познают друг друга как нигде лучше. И каждый друг другу или на всю жизнь нужен, или не нужен вовсе. А вы говорите — граница...

И мне вдруг сразу же вспомнилось жаркое пламя костра и холодные глаза Нонны.

13

Осень оказалась в этих местах куда лучше лета. Летние дни были сумасбродные, пугали своим непостоянством. Часто, еще рано утром, сквозь сон можно было услышать размеренный и надоедливый шум дождя, немного погодя начинало припекать солнце, будто на юге, но через часок-другой из-за леса неожиданно-негаданно выползала тяжелая туча. Казалось, она пряталась в лесу, чтобы потом удивить людей своей черной громадой, и снова начинался дождь, воздух становился тяжелым и душным. А осень, с ее прозрачными свежими рассветами и тихими солнечными днями, была изумительно ласковой и спокойной.

В одно погожее яркое утро на заставу приехал Перепелкин. За это время, что я прожил здесь, он побывал на многих заставах, но сюда не показывался.

Тепло поздоровавшись со мной, Перепелкин спросил:

— Ну, рассказывайте, много ли на-гора выдано? — Бывший шахтер, он любил это выражение. В тон ему я ответил, что пока все еще тружусь в «забое».

— Так я и знал, — проговорил он, улыбнувшись и глядя куда-то в сторону, словно обдумывая, что еще

сказать. — Пока о пограничниках напишете, пожалуй, настанет полный коммунизм и границы полетят ко всем чертям.

Я заверил его, что до коммунизма осталось не так уж далеко.

— А как настроение у Нагорного? — спросил вдруг Перепелкин, как бы найдя то, что следовало сказать.

— Вы, вероятно, знаете не хуже меня, — сказал я, уклоняясь от прямого ответа на этот вопрос.

— Да, кое-что знаю, — медленно проговорил подполковник. — Знаю всю его сложную историю с женой. Так вот, — с каким-то особенным ударением добавил он, — я разговаривал с ней.

— Она не передумала ехать?

— Представьте, нет, — произнес Перепелкин, сделав вид, что не заметил заинтересованности, прозвучавшей в моем голосе.

— Она сказала, что все решено окончательно, — продолжал он, помолчав. — Ей хочется славы, хочется испытать судьбу. Плакала, когда я говорил ей о дочери, несколько раз повторяла: «Она вырастет и поймет меня». Видно, погоня за славой — это тоже сила, с которой нельзя не считаться.

Не дождавшись возражений с моей стороны, он убежденно сказал:

— Сила слабых. Сильные не ищут славы, слава сама их находит.

И все же — кто из них виноват, что так складывается жизнь?

— Оба. Он, мне кажется, по-настоящему не борется за нее. Все еще верит в силу чувства — и только. А она выбрала тропинку полегче и позаманчивей.

— Но если Нонна не может без театра так же, как Нагорный без границы?

— Как вам сказать? Вы слышали о Наталье Ужвий? Знаменитая актриса. Она была швеей. Потом учительницей. Играла на клубной сцене. Была бойцом продотряда. И тайно мечтала о театре. И когда она стала актрисой, ей было о чем рассказать людям. А что за душой у Нонны? Театральное училище? Нагорный — тут дело совсем другое, не мне вам рассказывать.

— Вот это вам бы и следовало ей напомнить.

— Напоминал.

— И что же?

— Она сказала: «У каждого свой путь».

Мы помолчали, потом он начал расспрашивать меня о делах заставы.

— Не слишком ли хвалите? Так ли уж все хорошо? — перебил он меня, когда я стал передавать ему свои впечатления. — А вот посмотрим, коммунисты подскажут, что хорошо, что плохо здесь.

...Коммунисты собрались в летней беседке. Я не знаю, можно ли было назвать эту непринужденную встречу собранием. Перепелкин говорил с подъемом, и убедительным в его речи было все: факты, сопоставления, интонация голоса, в котором часто слышались иронические нотки. Взор его задерживался то на одном, то на другом лице внимательно слушавших его коммунистов.

Жил-был один начальник заставы, — рассказывал Перепелкин, пряча хитрую улыбку в уголках губ. — Прослужил он на заставе добрых полгода. И вот как-то понадобилось ему побывать в райкоме партии. Собрался он, сел на боевого коня и — аллюр три креста — в райцентр. Бодро въехал на главную улицу городка и тут только вспомнил, что не знает, в каком направлении ехать дальше. К взрослым неудобно обращаться и спрашивать, где райком помещается, так он мальчонку подозвал. А тот ему в ответ: «Дяденька, сначала прокати, а потом я покажу». Вот задача! Пришлось покатать. Покрутил его мальчишка по улицам, накатался вволю. А потом слез возле того самого дома, где садился, и говорит: «А вот, дяденька, и райком». Как это вам нравится? Не о вашей заставе идет речь?

— Вроде не о нашей, — проговорил Пшеничный, воспользовавшись паузой.

— И знаете, о ком я говорю? — продолжал Перепелкин. — О Савельеве, о соседе вашем. Спрашивается, кто позволил ему превращать заставу в островок? Да поговорите вы с теми, кто служил на границе в тридцатые годы: со всей округи к ним ездили за советами, не боялись спросить, как имущество между братьями разделить, как кулака прижать. Детей приносили лечить! Не к попу шли, а на заставу. А почему? Очень просто. Кто такие пограничники? Это полномочные представители Советского государства в пограничной полосе. Государ-

ственное око на границе. Об этом не только помнить требуется, этим дорожить нужно.

— И невозможно нам без местного населения, никак невозможно! — настойчиво разъяснял Перепелкин. — Вот вы тут посмеялись над Савельевым. А у вас много лучше? Животноводов к себе приглашали? Нет. А почему? Пусть расскажут, как Америку догоняют, а вы — ответный визит на ферму: посмотреть, рассказать о своих пограничных делах. Личные встречи — великое дело даже в отношениях между государствами. Нужна живая связь с народом, постоянная связь, чтобы не только зойки к уваровым ходили — я не против этого, — а чтобы каждый колхозник шел. Вот и давайте посмотрим на себя, на всю нашу работу глазами партии. Посмотрим придирчиво и доброжелательно.

Пшеничный, слушавший Перепелкина с большим интересом, в особенности, когда подполковник говорил о взаимоотношениях коммунистов заставы, не выдержал.

— Я коммунист рядовой, — неторопливо заговорил он, то проводя рукой по стриженной голове, то теребя пуговицу на гимнастерке. — И раньше думал: не моего ума это дело. А раз партия говорит: вникай во все, значит, и я в ответе. Много у нас хорошего, но только есть и плохое. Застава — подразделение маленькое, здесь все на виду. И все это знают. Мы коммунистов Нагорного и Колоскова уважаем. А вот почему у них нет дружбы?

Задав этот вопрос, Пшеничный замолчал и уставился вопросительным взглядом на присутствующих.

— Вот-вот, расскажите об этом, — поддержал Перепелкин.

Это подбодрило Пшеничного, и он продолжал:

— Почему у них нет дружбы — не знаю. Я говорю, что вижу. Посмотришь: у нас капитан вроде все сам хочет переделать, про заместителя совсем забывает. А товарищ Колосков видит это — и в сторону.

— Я — в сторону?! — перебил Колосков, на лице его выразилось удивление.

— Да я совсем не хотел вас обидеть, товарищ лейтенант, — смутился Пшеничный: его полные щеки покраснели, а рука тотчас же потянулась к пуговице. — Ну, выразился по-простому. Извините, если что не так. Я что хотел сказать? Я хотел сказать, что солдаты — ушлый

народ, они все видят и чувствуют, — закончил он под общий смех.

Слова Пшеничного расшевелили остальных. Так бывает, когда вдруг открыто заговорят как раз о тех волнующих делах, о которых до этого никто не решался сказать, и когда появляется настоятельная потребность высказать все, что наболело на душе за долгое время.

Потом в разговор включился Ландышев. Он говорил без волнения, обращаясь почему-то только к Колоскову:

— Помните, товарищ Колосков, я пришел к вам с телеграммой, мамаша у Сомова заболела? Взяли вы бумажку, долго вертели в руках, а ответили что? «Сомов — не врач, не поможет». И я хочу спросить, товарищ Колосков, у вас есть мать?

— Есть, конечно, — тихо ответил Колосков.

— Не верю! — сердито сказал Ландышев. — У меня все.

Колосков говорил возбужденно и путано.

— Не знаю, — развел он руками, — не знаю, чего от меня хотят, в чем обвиняют. А кто знает, что у меня в душе? Зачем же говорить о работе с людьми, о воспитании? Никто же не знает, как мне трудно работать. Капитан Нагорный, если хотите, не доверяет мне. Конечно, легко критиковать, это понятно. Но я не ищу дешевый авторитет. И не считаю себя непогрешимым. И наконец, от меня не собирается уходить жена.

Услышав последние слова Колоскова, Нагорный вздрогнул.

— Только не об этом, — глухо сказал он.

— Нет, почему же? — запальчиво ответил Колосков. — Пока критиковали меня, я молчал. Нам, коммунистам заставы, небезынтересно знать, все ли в порядке в вашей личной жизни.

— Хорошо. Это не только мое личное дело, но дайте мне сначала самому разобраться во всем.

— Вот так всегда. Везде и всюду сам.

— Тут не раз говорилось: «Взаимоотношения, взаимоотношения», — заговорил Нагорный. — И звучит это так, будто речь идет о взаимоотношениях двух соседей — Аркадия Сергеевича и Леонида Павловича. А дело совсем не в этом. Я скажу прямо. Может, я ошибаюсь. Товарищ Колосков равнодушен к своему делу. К службе на границе. Отсюда и все беды: и равнодушие

к людям, а иной раз горячность и недоверие к ним. А этого терпеть нельзя. Откуда у вас все это, товарищ Колосков? Станьте настоящим командиром, воспитателем. Откажитесь от высокомерия. И пойдем дружно вместе. Не моя вина, что товарищ Колосков все еще чувствует себя гостем на заставе.

Высказав все, что он думал о Колоскове, Нагорный перешел к делам заставы. Он говорил тоном человека, убежденного, что недостатки в службе и в партийной работе под силу преодолеть людям, если они этого захотят.

— Что ж, теперь, видно, моя очередь, — вступил в разговор Перепелкин. — Вот ты, Аркадий Сергеевич, говоришь, не твоя вина. А я думаю, твоя. Непростительно тебе отдавать воспитанию солдат и сержантов столько сил и ничего не сделать, чтобы помочь своему заместителю посмотреть на все другими глазами. А ведь он к тебе ближе всех стоит и даже живет в одном доме с тобой. Думаешь, мы дадим тебе другого заместителя или разошлем по разным заставам? Не выйдет, извольте сработаться. Скоро придет к тебе заместитель по политической части, молодой товарищ, его тоже учить надо. Ты глава, с тебя и спрос. И, если на то пошло, ты сам повторяешь ту же ошибку, что и Колосков. Только с другой стороны. Колосков считает, что солдат должен попасть к нему на заставу готовым, честь по чести — и воспитанный и обученный. А ты, Аркадий Сергеевич, хочешь, чтобы твой заместитель был готовым и в помощи не нуждался. Что же касается семьи, это особый разговор. И сегодня его не стоит начинать. От тебя же, Леонид Павлович, я ожидал большей откровенности. Когда человек открывает душу, ему помочь хочется. Думаешь, мы слепые и не видим, что у тебя есть много хорошего? Знания у тебя богатые, искусство любишь, требовательность на высоте. Но пойми, требовательность бессильна, если ты к людям спиной стоишь. У людей нужно сознательность воспитывать, а ты административной дубинкой размахиваешь. Пленум по этим замашкам давно ударил. Очень правильно ударил. Да и, наверное, чересчур умным себя считаешь. Поучиться боишься. А в службе тебе учиться надо. Даже у солдат. И скажу тебе, ты себя во сто раз лучше почувствуешь, когда холодок к границе сменится у тебя настоящим горением.

Откровенный разговор длился долго. Перепелкин не

забыл спросить у Нагорного, как получилось, что Уваров допустил грубое нарушение воинской дисциплины. Кажется, в это время мимо беседки проходил Костя.

Уходя домой, я уносил в душе хорошее чувство, напомнившее мне о фронтовых днях, когда мы вот так же не раз находили пути из, казалось бы, безвыходных положений.

14

Перепелкин жил на заставе почти целую неделю. Он был из тех начальников политотделов, которые не переносят кабинетного затворничества. Еще в первые дни он по-хозяйски осмотрел заставу. Одобрительно крикнул, когда Нагорный показал ему новую баню, которую пограничники построили своими руками.

— Знаешь мое слабое место, — засмеялся Перепелкин, когда Нагорный пригласил его помыться в бане. — Решено. Моюсь, но только за компанию. И чтобы венички были.

Мылся он с нескрываемым удовольствием. Воздух в парилке был раскален и обжигал нос при дыхании. Я не мог забраться выше второй полки, а Перепелкин уселся на самом верху и ожесточенно нахлестывал себя веником. Мокрые горячие листья березы облепили его крепкое жилистое тело.

— Добро! Славно! — покрывал он.

После бани Перепелкин сказал:

— Люблю Нагорного. Люблю за то, что он не стоит на одном месте. И главное, люди у него не стоят.

Несколько раз я наблюдал подполковника, беседующего с солдатами. Чувствовалось, что пограничникам нравится его слушать. Говорил он просто, с шутками и прибаутками, и несведущему человеку могло показаться, что тут и беседы нет никакой, а просто пошутить и побалагурить собралась веселая компания.

В эти дни я почти не имел возможности поговорить с подполковником. Ночами он ходил на проверку нарядов, а в остальное время находился среди пограничников.

Встретились мы как-то утром возле штаба, и я сказал ему, что пограничные войска очень напоминают мне авиацию.

— Верно подметили, — согласился Перепелкин. — Там, в авиации, полковник не полковник, генерал не ге-

нерал, а садись в машину и поднимайся в воздух. И у нас закон такой: приехал на заставу — участвуй в охране границы. И генералы в наряд ходят.

Он присел рядом со мной на крылечке, и по его вдруг подобревшему лицу я понял, что затронул любимую им тему.

— Скажу по секрету, — заговорил он дружеским тоном, — граница для меня — лучшее лекарство. Меня ишиас мучает проклятый. Во время поиска в болоте пришлось побывать. А как на дозорку выйду — вроде проходит. Верите? Кстати, какого вы мнения о Колоскове? — вдруг спросил он.

Я сказал, что Колосков, кажется, по-настоящему не любит границу.

— Как это не любит? — возмущенно спросил Перепелкин. — Любовь к профессии сама не рождается. Ее воспитывают.

— Не согласен, — запротестовал я. — У каждого свое призвание.

— Меня никто не спрашивал о призвании, — проворчал Перепелкин. — Вызвали и сказали, что нужно охранять границу. Я повторил приказ и переоделся в пограничную форму. А вы — призвание. Вы думаете, из него настоящий художник получится?

— Думаю.

— Если он жизни не хлебнет — не получится! — убежденно сказал Перепелкин.

Он хотел еще что-то добавить, но его позвали к телефону.

Не дают вволю пожить, — пожаловался он, вернувшись после телефонного разговора.

В то же утро Перепелкин уехал в отряд.

Спустя несколько дней мне понадобилось побывать на станции, чтобы передать в редакцию журнала свой небольшой очерк. Я выехал верхом еще до рассвета. Голоса птиц заполняли лес. Они спешили насвистаться до восхода солнца. Где-то поблизости от меня все время вызванивала свою нехитрую песенку неугомонная пеночка-трещотка. Мне казалось, что она всю дорогу сопровождает меня и изо всех сил старается доказать мне, как красиво она поет. Соловьи уже умолкли. На дальнем болоте обиженно кричал чибис.

Начальник станции Иван Макарович быстро органи-

зовал мне телефонный разговор с Москвой. Я прочитал стенографистке очерк, попрощался с Иваном Макаровичем и направился было к коню.

— Поезд прибывает, — ревниво остановил меня Иван Макарович. — Не хотите взглянуть?

Я пошел на платформу. Поезд устало подползал к ней. Мне сразу же припомнилось первое утро на этой же станции.

И тут у последнего вагона я увидел Нонну. Она, кажется, не замечала меня. Иван Макарович дал отправление, вагоны дернулись. В этот момент Нонну будто кто-то подтолкнул сзади. Она быстро повернулась, вскочила на подножку, и молоденькая проводница, чуть посторонившись, пропустила ее в вагон. Поезд набирал скорость. Провожая его взглядом, я еще раз увидел Нонну. Она показалась в двери вагона и долго смотрела в сторону леса, где виднелась пыльная проселочная дорога, ведущая к заставе.

Я вернулся на заставу. Нагорного дома не было.

— Уехала, — с грустью сказала мне Мария Петровна. — Артисты три дня назад, а она сегодня. Такая вот жизнь.

Вечером я, уединившись, открыл дневник, оставленный мне Нонной. Вряд ли есть необходимость приводить его полностью. Я остановил свое внимание главным образом на тех местах, которые показались мне существенными.

Вот эти места.

- «Где бы я ни была, в какие бы края ни попадала — всюду перед глазами стоит Камчатка. Удивительный край. Ложишься спать — стволы деревьев черные, безжизненные, словно обугленные. За зиму они здорово намерзлись. А проснешься — на ветвях уже проклюнулись бледно-зеленые почки. Не то, что у нас, в средней полосе: зима переходит в весну медленно, последние, ослабевшие метели перемежаются с тихим постоянством безветренных солнечных дней. А там — кругом снег, а в уютной ложинке, на крутом склоне сопки, куда не могут добраться злые ветерки, в том самом местечке, которое облюбовал себе первый солнечный луч, пробился и неудержимо лезет вверх подснежник. Помню, Аркадий приходил в такой день с заставы и весело сообщал: «А весна с ходу атаковала зиму. Ты понимаешь, что это

значит!» Он так любил меня целовать в дни, когда нарождалась весна! На Камчатке родилась Света».

«Да, теперь-то я уж точно знаю, что он любил меня всегда сильнее, чем я его. Уже в то время, когда он не мог себе представить жизни без меня, — уже тогда я еще только чувствовала что-то вроде неясного пробуждения любви. Мне передалось его сильное чувство, и оно жило во мне, а не мое собственное. Это было эхо любви, а не сама любовь».

«Льют дожди. После них очищается не только воздух, но очищается и человеческая душа. В дождливые дни мне почему-то особенно хочется думать о жизни. Когда брызжет солнце, звенят ручьи, хорошо любить, смеяться и плакать не думая. А в дождь, в тягучий, неумолчный дождь у меня появляется желание вновь подниматься по тем ступенькам жизни, по которым уже не спустишься в свое прошлое. Это, кажется, было всегда. У заставы — своя жизнь, у меня — своя. А это значит, что у меня и у Аркадия — разные пути. И в том, что делает Аркадий, и солдаты, и Юля, и все, кто окружает меня здесь, я никак не могу отыскать своей радости. Во мне все время живет остро ошутимое противоречие между мечтой и действительностью. Но тем дороже мне моя мечта!»

«Театр, театр! Почему он влечет меня к себе? Кажется, я нашла ответ на этот вопрос. Приходят люди: у каждого свои думы и заботы, и каждый думает о своем. И вот я выхожу на сцену — и все они в моей власти. Я могу заставить их и смеяться, и плакать, и сравнивать свою жизнь с жизнью моего героя, и верить в счастье или навсегда разочароваться в нем. Они, эти люди, станут лучше или хуже — все это зависит от меня. Я или очищу их души, или зажгу в них ненависть, или заставлю петь самую светлую песню в мире — песню любви».

«Приезд Ромуальда Ксенофонтовича окрылил меня. Так пробуждается спящий вулкан. Крылья мечты подняли меня ввысь, и теперь мне уже не опуститься на землю. Мне очень жалко Аркадия — ведь он отдал мне всю свою любовь без остатка. Лучшие годы своей жизни. Но разве жалость может победить мечту?»

«Кажется, я решилась. А как же Светлана? Мне не хочется отнимать ее сейчас у Аркадия. Он не вынесет этого. Устроюсь, и если, как уверяет Ромуальд Ксенофонтович, мой талант изумит людей, я приеду за дочкой.

Но неужели мы навсегда расстанемся с Аркадием? Мне не хочется верить в это, но жизнь диктует свои законы...»

«А может быть, настанет и такой день, когда я бегом вернусь на заставу. Примет ли он меня, мой единственный, настоящий друг?»

15

Прошло время, когда осторожно и робко, будто раздумывая, слетали с деревьев листья-одиночки. Однажды ночью студёный ветер зло набросился на лес, выдул из всех его тайников застоявшееся тепло, и на рассвете, выглянув в окно, я увидел, как листья птичьими стаями понеслись в сумрачном, невеселом небе.

В такую неласковую суматошную погоду Колосков любил рисовать. Он набрасывал на плечи спортивную куртку, брал с собой этюдник и исчезал в лесу.

Мне захотелось посмотреть, как он работает, и однажды я отправился вслед за ним.

Колосков сидел на крутом, усыпанном палыми листьями берегу речки и неотрывно смотрел, как ветер с наругой и злостью дышит на потускневшую воду. Время от времени он стремительно наносил кисточкой краску на холст и снова замирал. Он видел, наверное, зеленую полосу озимых на той стороне реки, бурлившую мутную воду на перекате, жиденькие деревца-одногодки, при каждом порыве ветра клонившиеся чуть не к самой земле. Может быть, он слышал тоскливое курлыканье журавлей, или песню ветра, насквозь продувавшего озябший лес, или огненный перебор гармошки, доносившийся с заставы?

— Вам не холодно? — спросил я его, подходя ближе.

Колосков удивленно оглянулся.

— Неужели нельзя без вопросов? — сердито спросил он.

— Можно, — примирительно сказал я. — Кстати, я не думаю вам мешать. Я знаю, что такое святыя минуты творчества.

— Теперь уж мешайте, все равно, — неожиданно улыбнулся Колосков. — Чтобы написать осень, нужно почувствовать ее холодное дыхание.

Я сел на сухую траву рядом с ним.

— Вы знаете, — искренне сказал Колосков, — вот сейчас, за мольбертом, я чувствую себя настоящим чело-

веком. Когда я рисую, я обо всем забываю: и что дует холодный ветер, и что мы далеко от веселых больших городов.

— Значит, вы не можете не быть счастливы, — заметил я.

— Нет! — горячо возразил он. — Если бы вы знали, как еще мне далеко до полного счастья. Я материально обеспечен, у меня жена, которую я люблю...

Заметив, что мне стало неловко от его слов, Колосков поспешно и чуть виновато добавил:

— Послушайте, я не могу иначе. Я или ничего не скажу, или скажу все. Я очень люблю ее. Я привык смотреть ей в глаза, целовать ее губы. И вдруг всего этого нет. Вы можете понять мое состояние. Мне кажется, что я схожу с ума, что нет не только ее, нет ничего вокруг — ни леса, ни людей, ни неба, — ничего!

«Выпил он, что ли?» — подумал я.

Колосков приподнял голову и посмотрел на меня диковатыми глазами.

— Вы скажете, какая же связь между тем, что я люблю рисовать и моими чувствами к жене? Связь есть, вы сейчас поймете. Помните ее слова: «Я счастлива, мне хорошо здесь, я рада, что ты — пограничник». Да, она все здесь любит. А я? И я люблю — и эту форму, и зеленую фуражку, и не представляю себя гражданским человеком. Когда-то я рвался сюда, а теперь... Теперь мне тяжело здесь. Вы хотите знать, почему? Я отвечу: искусство и служба несовместимы. Несовместимы! Каждый день мне кто-то нашептывает эти слова. И мне кажется, что все у меня здесь временное, не настоящее. А она этого не хочет понять. Или не может? Не знаю...

Колосков не договорил, встал и отошел к пню, обросшему старыми и твердыми, как камень, грибами. Мне показалось, что его плечи вздрагивают.

— Вы понимаете, я живу в обнимку со страхом. Ложась спать, я думаю, что прошел еще один день и, в сущности, ничего не сделано. Вы представляете себе, что такое день в жизни человека? Это и необыкновенно много и удивительно мало. И если я не смог отдать этот день творчеству — он потерян для меня безвозвратно. Вот почему мне часто бывает страшно. У меня такое чувство, будто осталось этих дней столько, что я могу пересчи-

тать их по пальцам. Меня охватывает, если хотите, ужас, я становлюсь слабым, беспомощным и теряю веру в себя.

Так вот зачем он завел этот разговор!

Я не хотел говорить ему то, о чем думал в эти минуты. Колосков, видимо, оценил мое молчание. Успокоившись, он снова сел за мольберт.

— Вы поняли меня. Спасибо.

— Я понял. Только к чему такая паника? Вы молоды. Но главное не в этом. Жизнь и искусство нераздельны. Уйдите от своей работы и вы увидите, что потеряли главное богатство.

— И все же, как я завидую сейчас Нонне! Ее решительности, ее свободе. А у меня снова стрельбище, топкое болото на фланге и задушевные разговоры с Уваровым. Да еще словесные дуэли с Нагорным. Чудесная жизнь! — с иронией закончил он.

— Леонид Павлович, — спросил я его напрямик. — Неужели вас ничему не научила беседа с Перепелкиным? Ведь в том, что у вас нет теплоты во взаимоотношениях с Нагорным, вашей вины все же больше.

— Моей? Но вы же слышали, что я говорил об этом.

После этих его слов я решил пойти на полную откровенность и высказал Колоскову то, что, по моему мнению, мучило его.

— Да, я все еще на перепутье, — сознался Колосков, выслушав меня. — И я боюсь, что Юлия чувствует это... Но как, как выйти из этого положения? Как, скажите мне, — еще раз повторил он.

Я сказал ему:

— Человек должен не наполовину, а целиком отдаваться делу. Тогда искусство и служба будут взаимно обогащать друг друга. А что касается взаимоотношений с Нагорным, мне кажется, в вас говорит одна обида. Но обида — плохой советчик. Да, Нагорный, может быть, во многом не прав, ему об этом еще не раз скажут. Но ведь его глубоко уважают все солдаты, и это уважение не пришло само по себе. Даже ваша жена говорит, что Нагорный ей нравится тем, что он влюблен в свой труд. А вы? Если бы вы любили свое дело так, как любите живопись, которой отдаете свободное время.

Не помню, что я еще говорил. Я был взволнован. Мне хотелось добра этому человеку, его жене, Нагорному, тя-

жело переживавшему свое горе и находившему успокоение в опасном труде, Уварову, испытывавшему чувство первой любви, каждому солдату заставы, к которым я успел привязаться и которые — я знаю это — останутся для меня друзьями на всю жизнь.

Колосков ни слова не сказал даже тогда, когда я замолчал, но по выражению лица, по всему его виду я понял, что ему нужна была эта исповедь.

Мы сидели некоторое время молча, думая каждый о своем.

— А правда, что вы рисуете портрет Уварова? — спросил я.

— Раздумал, — едва заметно усмехнулся Колосков. — Я еще не поверил в него.

Он собрал этюдник, и мы вернулись домой. Сидя у горячей плиты, я слышал, как осенний ветер бился в окно, потом о стекло ударили капли дождя и в перемежку с ними на стекла стали падать мокрые снежинки. Первый снег!

Вдруг дверь распахнулась и вбежала Юля.

— Светланка заболела! — задыхаясь, произнесла она, прислонилась к косяку двери, закрыла лицо ладонями и заплакала.

16

Нагорный ничего не знал о болезни дочери. В то время как мы разговаривали с Колосковым, он находился на станции, где проводил беседу с железнодорожниками — членами добровольной народной дружины.

Я связался с ним по телефону и, стараясь подавить охватившее меня волнение, рассказал ему о состоянии здоровья Светланки и о том, чтобы он ждал приезда врача, выехавшего из отряда.

— Так, — ответил Нагорный. — Все ясно.

Все, что произошло после этого короткого телефонного разговора, я узнал впоследствии от врача Бобровской, от начальника станции Ивана Макаровича, а кое-что и от самого Нагорного.

А было так.

Закончив разговор, Нагорный еще раз взглянул на свои часы, сверив их со станционными. До прихода поезда оставалось почти два часа. А потом еще нужно будет

добираться до заставы по осенней грязи, перемешанной со снегом.

Нагорный сидел в жарко натопленной комнате начальника станции и лишь из-за того, чтобы не обидеть его жену Домну Тихоновну, пил чай с вареньем. Иван Макарович, узнав о болезни девочки, сознательно отводил разговор на другую тему.

— Большое дело мы сделали, Аркадий Сергеевич, — говорил он. — Какую звездочку в небеса запустили. Американцам нос утерли. И, доложу тебе, спутничек второй раз над нашей станцией пролетает, вот оно как. Полюбилась она ему, даром что малютка. Я его, милого, лично своими глазами видел.

Иван Макарович очень любил свою маленькую станцию и очень гордился тем, что на ней все же останавливается пассажирский поезд.

Нагорный кивал головой. Он сам был ошеломлен запуском искусственного спутника, радовался, как мальчишка, когда услышал эту весть, но сейчас мысли о Светланке отодвинули куда-то далеко все остальное.

Иван Макарович, видя, что разговор не клеится, старался угостить Нагорного чем-нибудь повкуснее.

— Совсем забыл, — сокрушался он. — Я сегодня утречком окунишек натаскал. Отведай жарехи. Домночка, давай окунишек.

Нагорный от окуней отказался. Иван Макарович в душе обиделся, но виду не подал и принялся успокаивать:

— А насчет медицины, Аркадий Сергеевич, не сомневайся. Она теперь сильна, ох как сильна. Она не допустит. Сердце и то оперируют, вот оно как. А скоро и поездочек примем.

Домна Тихоновна помалкивала. Она боялась неосторожным словом взволновать Нагорного.

До прихода поезда оставалось двадцать минут. Нагорный заторопился и пошел посмотреть, не пришла ли подвода с заставы.

Вечерело. Ветер утих, небо чуть-чуть прояснилось. Пахло мазутом, соснами, мокрым снегом. Беспокойно мигали станционные огоньки. Лес стоял нахмурившись, печальный и недвижимый, словно все еще обиженный на холодный ветреный день, на ранний в этих краях снег.

Нагорный обошел все станционные постройки, заглянул за штабеля, пересек пути и осмотрел все закоулки с противоположной стороны станции. Подводы не было.

«Кого там послали? — недовольно подумал он. — Надо бы Смолякова. Это паренек точный. А если Петренко? Неужели они послали Петренко? Или Мончика? С Мончиком всегда что-нибудь да случится».

Наконец подошел поезд. При свете редких фонарей Нагорный увидел, как из последнего вагона торопливо вышла женщина с небольшим чемоданчиком в руке. Он сразу же узнал врача санчасти отряда Бобровскую. Это была полная, уже пожилая женщина. Военное обмундирование несколько мешковато сидело на ней. Увидев Нагорного, она быстрыми шагами устремилась к нему.

— Здравствуйте, — обрадованно сказал Нагорный. — Я жду вас, как бога.

— Я знаю. Поехали быстрее, — отрывисто, чуть сердито ответила она.

Нагорному стало легче. Оставив врача на платформе, он побежал за подводой. Но ее так и не было ни вблизи станции, ни в стороне возле самого леса. И пожалуй, впервые за свою службу Нагорный растерялся. Если бы врач был мужчиной, он, не задумываясь, предложил бы ему идти пешком, пока не встретится подвода. Ведь должна же она выехать, в самом деле. Но женщина...

— Что делать? — огорченно спросил Нагорный.

— Как что? — удивилась Бобровская.

— Подвода не пришла. Придется ждать.

— Нет. Никаких «ждать», — рассердилась она. — Идемте пешком.

Нагорный с сожалением посмотрел на ее туфельки.

— Вам не пройти. Грязь, мокрый снег. Болото.

— Я так спешила, что не успела переобуться. Не беда.

— Вы смеетесь?

— Кому вы говорите? — возмутилась она. — К вашему сведению, я фронтовичка, а не кисейная барышня. И служила в песках. Это не то что ваши ерундовые болота. Если нужно — разуюсь.

— Этого я не позволю, — твердо сказал Нагорный.

— Вам меня жалко? Не будем тратить время. Ведите, товарищ начальник.

И все же Нагорный затащил ее переобуться к Ивану Макаровичу. Но, как на беду, сапожки Домны Тихоновны оказались малы.

— Идемте, — решительно сказала Бобровская. — Я не имею права больше медлить. И вы тоже.

И они пошли...

Потом уже я представил себе все это. Я хорошо знал дорогу, ведущую на заставу. Но в тот день, когда Павел вез меня по ней, дорога была сухой, по-утреннему свежей, веселой. То она грелась, обласканная щедрым солнцем, то убегала под тень деревьев и кустов, прячась от жарких лучей.

А сейчас она была совсем другой. Грязь, снег, студеные лужи, готовые вот-вот покрыться тонкими хрупкими льдинками. Сырая, промозглая темнота заполнила лес. Стоило чуть сойти в сторону, как они натыкались на мокрые стволы сосен. Не верилось, что эта дорога выведет их к жилью. Казалось, что она уводила от людей, от ярких мигающих огоньков в нехоженую глухомань, из которой уже не суждено будет выбраться. Пока они не спустились в лощину, идти еще было терпимо. Но внизу было совсем плохо. Бобровская вскоре оступилась и попала ногой в глубокую лужу.

— Набрали воды? — спросил Нагорный, остановившись.

— Пустяки, — ответила она.

— Дальше будет еще хуже, — угрюмо сказал Нагорный и вдруг, подойдя к ней, поднял ее на руки.

Она вздрогнула от неожиданности.

— Вам все равно не унести меня, — доказывала она, пытаясь вырваться. — Вы знаете, какой у меня вес? И вы можете ударить меня о дерево.

Нагорный молча шел вперед. Изредка он останавливался передохнуть, опуская Бобровскую на землю. И снова нес. Ему вспомнилась Нонна. Вот так же он носил ее по берегу реки. Только она была легкой как пушинка. Было жарко, он брал ее на руки, и ему становилось прохладно от ее мокрого купальника. Она вырывалась, но он нес ее в воду и там, на глубине, осторожно бросал. Он знал, что Нонна прекрасно плавает и все же прыгал вслед за ней, снова ловил. На середине реки они целовались и пускались наперегонки.

Бобровская все же вырвалась и быстро пошла в темноте. Ей это дорого обошлось. Становилось все холоднее. Ноги у неё начали коченеть. Нагорный усадил ее на сваленное дерево, положил ее ноги к себе на колени, снял туфли и укрыл их полой шинели.

— Вы со мной, как с маленькой, — обиженно сказала Бобровская.

Нагорный не ответил. Он прислушивался, надеясь, что вот-вот в лесу раздастся стук колес приближающейся телеги. Но лес безмолствовал.

Шли они еще долго, пока не услышали хлопанье кнута и охрипшие крики человека, понукавшего лошадей.

— Уваров, — узнал его по голосу Нагорный.

Оказалось, что на хилом мостике через ручей телега провалилась и завязла колесами так сильно, что вытащить ее оказалось непросто. Как только ни мудрил Костя, все было напрасно. Он и упрашивал коней, и зло хлестал их кнутом. Телега не двигалась с места.

Костя остро переживал неудачу. Он знал, что Светланке нужна немедленная помощь, и потому чувствовал себя ответственным за ее жизнь. Не раздумывая, он полез в ручей и пытался поднять задок телеги с помощью шеста. Но и этот рычаг не помог. Ручей оказался глубоким, илистым, и Костя вымок чуть не до пояса.

Втроем они долго провозились с телегой и, наконец вытащив ее, лишь к полуночи добрались до заставы.

17

Светлячок, милый Светлячок... Она лежала в кровати, осунувшаяся, бессильно разбросав в стороны худенькие, легкие, как крылышки, ручки. Возле нее суежилась Мария Петровна. Лицо ее было строгое и печальное.

Я многое повидал в жизни. Был ранен и контужен. Видел припорошенные снегом тела убитых бойцов в Подмоскowie. На фронте под Болховом на моих глазах наводчику Дементьеву оторвало ногу. Она еще держалась на лоскутке кожи, и Дементьев в горячке перерезал этот лоскуток ножом.

И все же не было для меня ничего тяжелее, чем смотреть на больного ребенка, мечущегося от невыносимого жара.

Вечером Светланке стало еще хуже.

— Нужно немедленно в город, — сказала Бобровская. — Иначе я не ручаюсь.

— Хорошо, — ответил Нагорный. — Пойду звонить в отряд.

Неожиданно пушистые реснички девочки дрогнули, глаза чуть приоткрылись. Она удивленно посмотрела на меня, точно припоминая, где меня видела.

— А где мама? — спросила Светланка тихим, едва слышным голосом.

Нагорный возвратился быстро.

— Ну как? — с надеждой спросила его Мария Петровна.

— Подполковник обещает вертолет.

Нагорный подошел к кровати, осторожно присел на стул. Едва слышно шуршала бумагой Бобровская, подготавливая лекарства. Нагорный пристально посмотрел на Светланку, изредка обращаясь взглядом к врачу, будто просил помочь как можно скорее.

И в этот момент за окном вдруг исчезла тьма, и в колеблющемся призрачном кровавом свете словно ожили деревья, крыша, кусты.

— Ракета!.. — прошептал он.

В комнату вбежал Колосков.

— Товарищ капитан! На правом фланге — нарушение границы.

Нагорный выслушал Колоскова стоя, посередине комнаты и опустив голову. Его лицо застыло, как это часто бывает с людьми, в душе которых идет напряженная борьба чувств. Лишь на секунду его глаза остановились на Колоскове. Что-то просящее было в них. Но он тут же справился с собой.

— Иду... — промолвил Нагорный. — Доктор, надежда на вас...

Он на минуту склонился над кроватью, чуть прикоснулся к выпуклому лбу Светланки и тут же, взяв пистолет, вышел.

Мы с Колосковым поспешили вслед за ним.

Застава была уже на ногах. Смоляков держал в поводу оседланных коней. Оказывается, из поселка позвонила Валя. Она сообщила, что Климовна заметила в кустах у своего огорода неизвестного. Прибывшие по ее вызову дружинники никого уже не застали, но в лесу только что обнаружили следы.

Не прошло и нескольких минут, как Нагорный отправил две поисковые группы и дополнительные наряды на оба фланга, доложив о принятых мерах в отряд. Оттуда сообщили, что группа офицеров во главе с подполковником Перепелкиным выезжает на заставу.

— Со мной — Рогов и Уваров, — приказал Нагорный, закончив все приготовления. Группа Колоскова уже отправилась в поиск.

— Уваров болен, — доложил старшина Рыжиков, уставившись на Нагорного большими, навывкате глазами. — Завтра отправлю его в госпиталь. Высокая температура. А людей больше нет.

Он замер, не спуская глаз с капитана, стараясь по малейшим признакам определить, какое воздействие произвело на начальника заставы то, что он сейчас доложил, и готовый немедленно выполнить любое приказание своего командира.

— Ладно, — сказал Нагорный, — товарищ Климов тоже, считай, пограничник.

На заставе Нагорный оставил Комова — прибывшего накануне заместителя по политической части. Это было разумно: тот еще не успел изучить участок. Колоскову было приказано закрыть границу и не допустить ухода нарушителя за кордон.

Мы отправились в поиск. До леса ехали на конях, а там спешились. Дождь будто ошалел: холодный, пронизывающий, он порой переходил в снег или колючую ледяную крупу. В темноте глухо стонали сосны. В зарослях при всем желании нельзя ничего было рассмотреть в пяти шагах от себя.

Я боялся потерять Нагорного из виду и старался бежать изо всех сил. Иногда Нагорный включал фонарь и, прикрывая его полой плаща, освещал землю.

Осветительная ракета врезалась в сумрачное небо. Нагорный застыл на месте, будто хотел проследить ее полет над вымокшим лесом.

— Вперед! — донесся до меня его голос.

Я бросился за ним. Но Рогов быстро обогнал меня. Я бежал уже почти из последних сил, задыхаясь от усталости. Дождь с ожесточением бил мне в лицо, ветви кустов нещадно хлестали по щекам. Ноги, обутые в тяжелые сапоги из яловой кожи, увязали в грязи, цеплялись

за оголенные скользкие корневища деревьев. Плащ стал тяжелым, и я несколько раз пытался сбросить его.

«Дурак, проклятый дурак, — мысленно ругал я себя. — Нужно было ежедневно тренироваться вместе с солдатами».

Да, сейчас нетрудно было убедиться в том, насколько выносливее меня пограничники.

Я споткнулся о пень, грохнулся на землю и еще не успел встать, как услышал знакомый голос:

— Пропуск!

Я ответил. Кто мне подбежал невысокий пограничник. С удивлением я узнал Костю Уварова. Он включил свой фонарь и осветил мне лицо. Кажется, ему незачем было это делать, потому что уже начало светать. Я зажмурился от яркого света.

— Ты же болен, как ты попал сюда?! — сердито крикнул я, будто Костя был виноват в том, что я упал, больно ударился и едва не потерял свои очки.

— Где капитан? — не ответив на мое ворчание, спросил Костя.

Я показал ему направление.

— Будем действовать вместе, раз отстали, — решительно распорядился он.

Мы поспешно миновали густой низкорослый березняк и выбрались на просеку. Наступал сырой хмурый рассвет. Все вокруг казалось тоскливым, неуютным и серым. Мы пробежали еще немного, и за поворотом я различил в серой мгле двух человек в пограничной форме. Подбежав ближе, узнал Нагорного и Рогова.

— Уваров! — в голосе Нагорного я не уловил ни малейшего удивления. — Слушайте обстановку. Нарушителей двое. В брезентовых плащах. Вооружены. Им удалось оторваться от нас. Грозный след потерял. Наша задача: прочесать вот этот массив. — Нагорный указал рукой. — До самого стыка в Черной Роще. Интервал — на зрительную связь. При обнаружении нарушителя сигнал — зеленая ракета.

Обращаясь к пограничнику с рацией за спиной, он приказал:

— Передайте подполковнику Перепелкину наши координаты. Поиск продолжаем.

Мы двинулись через колючие кусты, держа наготове оружие. Вскоре снова попали в сосновый лес. Дождь уже

перестал, но от этого было не легче: с веток при каждом прикосновении к ним обрушивались потоки воды. Справа от меня, метрах в пятидесяти, двигался Нагорный, слева пробирался через ельник Уваров, а еще левее — Рогов. Остальных пограничников, входящих в состав поисковой группы, я не видел. На ходу мы быстро осматривали коряги, заросли, поваленные деревья, кроны сосен. Кто знает, какой тайник покажется нарушителю более надежным?

Пограничный поиск сильно отличается от боевых действий на фронте. Там все гораздо яснее: известно, где противник, что он собирается предпринять. Здесь же перед нами простирался обыкновенный мирный лес. Ни взрывов мин, ни отдаленного гула артиллерийской канонады. Это был лес, в котором еще вчера детишки, может быть, искали поздние осенние грибы, а житель поселка заготавливал дрова, распиливая сухостойные березы с меткой лесника на стволе. Сейчас этот лес сделался приютом двух непрощенных гостей. Кто они? Каковы их замыслы? Все это было пока что задачей со многими неизвестными. Решить ее предстояло пограничникам.

В этом поиске, как и на фронте, я чувствовал, что мы держим ответ перед всей страной. Пробираясь по негостеприимному взъерошенному, мокрому лесу, я не знал еще, что в этой операции мы не одиноки, что на помощь заставе спешили силы отряда, колхозники, дружинники, что даже веселая Зойка вместе с другими комсомольцами по заданию штаба дежурит на дороге, ведущей из поселка в лес.

Первым обнаружил лазутчиков Уваров. Зеленая ракета взметнулась в мутное небо, и тотчас же понеслось эхо выстрелов. Выбежав на пригорок, я залег у толстой сосны на мокрую прошлогоднюю хвою. Я никак не мог понять, откуда стреляют, и разобрался в этом лишь в тот момент, когда один из нарушителей сделал перебежку. Это был невысокий коренастый человек. Встретившись с ним в обычной обстановке, я бы принял его за лесника или колхозника.

С пригорка мне хорошо был виден и Уваров. Он вел огонь, и один за другим через равные промежутки времени доносились хлопки его выстрелов. Сам я не стрелял: до нарушителя было далеко, а я был вооружен пистолетом. Через минуту выстрелы Уварова зачастили.

Я потерял лазутчика из виду. Костя привстал, и в ту же секунду прогремел еще один выстрел с той стороны, где скрылся нарушитель. Уваров, пошатнувшись, рухнул на землю.

«Убит!»—пронеслось в моем сознании. Я вскочил, быстро сбежал с пригорка и по низине поспешил к Уварову. Еще издали я услышал отчаянную ругань: ругался Костя. Значит, жив! Действительно, лежа на боку, он возился с автоматом.

— Что с тобой?

— Не повезло,— с яростью пробормотал Костя.— Не могу вставить магазин...

Я подполз к нему вплотную и тут заметил, что по его плащу, чуть ниже правого плеча, текла струйка крови.

— Ты ранен?

— Ерунда.— Костя скрипнул зубами.— Я ему покажу...

Он хотел встать на колени, но рука, которой он пытался опереться, подвернулась, и он снова упал.

— Сумасшедший!— крикнул я.— Ты на мушке, с этого места нужно уходить.

Я перетащил Костю в безопасное место, разрезал рукава плаща и гимнастерки и увидел кровоточащую рану: пуля прошла сквозь правое плечо. Достав из кармана индивидуальный пакет, я сделал Косте перевязку.

— Идите на помощь к капитану,— слабым голосом проговорил он.

Я выскочил на пригорок и совсем неподалеку увидел Нагорного. Он стремительно перебегал, падал, используя попадавшие ему укрытия, снова перебегал.

Нарушители, вероятно, поняли, что их обходят. Они выскочили из-за коряги, оба почти одинакового роста и в одинаковой одежде, и, пригнувшись, кинулись в сторону. Я выстрелил, вслед за этим раздался выстрел Нагорного. Лазутчики, как по команде, упали на землю, потом побежали снова. Нагорный выждал немного, выстрелил еще раз и быстро отполз в сторону. Один из нарушителей, тот, что бежал справа и чуть сзади своего напарника, вскочил и скрылся в низине, второй остался лежать на месте.

— Пошли!

Нагорный поднялся во весь рост. Я побежал за ним.

Нарушитель лежал на боку. Он был мертв. Нагорный свистнул, и вскоре к нам подбежал Рогов.

— Быстрей выходи к речке, — приказал ему Нагорный. — Второго надо опередить. Я выдвинусь к углу Черной Роши.

Вскоре мы снова увидели нарушителя. Видимо, он устал от погони. Пошатываясь, он подошел к берегу речки, выискивая удобное место, чтобы переправиться на другую сторону. Наконец решился это сделать, но в это время по лесу прокатилась гулкая автоматная очередь.

— Молодец! — воскликнул Нагорный, и я понял, что эта похвала относится к Рогову.

Нарушитель круто повернул от речки, побежал было вперед, но, увидев, что там начинается совершенно открытая поляна с редким кустарником, бросился в сторону роши. Сейчас он был похож на волка, пытающегося прорваться через кольцо облавы.

— Я передвинусь вон туда, — показал Нагорный вправо. — А вы — здесь. Черт его знает, куда он еще метнется.

Время словно остановилось. Я видел, как ползли над лесом хмурые тучи, снова обещая дождь, но слышал только стук собственного сердца и ждал того мгновения, когда внезапно оборвется напряженная тишина.

И она оборвалась...

— Руки вверх! — донесся до меня окрик Нагорного.

Нарушитель отпрянул назад и застыл от неожиданности. Но это длилось лишь мгновение. В руке его тускло блеснул пистолет. Однако применить оружие ему так и не удалось: коротким ударом приклада Нагорный выбил у него пистолет, из кустов выскочил Рогов и свалил задержанного на землю. Я бросился им на помощь, но они уже скрутили противнику руки.

Почти в это же время, огибая Черную Рошу, на поляну выскочили Колосков, Пшеничный с собакой и еще двое пограничников.

Вместе с Хушояном и Сомовым я отправился к Уварову. Недалеко от того места, где он был ранен, мы заметили Костю. Поддерживая перевязанную руку, он медленно шел нам навстречу.

Мокрые и усталые возвращались пограничники на заставу. Рогов и Пшеничный конвоировали нарушителя. Он был предварительно обыскан. Кроме оружия, пока ничего не было найдено.

— И ампулы нет? — спросил Нагорный.

— Я хочу жить, — хриплым голосом ответил задержанный.

Так закончился этот поиск.

18

Через несколько дней после поиска я отправился в поселок. Мне хотелось побеседовать с председателем колхоза Василием Емельяновичем. Он возглавлял добровольную народную дружину, и я хотел расспросить его о том, как она действовала по тревоге.

Однако мне не повезло. Оказалось, что председатель еще утром уехал в райисполком на совещание. В небольшой с крашеными полами комнате правления сидела высокая крепконогая девушка. Она звонко и отрывисто говорила с кем-то по телефону. Я принялся рассматривать плакаты, развешанные на стенах.

— Не выйдет! — продолжала говорить девушка. — На ферму лес завез, а мне черта лысого? А я-то думала, надеялась. Вот возьму и уеду! Не веришь? Вот сейчас трубку брошу и — как на ракете! Поищите себе другую дурочку. Ничего, пожалеешь!

Девушка скосила на меня глаза, словно недоумевая, откуда я взялся. Губы ее были усердно покрашены ярко-алой губной помадой. Догадавшись, что я не собираюсь уходить, она повернулась ко мне спиной, всем своим видом показывая, что, даже если я попытаюсь заигрывать с ней, она не ответит мне ничем, кроме равнодушия.

— А сегодня вечером «Высоту» крутить будем, — уже совсем другим, повеселевшим, ласковым голосом сказала девушка. — Придешь?

Не знаю, что ответил ей собеседник, но девушка тут же положила трубку и снова стала серьезной и неприступной.

— Вы, вероятно, завклубом? — поинтересовался я.

— Откуда это вам известно? — удивилась девушка.

— Уж так повелось в некоторых колхозах, что в по-

следную очередь ремонтируют клубы, — усмехнулся я, в упор глядя на нее.

— Да вы не из области ли? — обрадованно спросила девушка.

— Поднимайте выше. Из Москвы.

— Неужели? — восхитилась она, всплеснув белыми полными руками. Нельзя было не удивиться, как это она сумела уберечь их от загара в погожие солнечные дни. — Так вы поднажмите на нашего Василия Емельяновича.

Я хотел сказать, что вряд ли смогу ей помочь, но она уже торопливо и беззлобно рассказывала:

— На клуб у председателя всегда то лесу, то гвоздей, то рабочей силы не хватает. Пока в поселке кино снимали, он артистов заверял, что все сделает. Я, говорит, достигну соответствующей высоты и по культурным показателям. Да все это одни обещания. Сейчас у него разговор другой. На заставу, говорит, можно кино ходить смотреть. Но я своего все равно добьюсь.

— А кому это вы по телефону грозились?

— Да это так... — почему-то смутилась девушка. Деятелю одному. У него сейчас разве лес в голове или ремонт?

— Кто же это? Секрет?

— Какой там секрет! Павел, тракторист из леспромхоза.

— А что же у него в голове?

— Известно что, — сердито фыркнула девушка. — Любوى!

— Понимаю... А ферму, значит, обеспечил лесом?

— Еще бы! Для зазнобы разве жалко?

— Знаю ее, — сказал я. — Хорошая дивчина.

— Вы что же, давно сюда приехали? — насторожилась она.

— Порядком.

— А насчет Москвы вы меня на пушку хотели взять?

— Нет, правда.

— А что Валентина хорошая, это вы зря, хоть вы и из Москвы. Была бы она хорошая, не стала бы парня изводить и в женатиков влюбляться.

Не знаю, что она собиралась мне еще рассказать. Дверь стремительно распахнулась, и в комнату вошел Павел. Вид у него был злой, волосы на непокрытой го-

лове взлохмачены. Не заметив меня, он тяжело опустил-ся на подоконник.

— Вот что, Лариса, — глухо, но решительно сказал он приказным тоном. — В кино иду только с тобой. Поняла?

— А Валя-Валентина? — не то радостно, не то испуганно спросила Лариса.

— Точка, — резко произнес Павел. — Понимаешь, точка. Отныне и вовеки. Ясно?

— Ясно, Павлуша, — просияла Лариса.

— Вот так, — как бы ставя точку, тихо сказал Павел.

Он повернул голову в мою сторону и только теперь увидел меня.

— А, это вы... «Нарушитель», — смущенно сказал он. — Все еще с заставой расстаться не можете?

— Как видишь.

— Ну что же... Нравится?

— Нравится.

— Дело хозяйское. У каждого свои глаза. Небось о Нагорном писать будете?

— Есть такая мысль.

— И про то, как он свою жену удержать не смог, а на чужих невест поглядывает?

Я понял, о чем Павел ведет речь, но как можно убедительнее постарался растолковать ему, что он глубоко заблуждается, думая о Нагорном так плохо.

— Заблуждаюсь? — с укоризной переспросил Павел. — Уж мне виднее, товарищ Климов. Да взять хотя бы последний факт. Неизвестные появились в поселке, так Валентина скорей ко мне. Собирай, говорит, дружину по тревоге, Василия Емельяновича не могу найти. Ну, я секунду какую помешкал, так она меня чуть не избил, с кулаками набросилась.

— Ее чувства понятны, — возразил я. — Да и тебе ли объяснять, что не лично Нагорному дружина помогает.

— Это ясно. Как дважды два. Я сам, если бы с Нагорным даже на ножах был, и то в любую секунду пришел бы заставе на помощь. А только она до этого случая небось ко мне ни разу не прибежала.

— Прибежит, жди, — поспешно вставила Лариса. — Подружка до плохой погоды.

Павел метнул на нее сердитый взгляд, она тут же умолкла и, поколебавшись, вышла из комнаты.

— А в лесу, когда стрельба открылась, посмотрели бы вы на нее, — продолжал он. — Побледнела, всем телом задрожала. «Павлуша, говорит, убьют его, убьют». Кого, спрашиваю. Знаю, о ком она печется, а все-таки спрашиваю. «Аркадия Сергеевича», — отвечает. Вот оно как, товарищ Климов. Расхвастался я тогда, помните, когда на заставу вас подвозил. Правду люди говорят: «Не хвастай, когда в поле, а хвастай, когда с поля». Так мне и надо.

Мы помолчали.

— Вы вот статьи пишете, рассказы всякие, — повернулся ко мне Павел. — Скажите, как жить в данной ситуации?

Я задумался. Вопрос был не из легких. Утешать — все равно, что отделаться от человека, не сказать ничего.

— На твоём месте я бы боролся за свою любовь. Согласен?

Павел отозвался не сразу. Он сидел потупив голову и время от времени поднимал ее, всматриваясь в меня таким взглядом, будто не понимал, кто сидит перед ним.

— Бороться... — наконец выговорил он, и я по голосу почувствовал, что горло его перехватывают сухие горькие спазмы. — Любовь — это не война. Тут не требуются победители и побежденные. Каждый идет навстречу друг другу. Да что там — идет! Бежит, летит, если любит. При чем тут борьба!

И я мысленно согласился с его справедливыми словами.

— А, ладно... Вы что думаете, я горьким пьяницей стану? Или пойду и лягу под паровоз? Нет, товарищ Климов! Не дождется она этого... Уеду я отсюда... Уеду. Не верите? Уже и маршрут наметил. С геологами, в тайгу. Жизнь хочу своими руками пощупать.

Меня не удивили его слова. Я понимал, что та обстановка, в какую попал этот простой, скромный парень, потребует от него поисков нового трудного счастья.

— А о Нагорном я просто так, — смущенно закончил Павел. — Это — человек. И он ни при чем. Валюху жал-

ко — не смотрит он на нее. Нонну дождется. Вот увидите, дождется. Сама прибежит.

— В кино пора. Опаздываем! — донесся с улицы нетерпеливый голос Ларисы.

— Пойдемте с нами! — горячо предложил Павел. — Пойдемте? В последний раз хочу на нее поглядеть.

Я понял, что он говорит о Вале.

— Эх, товарищ Климов... А у вас счастливая любовь была?

Я вспомнил Женю, худенькую девушку с бархатными глазами, стремительную как ветер, свою первую любовь. Вспомнил, как случайно разошлись наши пути, и жизнь моя сложилась совсем по-иному. Что я мог ответить на его вопрос? Единственное, что нет на свете любви беззаботной и безмятежной, что истинная любовь — это и яркое, как пламя, счастье, и неутихающее волнение, и захватывающая всю душу грусть, и безмерная радость, и светлая мечта о будущем.

Мы вышли на крыльцо.

Вечерело. Стадо коров с возбужденным мычанием торопливо втягивалось в улицу поселка. Где-то в стороне, кажется у клуба, тарахтел движок. Из открытого окошка соседнего дома доносились звуки радиолы. Грустный девичий голос пел:

Мы с тобой два берега
У одной реки...

— Эх, — с досадой махнул рукой Павел. — Два берега! Придумают тоже...

19

В дневнике у меня сохранилась запись:

«От каждой пограничной ночи веет тревогой, и каждый наряд, вернувшийся на заставу, словно хранит в себе частицу этой тревоги. Здесь не покидает меня чувство того, что я живу в маленьком дружном гарнизоне, который не знает покоя, как не знали его фронтовики. И потому во мне словно просыпается моя юность — беспокойная, трудная, но светлая».

После памятной ночи, когда я получил пограничное крещение, на заставе почти ничего не изменилось: уходили и возвращались наряды, пограничники собирались

на политические занятия, со стрельбища неслись гулкие автоматные очереди.

Сильно изменился Нагорный. Обычное спокойствие и выдержка порой покидали его. Скупые вести, приходившие из города, куда отправили его дочку, были безотрадными: Светланке становилось все хуже и хуже. И волнение Нагорного передавалось всем. Увидев своего командира, пограничники стихали. Мария Петровна уехала в больницу к внучке. Перед этим она часто ходила по комнате то с платицем, то с ленточкой Светланки, тихо шептала что-то и вздыхала.

Как-то я прогуливался в березовой роще неподалеку от заставы. Лишь кое-где на березках удержались неживые поблекшие листья. Еще совсем недавно березы кружились веселым зеленым хороводом. А сейчас здесь было пустынно, как-то слишком просторно, и одиночество давало знать о себе с еще большей силой. Но березки все же не унывали. Они с мудрым спокойствием ждали прихода ненастья.

Был один из тех дней поздней осени, когда уже нет настоящего тепла, когда на всем вокруг лежит отпечаток тихой спокойной грусти и когда как-то особенно ясно работает человеческая мысль.

Не помню, долго ли я пробыл здесь. Помню только, что совсем поблизости от меня слышались голоса. Мне не трудно определить, кому они принадлежали.

— Смотрите, ромашка, — удивленно проговорила Валя, приседая к земле.

— Скоро замерзнет, — глухо отозвался Нагорный.

— Выживет, она сильная, — возразила Валя и, помолчав, спросила: — Как со Светланкой, Аркадий Сергеевич?

— Спасибо. Лучше. Теперь лучше, — с какой-то особенной теплотой в голосе сказал он.

Я думал о том, как бы мне незаметнее уйти отсюда. Но понял, что сделать это почти невозможно. Стоит мне сдвинуться с места, как зашелестят сухие листья, и острый слух Нагорного уловит даже едва различимые звуки.

Так я сделался невольным свидетелем их разговора. Собственно, разговора-то почти и не было. Они стояли близко друг возле друга, но никто из них, видимо, не решался заговорить первым.

— От вас молоком пахнет, — вдруг сказал Нагорный. — Парным.

— Ой, вам неприятно?

— Нет, хорошо. Детство вспоминается. И раннее утро...

Валя испуганно заглянула в его глаза. Мне показалось, что она непременно поцелует их, сначала один, потом другой.

Но этого не произошло. Валя отшатнулась от Нагорного и неуверенно отступила назад. Что-то беспомощное появилось сейчас в ее облике.

— Вы... о ней думаете, — еле слышно сказала Валя. И мне стало страшно от этих слов.

И она, не взглянув на Нагорного, побежала прочь. Между стволами берез замелькало ее зеленое осеннее пальто. На бегу она зацепилась ногой за пенек, со всего размаху упала, быстро и стыдливо поднялась, помчалась еще быстрее и скрылась из виду.

Нагорный медленно зашагал в том же направлении. Он шел с опущенной головой и, наверное, видел едва приметные следы, которые оставили на осенней листве быстрые Валины ноги.

На следующий день Нагорный попросил у начальника отряда отпуск и поехал в город, чтобы быть рядом с больной Светланкой.

Я заскучал и через неделю приехал к нему в больницу. Он встретил меня радостной улыбкой.

— Ей лучше? — нетерпеливо спросил я.

Ничего не ответив, Нагорный провел меня в больничный садик. Там у тихих задумчивых деревьев собралось несколько девочек и мальчиков дошкольного возраста. Впереди стояла Светланка в меховом пальтишке и остроконечной теплой шапочке. По всему было видно, что ребятишки играют в какую-то увлекательную для них игру, а Светланка выполняет роль командира.

— Пограничный наряд. Предъявите документы! — услышал я ее звонкий голосок.

Кое-кто из ребятишек, наверное, не совсем хорошо понимал, что такое документы. Но все они подтянулись, с лукавых чумазых мордашек исчезли смешинки. Еще бы, как бы говорили они, Светланка знает, она ведь с границы приехала!

Неожиданно Светланка нахмурилась и посмотрела на белобрысого бледного мальчугана, подбежавшего к ним.

— А ты? — грозно спросила она. — Под видом туриста хочешь через границу пробраться?

— Не-е-е, — протянул мальчуган, не зная, видимо, как доказать, что он и в голове не держал такого намерения.

— Не разговаривать! — сурово потребовала Светланка и громко скомандовала: — Доставить задержанного на заставу!

— Да у него мать доярка. В поселке живет. Медаль получила. И в Кремль ездила, — вдруг раздался чей-то голос.

Я оглянулся. Это говорила медицинская сестра. Она, конечно, понимала, что ребятишки играют, но хотела, чтобы все было по-настоящему или, как говорят малыши, «взаправду».

На лице Светланки появилась сияющая улыбка.

— В Кремль? — восхищенно переспросила она и тут же приняла решение: — Значит, свой. Пройди без пропуска!

— Да ты настоящий пограничник! — весело сказал я, подходя к ней. — И уже совсем-совсем выздоровела.

— Совсем-совсем! — счастливо повторила мои слова Светланка и радостно зажмурила глаза. — А приедет мама, мы соберемся и покатим в Москву. И я тоже в Кремль пойду. А потом опять вернемся на заставу.

Вечером я отправился в госпиталь, чтобы навестить Костю Уварова. Нагорный уже успел побывать у него.

Костя встретил меня как старого знакомого.

— Ну, как твоё здоровье? — спросил я его.

— Ничего, я живучий, — весело улыбнулся Костя.

Я сказал, что скоро собираюсь уезжать.

— Жалко, — искренне проговорил он. — Так мы и не порыбачили как следует. Теперь, как лед установится, буду лунки прорубать и на мормышку ловить. Зимний лов интересней летнего.

— Зачем же ты больной на поиск отправился тогда? — поинтересовался я. — Видишь, к чему это привело.

— Верно. Толку не вышло, — с досадой произнес Костя. — Невезучий я. Да и вообще...

— Что «вообще»? — вырвалось у меня.

Костя помолчал немного, а потом стал говорить. Чувствовалось, что нелегко ему высказать свои мысли.

— Вы знаете, я даже рад, что меня ранило.

Я с удивлением посмотрел на Уварова. Он перехватил мой взгляд, понял меня.

— Вы не удивляйтесь. Радости, конечно, в этом мало. Но... Полежал я тут и со стороны посмотрел на нашу службу. Сравнил себя с ребятами... Начинать службу я не здесь. Сколько меня на другой заставе наказывали, в нарушители зачисляли, а я еще злей становился и сам себя никудышным считал. А сюда перевели — другое дело. Капитан во мне человека увидел. На границе меня сколько раз учил. Пустит вперед и все замечает, что я делаю хорошо, что неправильно. И маскировке учил, и наблюдать, и след определять. И про любовь рассказывал. Не на границе, конечно. Да что толковать... Люди мне добро делают, а я...

— Значит, после службы на целину?

— Раздумал я... — Костя махнул рукой, давая понять, что с этим замыслом покончено раз и навсегда. — Там самое трудное время прошло, первым интересно было... На сверхсрочную проситься буду, как отслужу. Без границы — целина не целина. Да и Зойка к тому же...

Костя запнулся, опять махнул рукой и довольно засмеялся.

20

Каждая поездка в неизведанное обогащает творческий багаж журналиста. Я был очень доволен тем, что побывал на границе, что попал именно на заставу Нагорного. Мне нравилось бродить по мокрым от только что промчавшегося ливня лесам, дышать едва уловимыми запахами лесных туманов, ночами смотреть на тихий огонек в одиноком окошке дежурного. Я сдружился с людьми, чья судьба была суровой и в то же время завидной, и решил, что отныне посвящу пограничникам значительную часть своего творчества.

На заставе я окончательно убедился в том, что сколько бы журналист ни жил среди тех людей, о которых он хочет написать, ему все мало и как студенту обычно не хватает одного дня, чтобы полностью подготовиться к экзаменам, так и журналист, приступая к реализации своего замысла, никак не может отделаться от мысли, что, побудь он в командировке еще один лишний день, материал был бы значительно богаче и уда-

лось бы раскопать как раз те факты, которых сейчас недостает.

Не знаю, сколько бы я еще прожил на заставе, если бы не получил почти одновременно письмо от Ирины и телеграмму из редакции. Ирина писала, что уезжает с экспедицией в пустыню Кара-Кум, и просила приехать, чтобы мы могли хотя бы несколько дней провести вместе. Прочитав письмо, я задумался. Ветер дальних странствий все время разлучал нас, и, кажется, в году мы были вместе не больше месяца. А ведь ушедшие годы не вернуть. И все же, снова сказал себе я, такая разлука лучше тихой и бесцельной жизни под одной крышей. Каждый раз, возвращаясь домой, мы привозили с собой частицу настоящей жизни.

Телеграмма, подписанная редактором, коротко напоминала мне, что пора возвращаться.

Откровенно говоря, мне не хотелось уезжать в самый сложный для Нагорного период жизни. Но всегда ли мы водьяны распорядиться собою? Ведь жизнь диктует нам свою волю, и мы не можем не считаться с ней. Мне вспомнились слова Левинсона: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности».

Я показал телеграмму Нагорному. Он устало и недоуменно посмотрел на меня. Глаза его говорили: «Останьтесь. Мне очень трудно». А вслух он сказал совсем другое:

— Значит, пора? Скоро и мне на сессию в институт. Время идет чертовски быстро.

Я сказал ему, чтобы он обязательно побывал у меня, когда придет сдавать экзамены, и, попросив у него блокнот, вписал на одной из страничек свой домашний адрес.

Мария Петровна встретила мое сообщение об отъезде совсем по-иному. Она почему-то всплакнула и попросила обязательно повидать Нонну.

— Вы уж как-нибудь... — ласково глядя на меня, говорила Мария Петровна. — Не сможет он без нее жить. Измучится, пропадет.

Я обещал ей сделать все, что в моих силах. Весь день эта добрая, сердечная женщина пекла для меня пирожки, припасала продукты в дорогу.

К обеду вернувшись с заставы, Нагорный снова спросил:

— Значит, пора? Вы уж извините, зря вас сюда подполковник Перепелкин направил. У нас ведь особых происшествий нет. И люди обыкновенные и жизнь тоже.

Я улыбнулся в ответ.

— Впрочем, вам видней, — помолчав, добавил Нагорный.

Я не стал его разубеждать и принялся укладывать свой вещевой мешок.

Снег, снег... Все белым-бело: и крыша заставы, и косматые лапы сосен, и каждая тропка в лесу.

Мы собрались в квартире Нагорного на прощальный ужин. Меня очень порадовал Колосков. Он возбужденно рассказывал, как они вместе с Пшеничным отрезали путь нарушителям, не дав им возможности уйти за кордон. Он радовался даже тому, что чертовски вымок тогда, попав в болото, сильно ушиб себе ногу. Нога все еще болела, и Колосков заметно прихрамывал.

— И знаете, на днях я закончу портрет Кости Уварова, — сообщил он.

И я подумал, что правы люди, говоря, что иногда человеку помогает в жизни какой-нибудь сильный толчок.

Мы выпили за встречу в будущем, за славную семью пограничников, за тех, кто идет сейчас по дозорной тропе.

За окнами послышалась песня. Строй пограничников возвращался с занятий на заставу. Я расслышал слова:

Пограничная ночь,
Огневая гроза.
Бьется верное сердце,
Мы в наряде, друзья!

И уже издалека донеслось:

Мы не ведаем сна,
Нас Отчизна зовет.
Бьется верное сердце:
Пограничник, вперед!

— Слышите, Мончик сдержал свое слово, — просиял Нагорный.

Мы распрощались.

Мне было немного грустно покидать заставу, где жизнь столкнула меня с людьми, каждый из которых был по-своему хорош, каждый имел свои слабости. Но это были настоящие люди!

Мне вспомнились многочисленные герои пограничных войск. Герои Кашка-Су. Андрей Коробицын. Защитники Бреста. Застава Алексея Лопатина. Семен Пустельников. Старший лейтенант Козлов.

Разные времена, но какие схожие подвиги!

Я ехал на станцию на рассвете. Неохотно прояснялось холодное небо. Сосны стояли молча, словно обиделись на внезапный приход зимы. Синий туман прятался в голых кустарниках.

Вез меня Евдокимов. Время от времени он оборачивался ко мне, но, видя мое задумчивое лицо, не решался заговорить. Но в конце концов не выдержал.

— Зря уезжаете, товарищ Климов, — сказал он. — Ребята к вам привыкли. Да и зимой у нас тоже хорошо.

— Так ведь вся жизнь состоит из расставаний и встреч, — улыбнулся я. — Одни приезжают, другие уезжают.

— Это верно, — подхватил Евдокимов. — Скоро с заставы старослужащие уедут. Нам на смену молодежь служить придет. Люди приходят и уходят, а граница живет своей жизнью. Я вот так думаю: приеду после службы на свой завод, будут у меня новые друзья. В институт поступлю. Женюсь, наверное. Дети будут. Все будет по-новому. А все равно заставу никогда не забуду. Зеленую фуражку на всю жизнь сохраню. Почему это застава на человека такую силу имеет, вы не знаете?

Я мечтательно смотрел на Евдокимова, а в ушах слышался голос капитана Нагорного: «Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик».

Эти слова я слышал на заставе много раз. Сейчас они зазвучали для меня с новой силой, и новый, еще более глубокий смысл угадывал я в них.

Я думал о дозорных тропах моей Родины. В сущности, это фронтовые тропы. В самом деле, что стало с дорогами суровой военной години? В ту пору, отодвинутую уже от нас чередой лет, по ним громыхали танки, надрываясь, тащили тяжелые орудия тягачи, наскоро перемотав портянки, шагал все дальше и дальше на запад неунывающий пехотинец, авиабомбы поднимали на воздух мосты. А сейчас по этим дорогам колхозные трехтонки везут хлеб, в небе летит песня,

рожденная краснощекими деревенскими певуньями, по едва приметным стежкам в обнимку идут влюбленные пары. Кончилась фронтовая биография этих дорог и проселков, и желанная мирная жизнь прочно утвердилась на них.

Но нет и не будет покоя дозорным пограничным тропам. Всегда настороженные, по-фронтовому напряженные, зовут и зовут они на ратный подвиг. Здесь не протрубит трубач сигнала «Отбой». Не протрубит до тех пор, пока не снимут часовых со всех границ нашей планеты.

Но хозяева пограничных троп не ждут такого сигнала. Повинуясь долгу и зову собственного сердца, они берегут рубежи, щедро политые горячей кровью героев. Они молоды и сильны, эти хозяева. Они сумели сродниться и с палящим солнцем, и с пронизывающей стужей, и с дыханием вечно живых вулканов. Они первыми встречают рассвет. Слышат, как за их спиной поют заводские гудки, как самосвалы «бомбят» кубами камней непокорные реки, как ветер поет в тугих колосьях целинного хлеба.

И Родина тоже слышит их, ценит самоотверженный пограничный труд и верит им, как только может верить мать своим самым любимым сыновьям.

И еще я подумал о том, что у каждого человека есть своя дозорная тропа. Полная опасности и тревог, но приносящая великую, ни с чем не сравнимую радость. Счастлив тот, кто всю жизнь идет по ней, идет гордо и весело, идет, не сворачивая на тихие тыловые тропинки. Счастлив тот, кто любит жизнь, как вечную песню борьбы и труда!..

Вот и знакомая станция. Подошел поезд. Мне вдруг вспомнилось чистое летнее утро и Нонна на дощатой платформе.

Если бы она прыгнула сейчас с подножки вагона и побежала по припорошенной снегом дороге, ведущей на заставу!

Я не знал, будет ли так. Я не знал многого, хотя и немало прожил на заставе. И удивительно ли? Ведь жизненные пути людей нелегки, сложны и, порой, противоречивы.

Но я знал главное: какие бы события ни происходили в жизни людей, граница не спит и заставы продолжают нести свою службу.

Смеющиеся глаза

ПОЧЕМУ Я НАЧАЛ С «АППАССИОНАТЫ»

Теперь, когда все, о чем я хочу рассказать, уже в прошлом, пусть совсем недалеко, но в прошлом, многое из пережитого вспоминается с особенным, порою даже трудно объяснимым волнением. Иногда я задумываюсь: почему мы любим вспоминать прошлое? Почему эти воспоминания чаще всего светлы и вызывают радостные чувства, даже если они связаны с лишениями, мучительными поисками счастья, несбывшимися надеждами? Может, потому, что будущее еще не пришло и путь в него немыслим без прошлого, а то, чем человек живет сегодня, ценится меньше, как все, с чем он еще не успел расстаться. А может быть, и по той причине, что прошлое уже невозможно вернуть и даже новое счастье и новая горе не будут простым повторением того счастья и того горя, которые испытал прежде.

Если бы меня спросили, какой день из самых обыкновенных будничных дней, прожитых на заставе вместе с Ромкой, особенно запечатлелся в моей памяти, я бы не задумываясь ответил: день, в который мы слушали «Аппассиона́ту».

Откровенно признаюсь: в прошлом меня не очень увлекала классическая музыка. Но после того как я услышал одну из сонат Бетховена, «Лунную», все изменилось. Помню, впервые я услышал ее еще мальчишкой, когда смотрел «Чапаева». В кинофильме ее играл на рояле белогвардейский полковник Бороздин. Денщик полковника Потапов медленными странными танцующими движениями двигался по штабному вагону, натирая пол. Когда я смотрел этот фильм впервые, то не обратил особого внимания на музыку. Я с нетерпе-

нием ждал, что Потапов из жалкого раба наконец превратится в борца и вlepит в своего тучного хозяина всю револьверную обойму. Я чуть не заорал от радости, когда раздался звук, похожий на выстрел. Но полковник продолжал играть как ни в чем не бывало: это из рук Потапова упала на пол щетка.

Через несколько дней я, как и многие другие мальчишки, смотрел «Чапаева» снова. А потом и третий раз. И четвертый. Не помню уже, когда именно меня взволновала эта музыка. Я еще не знал тогда, что Бороздин играет именно «Лунную» сонату, просто меня поразили контраст: спокойствие, безмятежность этого вежливого, образованного и лирически настроенного полковника, «гуманно» замучившего до смерти брата Потапова Митьку, «милостиво» зачеркнувшего на рапорте слово «расстрелять» и написавшего вместо него «подвергнуть экзекуции», и сдержанное кипение светлой, почти прозрачной мелодии, наполненной стремлением к жизни и счастью. Страшно было даже предположить, что этот бритоголовый, с апоплексическим затылком полковник, этот «гуманный» изверг может исполнять мелодию, которая даже меня, несмышлениша, хватала за сердце и которую я, конечно еще не совсем осознанно, старался перевести на язык человеческих чувств...

Что же касается «Аппассионаты», то это случилось так: наш комсомольский вожак Толя Рогалев был в краткосрочном отпуске и привез на заставу чуть ли не полный чемодан грампластинок, вызвав восторг своих сослуживцев. Тут были и новые популярные лирические песни, и искрометные танцы, и стихи в исполнении самих авторов, и даже серия «Мелодии экрана». Перебирая пластинки, Ромка совершенно случайно натолкнулся на «Аппассионату». Увидел эту пластинку и я. Мне почудилось, что она одиноко и сиротливо лежит среди своих молодых соперниц. Кузнецкин, Веревкин да и другие солдаты наперебой заказывали знакомые песни, подпевали, смеялись, шутили, подтрунивали друг над другом.

И вдруг Ромка поставил на медленно вращающийся диск проигрывателя «Аппассионату». Когда раздались первые, будто приглушенные, таинственные и сдержанные звуки рояля, никто из сидевших в ленинской комнате солдат не слушал этой непривычной и такой не-

похожей на все только что прослушанные мелодии. Кто углубился в книгу, кто листал подшивку газет. В самом углу солдаты ожесточенно стучали костяшками домино, сухой треск которых порой напоминал выстрелы из ручного гранатомета. Рядовой Теремец старательно вычерчивал последние, наиболее ответственные и сложные детали изобретенного им сигнального прибора. Веревкин насвистывал какую-то джазовую мелодию. Рогалев горячо доказывал Кузнечкину, что глупо и нечестно писать любовные письма одновременно трем «заочникам». В ответ Кузнечкин самодовольно и независимо ухмыльнулся и подошел к проигрывателю.

— Завели шарманку на целый час, — пробурчал он, покосившись на Рогалева масляными глазами. — Тоже мне, музыка! Мы вот сейчас ее побоку и поставим что-нибудь для души...

Но не успел он прикоснуться к звукозаписи, как раздался злой голос Теремца:

— А ну не трожь!

— Вы что-то сказали, повелитель? — удивился Кузнечкин.

— Не трожь! — повторил Теремец.

— Да ты что, у себя в хате? Со своей Марфуткой? — расшумелся Кузнечкин, нагло и самоуверенно уставившись на Теремца. — На своей свадьбе можешь заводить что хочешь. И пляши под любую симфонию.

Теремец ничего не ответил, но это молчание было выразительнее и убедительнее любых, самых гневных слов. Я был убежден, что, если Кузнечкин, наперекор предупреждению Теремца, все же попытается заменить пластинку, ему не сдобровать. Видимо, это понимал и сам Кузнечкин. Поэтому он с равнодушным видом принялся перебирать пластинки.

А в ленинской комнате звучала «Аппассионата» — бурная, солнечная, неистовая, зовущая на подвиг. Это был какой-то океан музыки, океан бушующий и грозный. Волны его окатывали сердце. Собственно, состояние было такое, что нет уже никакого сердца, нет тебя самого, нет земли и голубых звезд, есть только музыка, которая становится самой жизнью.

Я видел, как оторвал голову от книги Толя Рогалев. Перестал свистеть Веревкин. Тихо и осторожно стали выкладывать на стол костяшки игравшие в домино сол-

даты. Ромка отвернулся к окну. И только Кузнечкин ухмылялся все так же заносчиво и беззаботно.

Не знаю, чем бы все это кончилось. Может быть, прослушав пластинку, мы заспорили бы о том, какие идеи вложил композитор в свое сочинение, как правильно понимать музыку. Или долго сидели бы молча, пораженные силой искусства и человеческим гением. Но в тот самый момент, когда еще не смолкла мелодия, в ленинскую комнату ворвался дежурный:

— Тревога!

Сейчас я уже не помню всех деталей поиска, в который мы устремились, не дослушав пластинку. Помню только, что поиск оказался учебным и что капитан Туманский, кажется, остался доволен нашими действиями. И хорошо помню еще, что все время, пока я, возглавляя поисковую группу, лазил по скалам и колючим зарослям барбариса, отыскивая следы «нарушителя», — все это время меня неотступно преследовали властные и тревожные, гневные и радостные звуки «Аппассионаты»...

Вечером Теремец подошел ко мне и, смущенно переминаясь с ноги на ногу, спросил:

— Товарищ лейтенант, а кто сочинил эту музыку?

— Какую? — не понял я.

— Да эту... — Теремец замялся и покраснел. — Ну, Кузнечкин хотел ее выключить.

— «Аппассионату»? Бетховен.

— Вот это человек, — тихо, чуть ли не шепотом произнес Теремец.

И я рассказал ему о Бетховене, о том, что Владимир Ильич Ленин очень любил его музыку и говорил, что ничего не знает лучше «Аппассионаты» и готов слушать ее каждый день. Называл ее изумительной, нечеловеческой музыкой.

Рассказал я Теремцу и о том, что одну из своих сонат, «Лунную», композитор посвятил Джульетте Гвичарди, которую долго и безнадежно любил. Осень стала для Бетховена настоящей весной. Он творил вдохновенно и страстно. Едва закончив одно сочинение, принимался за второе, писал несколько произведений одновременно. Он даже забыл о страшной трагедии своей жизни — о неотвратимо надвигающейся глухоте.

Когда я закончил, исчерпав все свои не очень обширные знания о Бетховене, Теремец снова сказал:

— Это человек...

Не знаю, возможно, именно поэтому я и начинаю свои записки с «Аппассионаты». Я понимаю, что те, кто решили прочитать их, вероятно, ждут каких-то удивительных, загадочных приключений, которыми так богата пограничная жизнь. И конечно, мне не хотелось бы обманывать их надежд.

И все же я начал не с приключений, а с «Аппассионаты». Откровенно скажу, что, когда я вспоминаю свои первые самостоятельные шаги на заставе, вспоминаю дни, в которые мы с Ромкой неожиданно и незаметно для самих себя переступили ту незримую черту, за которой навсегда остается юность, в моей душе, порою даже помимо моей воли, звучит и звучит эта вдохновенная, поистине нечеловеческая музыка.

Не знаю, может, я ошибаюсь и преувеличиваю, но мне кажется, что под звуки этой мелодии можно идти в огонь, целовать любимую, гнаться за нарушителем, искать самые редкие минералы, лететь в ракете на Марс...

Может быть, все, что я говорю, кое-кому покажется слишком торжественным и приподнятым, но право же, время, в которое мы живем, заслуживает самых высоких слов.

Впрочем, пора уже начинать рассказ.

Я начинаю его и слышу звуки, все те же звуки «Аппассионаты», высекающие огонь из моей души. Была бы моя воля, я бы назвал эту сонату, обозначенную обычным номером 23, Революционной. Мне хочется, чтобы ее мелодия зазвучала в сердцах всех, кто вместе со мной отправится в путь. На пограничную заставу. На заставу наших надежд и тревог. На заставу нашей молодости.

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА

Больше всего меня поразило солнце. Оно было совсем рядом. Казалось, протяни руку — и можно будет дружески похлопать его ладонью. Жаркое светило выглядело усталым, не слепило глаз и тихо дремало, прикрывшись на склоне облезлой горы. Не знаю, чем

ему приглянулась эта красно-бурого цвета гора с изъеденной временем и ветрами вершиной.

— Смотри, — сказал я Ромке, — какое нахальное. Перебралось на ту сторону и преспокойно укладывается спать.

— Оно не нахальное, — ласково возразил Ромка. — Просто ему начхать на все границы. Молодчина!

— А ты не видишь, как оно усмехается?

— Солнце усмехается! — фыркнул Ромка. — И что у тебя за страсть очеловечивать природу? Можно подумывать, что ты поэт. Для меня солнце — средняя захудалая звездочка. Шесть тысяч градусов на поверхности и до шестнадцати миллионов в центре. Всего-навсего. Не звезда, а флегматик. Если бы Солнце вело себя так, как другие звезды, от Земли осталась бы одна космическая пыль. И нам с тобой незачем было бы кончать пограничное училище.

Капитан Туманский стоял в стороне у старого карагача и время от времени угрюмо поглядывал на нас. Казалось, его раздражают и наши слова, и наши новенькие гимнастерки, и то, что не на соседнюю заставу, а именно к нему прислали двух едва оперившихся лейтенантов. Сразу двух!

Я провел вас почти по всему левому флангу, как бы говорил его взгляд. Вы взбирались на скалы, слышали раздраженный голос горной реки, убедились, что мои солдаты зорки и немногословны. Видели и солдат сопредельной стороны, лениво бредущих в колючих кустарниках противоположного берега. В ваши глаза впились два немигающих глаза стереотрубы, спрятавшейся в развалинах чужого поста. И сейчас вам нужно говорить о службе, которую вы начинаете на моей заставе, о людях, с которыми вам предстоит жить. Нужно, черт возьми, хотя бы удивляться тому, что вы увидели здесь впервые, обстреливать меня вопросами и получать точные, исчерпывающие ответы. А вы или молчите, или фыркаете, или пренебрежительно болтаете о солнце, которое в здешних краях способно сделать из вас самый настоящий шашлык.

— Моя мечта — планета без границ, — снова весело и беззаботно заговорил Ромка. — И когда придет наконец это время, люди будут удивляться, как они могли жить, отгородившись друг от друга.

Я дернул Ромку за рукав гимнастерки, но было поздно.

— С таким настроением — на заставу? — глухо спросил Туманский.

— Ну сами подумайте, — вздернул узкими плечами Ромка. — Шарик один, а заборов на нем уйма. Вот уж на Луне мы не допустим такого. Водрузим красное знамя — одно на всех.

— Пошли, — сказал Туманский. — О Луне думать рано. И если прорвется нарушитель, вам будет не до Луны. Начальнику — по шапке. Вам, как заместителю, — суток десять. Ориентировочно.

— А когда ваша застава в последний раз задержала нарушителя границы? — невозмутимо спросил Ромка.

— Может быть, наша застава? — отозвался Туманский, сделав особый упор на слове «наша».

— Теперь действительно наша, — согласился Ромка.

Ну и хитрец! Еще в отряде он успел устроить нечто вроде пресс-конференции. Начальник отряда полковник Доценко, украинец с веселыми карими глазами, едва успевал отвечать на его вопросы. Ромка выведал многое и о заставе, и о ее начальнике. А теперь спрашивает!

Туманский все же ответил. Коротко и негромко назвал полную дату: число, месяц, год.

— Точнее, — голос Ромки зазвучал торжественно, — это задержание произошло ровно два года восемнадцать дней назад. Веселенькая застава! Она не зря ест свой хлеб.

— Еще одно слово о заставе, — процедил сквозь зубы Туманский, — и я не пожалею машины. Она ответит вас в отряд. Вернется порожняком.

Кажется, это подействовало. Ромка нахмурился и замолчал.

Мы поднялись на выступ скалы и подошли к вышке. Она одиноко стояла на каменистой площадке и, казалось, завидовала вершинам, синевшим вдаль. Те были недоступны и потому горды, а вышка доверчиво и услужливо опустила на землю ступеньки крутой лестницы.

Пограничная вышка! Пусть никто не осмелится называть тебя изящной и красивой, но ты отлично служишь солдатам. Далекой историей веет от тебя. Наверное, по-

чти на таких же вышках стояли наблюдатели в те времена, когда еще зарождалось русское государство. Завидев непрошенных гостей, они кубарем скатывались вниз, прямо на спины злых горячих коней, мчались по шершавым степям от горизонта к горизонту. Дымилась голубая пыль, собиралось в поход войско. А вышка оставалась одна...

На вышках мне приходилось бывать уже не раз. Поэтому я без особого любопытства взглянул на оптический прибор, выставивший свои стеклянные глаза в окно деревянной будки, на истрепанный переплет журнала наблюдения, на карандаш, привязанный к гвоздику веревочкой (словно наблюдатель мог оказаться в состоянии невесомости), на курсоуказатель с красной стрелкой, вырезанной из жести.

Солдат, стоявший на посту наблюдения, словно не заметил ни меня, ни Ромку, его плутоватые серые глаза как бы говорили: «Я признаю только одного командира — начальника заставы. А остальные для меня — постольку поскольку».

Я прильнул глазами к окулярам оптического прибора, но тут Ромка толкнул меня локтем в бок и кивнул головой на стенку будки. Он хотел сделать это незаметно, но в тот же миг туда же стрельнули ершистые глаза Туманского. Чем-то острым, скорее всего гвоздем, на доске было нацарапано: «Скоро демобилизация! Ура!»

Туманский обернулся к нам и, поняв по едкой Ромкиной улыбке, что он тоже прочитал эту надпись, молча полез вниз.

Мы спустились вслед за ним. Солдат опустил крышку люка.

— На посту наблюдения — рядовой Кузнецкин, — сообщил Туманский, когда мы свернули с дозорной тропы на едва приметную в сухой трескучей траве полевую дорогу. И граница, и пенистая река, и лукавое солнце были теперь у нас за спиной. Длинные белесые тени легли впереди и неслышно двигались вместе с нами.

До самой заставы мы шли молча.

Надо сказать, что к месту своей службы мы приехали утром по дороге, нервно вилявшей среди старых щербатых гор. По пути жадно смотрели на все, что проносилось мимо: на чабанские юрты и говорливые ары-

ки, на грузовики с чудо-деревом саксаулом и лепешки сухого кизяка на плоских крышах, на расплавленное солнце и приветливых работающих людей. Нам надо было, наверное, думать о том, что пришла пора, как сказал один из наших преподавателей на выпускном вечере, подставить лицо сильному ветру, а плечи — тяжелой ноше. Или о том, что с нас скоро спросят за покой и счастье людей, что Ромка и Славка ушли в прошлое и на заставу ехали лейтенант Роман Ежиков и лейтенант Вячеслав Костров.

Но мы думали совсем о другом.

— Наконец-то! — воскликнул Ромка, высунувшись в окно рейсового автобуса. — Наконец-то!

— Что? — тоном заговорщика спросил я: мне не хотелось, чтобы пассажиры слышали то, о чем мы говорим.

— Что, что! — рассердился Ромка. — На самостоятельные ноги становимся, вот что!

Дьявол полосатый, ведь я думал о том же самом! Нет, наверное, мы не повзрослели оттого, что совсем недавно на училищном плацу нам вручили лейтенантские погоны. Мы ощутили радость свободы, нами овладело гордое чувство того, что теперь-то мы сами себе хозяева, что никакой старшина уже не сможет поставить нас в строй и вести туда, куда ему вздумается, что дни, в которые каждый наш шаг был расписан по минутам и заранее распределен, уже не повторятся. И, задыхаясь от избытка счастья, вызванного этой свободой, мы еще не знали, что придет время и училище, из которого мы так спешили вырваться, покажется роднее, чем оно было прежде, будет вызывать в сердце тихую грусть, как ласка матери, как воспоминание детства.

Ромка, Ромка! И что ты за человек? Ведь знаешь ты, что не день и не два придется тебе служить под началом этого угрюмого капитана, говорящего короткими, рублеными фразами. Так что же ты ершишься с самого первого дня? Какой бы он ни был, этот капитан, но уж он-то больше тебя и меня знает, что такое граница. Потому что она стала его жизнью, его судьбой...

Честно говоря, я никогда не предполагал, что Ромка пойдет в пограничное училище. В школе он бредил кибернетикой, потом астрономией, а заявление подал в

геологоразведочный. Но перед самым моим отъездом он примчался ко мне встревоженный, непонятный, угрюмый и сердито буркнул:

— Я — с тобой.

— Что случилось?

— Передумал.

— Но ты же подавал...

— А не все ли равно?

— Значит, граница — не на всю жизнь?

— А у тебя — на всю?

Дипломат! Будто ему не было известно, что я родился на заставе, в таежных дебрях, на берегу Уссури. Что нянчили меня солдаты, что я с первого своего шага полюбил дыхание голубоватых сопок, сырую свежесть ленивых речных протоков, медовый запах петлявших в чаще тропинок. Застава издавна была для меня чем-то родным и незаменимым. Я навсегда запомнил своенравную Уссури, не желавшую признавать берегов, холодные звезды над хребтом, похожим на рысь, приготовившуюся к прыжку. Запомнил егеря Башурова, бывшего моряка дальнего плавания, которого все у нас называли пограничником без погон. Мне очень нравилось, что петлички на его плаще, как и у солдат заставы, были зеленого цвета. Он брал меня с собой развозить изюбрам соль, и на легкой оморочке мы поднимались, насколько это было возможно, вверх по бурливым речушкам, катившимся в Уссури. Башуров зорко наблюдал за природой, за животными и свои наблюдения аккуратно заносил в пухлую тетрадь. Как сейчас, помню такие, например, записи: «6 мая. Ночевал на острове у рыбаков. Начался перелет уток. Идет кряковая, касатая, чирок, шилохвость, крохали, чернеть. 8 мая. На хребте выпал снег. 25 мая. Пасмурно, временами дождь, гроза. Изюбр хорошо посещает солонцы. Задержал нарушителя границы. 7 июня. Прибывает вода. Накрыл браконьера. Зацвела дикая яблоня».

Башуров самозабвенно любил природу, он даже ошеловечивал ее, и эта страсть незаметно передалась мне.

И вообще на заставе я многому научился. И распознавать ухищренные следы нарушителя, и верить, что отец вернется после схватки с вооруженным диверсантом живым, и понимать, что такое воинский долг.

Все это, конечно, сыграло свою роль, когда я ломал голову над сложнейшей проблемой: кем быть? Но и я колебался. В таких случаях Ромка испытующе смотрел на меня прищуренными хитрыми глазами и повторял свою излюбленную фразу: «Важно, не кем ты будешь, а каким будешь».

— А как же с призванием? — недоумевал я.

— Зачем так громко? — спрашивал он.

Мне часто вспоминаются слова отца о том, что каждый исторический период требует своих героев. Во времена отцовской юности, например, позарез нужны были летчики. И молодежь хлынула в аэроклубы, прыгала с парашютом, пела «В далекий край товарищ улетает», поднимала в воздух «ястребки». Что касается нашей юности, то она сделала свою заявку: требовались физики, конструкторы, космонавты.

Тем более мне трудно было понять Ромку, отличнейшего математика. Ведь не просто так, ради спортивного интереса, задумал он стать офицером. Конечно, если говорить откровенно, в училище шли разные ребята. Одни уже вдоволь нашагались по дозорным тропам, вволю поели солдатской каши. Они знали, на что идут, понимали, что служба офицера на границе — не рай небесный. Другие знали границу только по книгам и кинофильмам. В карманах их пиджачков лежало единственное богатство и надежда — аттестаты зрелости. Эти присматривались, взвешивали все «за» и «против», особенно после того, как побывали на стажировке. А были и такие, что гнались лишь за дипломом. В нашей группе учился один из таких — Кравцов. Поступал он в училище с боем, просил, настаивал, обивал пороги, умолял. А как-то в откровенной беседе со мной сказал:

— Между нами, говорю как другу. Училище — высший класс. Учись на здоровье. И не улыбайся. Сам посуди. Студенту в институте о жратве думать надо? Попробуй забудь — живот мигом напомнит. А я был в столовую — все, что есть в печи, на стол мечи. Как положено: курсантская норма. И не улыбайся! Независимо от того, влепил мне преподаватель тактики двойку или нет. Или, возьмем, обмундирование. В «гражданке» все барахло, от носков до берета, приобретаешь в магазине. И гони наличными. А здесь я одет и обут. В моей экипировке не то что на границу, на любую

танцплощадку — зеленый свет. Есть преимущества? Вот и анализируй. А насчет учебы? В институте, я слышал, не успел полную норму двоек нахватать, тебе тихонечко посоветуют: позвольте вам выйти вон. Как в известном рассказе писателя Чехова. А здесь? Курсовой срочно прикрепит к тебе передовика. Комсомол зашевелится. Преподаватели. Поставить мне двойку это для них все равно что вызвать огонь на себя. Иначе скажут, нет индивидуального подхода. Вот так. Делай выводы. Анализируй. И не улыбайся.

Кажется, ничто из его рассказа так не бесило меня, как это «не улыбайся». Иной раз даже хотелось дать ему по морде.

Со стажировки Кравцов вернулся не в меру веселый и оживленный. Хорохорился, бодро рассказывал о своих впечатлениях. Но я хорошо видел, что бодрость эта искусственная, что сквозь нее прорывается растерянность и злость.

— Воду возят за семьдесят километров. Ночью лежишь как в парилке на самой верхотуре. Песок в зубах круглосуточно. От пуза. Короче, живи и радуйся. И не улыбайся.

Он рассказывал подробности, и я представил себе, как, заслышав отдаленный гул машины-водовозки, бежит к ней навстречу заставская детвора — дети офицеров и старшин. Куры радостно и ошалело машут крыльями. Нетерпеливо ржут и раздувают мягкие ноздри кони, повернув к дороге гривастые шеи. Срывается с привязи обычно тихий и флегматичный теленок. И только солдаты не выбегают навстречу, не смотрят на машину, то и дело буксующую в песке. Не потому, что им не хочется пить. Просто им некогда. Одни спят, не дождавшись воды, другие идут среди барханов, изредка поглядывая на полупустую фляжку.

Я чувствовал: Кравцов не выдержит. И точно: через несколько дней мы узнали, что он вручил командиру рапорт:

«Прошу ходатайствовать перед командованием об отчислении меня из училища. Моим призванием всегда была авиация. Мне пришлось идти служить в погранвойска, но я до сих пор мечтаю об авиации и хочу быть гражданским летчиком».

Я был уверен, что эти строки родились в голове Кравцова в первый же день стажировки. Кравцов — летчик! Это не укладывалось в моей голове. Мы вытащили его на комсомольское собрание. Напомнили его же слова, сказанные курсанту нашей учебной группы, который спасовал и хотел уходить из училища. Кравцов говорил тогда:

— Эх ты, человек! Счастье ищи на трудных дорогах. И не верь в скуку дальних мест. Преодолевай трудности. И не улыбайся.

Теперь ребята били Кравцова его же словами. Но даже тени смущения мы не увидели на его лице. Я не стал выступать. Потому что в свое время молча выслушивал Кравцова, потому что гнев кипел у меня в груди, но так и не вырвался наружу.

Когда мы расходились, единогласно проголосовав за суровое наказание, Колька Маевский сказал ему:

— Слизняк.

Наверное, он был убежден, что более мерзкого существа, чем слизняк, природа просто не сумела придумать. А я мысленно обругал себя за то, что терпимо относился к разглагольствованиям Кравцова.

Да, такие, как Кравцов, были. Но я мог доказать кому угодно, что Ромка — человек совсем другого склада, что пошел он в училище не из-за диплома, а тем более не из-за материальных выгод. И все же его неожиданное решение поступить в училище было для меня загадкой. Я чувствовал, что он не сможет посвятить себя военной профессии, что пошел учиться воее не потому, что его тянуло на границу.

А вообще, как бы то ни было, мы начинали свою пограничную службу. Все то, что целых четыре года вдалбливали нам в головы преподаватели самых различных кафедр, все то, что мы приобрели, устремляясь вслед за танками по мокрым солончакам или слепыми душными ночами гоняясь за «нарушителями» границы, все то, что старались воспитать в нас командиры, политработники и преподаватели, — все это должно было теперь пройти проверку жизнью, самую суровую проверку из всех существующих на земле.

И что бы ни говорил Ромка, как бы бодро и независимо ни старался себя вести, — он тоже не мог не думать об этом. Впрочем, думали о себе, наверное, не

только мы. О нас думали и командир части, и начальник политотдела, и начальник училища, и преподаватели. И конечно же, каждый из них хотел, чтобы у нас все было в полном порядке.

На заставу нас вез капитан Демин — инструктор политотдела отряда. Круглолицый, словоохотливый, белобрысый, он был из тех людей, кому не требуется много времени для того, чтобы завязать дружбу. Мы порадовались тому, что он говорит нам не прописные истины о наших задачах, а, казалось бы, совершенно отвлеченные вещи: о том, как неудачно женился молодой офицер на соседней заставе, о последнем фельетоне в «Комсомолке», о том, какие выкрутасы проделывает кое-кто из молодых поэтов. И все же то, что он рассказывал, как-то незримо и естественно переплеталось со всем тем, что нам предстояло делать на заставе.

Мы были уверены, что Демин проживет у Туманского не меньше недели и не отстанет от нас до тех пор, пока не убедится, что мы стали ходить тверже и можно уже не водить нас за ручки. Наверное, он намеревался провести показное занятие, побыть на тех занятиях, которые будем проводить мы, пойти с нами в наряд, проинструктировать Туманского, как лучше подойти к каждому из нас, вероятно, хотел напомнить ему, что главное в работе с молодыми офицерами — не опекать, а помогать. Но через час после того, как мы вошли в канцелярию заставы, Демина вызвал к телефону оперативный дежурный из отряда и сообщил, что у него тяжело заболела жена. И потому, пообещав все же добратся до нас и, как он в шутку сказал, «поставить наши мозги на место», Демин вскоре уехал.

— Теперь молодняку курорт, а не служба, — ворчал Туманский. — Появился на пороге — навстречу и командир части, и начальник политотдела. С хлебом-солью. На заставу везет штабной офицер. Рассказывает. Показывает. Как и куда ступить. Темный лес!

— Сухарь плюс солдафон. Аксиома! — шепнул мне Ромка.

После обеда Туманский повел нас показывать участок границы.

...И вот мы возвращались с участка. Возле ворот заставы лихо притормозил «газик». Из него неторопливо вылез невысокий человек лет сорока в разноцветной,

броской не по возрасту рубашке навыпуск. На голове его чудом держался коричневый берет, обут он был в замшевые сандалеты. Человек был худошав и, несмотря на седые виски, напоминал щуплого паренька. Увидев нас, он отшвырнул в сторону объемистый желтый портфель из свиной кожи и радостно взмахнул руками. Лицо его засияло, белесые брови полезли на лоб, облупленный на солнце нос смешно наморщился, пышные жидкие волосы разметало внезапно налетевшим ветром.

— Гроза шпионов и контрабандистов! — восторженно воскликнул он и, с размаху обняв Туманского, начал тормошить его.

— Здравствуй, Илья, — смущенно и растерянно произнес Туманский, безуспешно пытаясь вырваться из рук приезжего. Одновременно он искоса поглядывал на нас, словно оправдываясь и говоря: «Вы же видите, не я начал, не от меня это зависит, виноват вовсе не я, а этот взбалмошный человек».

— К чертям твои уставные приветствия! — еще громче заорал Илья. — Мы не виделись целых три года!

— Откуда ты свалился, Илья? Ни телеграммы, ни письма...

— Только внезапность, — наконец отпустив Туманского, ответил Илья. — Главное — нарушить твои параграфы. Вот и свалился прямо оттуда, — он резким движением руки показал в небо. — Самолеты-вертолеты. В небесах стал философом. И никакой гордости, что схватил за бороду самого всевышнего. Полцарства — за щепотку родимой земли.

Он снова засмеялся и пристально посмотрел на меня и на Ромку.

— Твои мушкетеры? — хохотнул он и протянул нам руку. — Я — Грач. Разрешаю улыбнуться.

— Грач? — ахнул Ромка.

— Грач, — весело поддакнул тот. — Нравится? Прибыл в гости к своему единоутробному брату. Знаю, о чем вы спросите. Грач — псевдоним. В сущности, я тоже Туманский. Легко и просто. А вы — только что оперившиеся лейтенанты? Угадал?

— Угадали, — помрачнел Ромка.

— Окончили высшее?

— Высшее, — подтвердил я.

— Значит, изучали высшую математику?

— Изучали, — сказал Ромка и приободрился.

— Через год застава вытряхнет из них всю математику, — заверил Туманский.

Грач раскатисто захохотал. Внизу у реки отозвалось эхо.

— А ты знаешь, Туманский, математика проникла даже в литературу.

— Пусть проникает, — рассердился Туманский. — Для меня высшая математика — не пропустить нарушителя.

— Черт возьми, ты заговорил афоризмами, — обрадовался Грач и хлопнул его ладонью по плечу. — Но, кажется, ты совсем забыл, что я твой гость и что меня, следовательно, уже пора пригласить в дом. Как Катерина? Наталка? Генка?

Туманский коротко ответил, что семья жива и здорова. Мы вошли во двор заставы. Возле самого здания в два ряда, словно солдаты в строю, росли высокие тополя. Возле одного из них на скамейке сидел плотный крепыш с ефрейторскими нашивками на погонах. Он неторопливо, с чувством собственного достоинства раскуривал папиросу.

— Рядовой Теремец, — позвал его Туманский.

Теремец подошел грузновато, стараясь почетче ступать ногами, но со строевой выправкой он был явно не в ладу. Доложив капитану, он стоял перед ним как-то чересчур спокойно, словно не ждал никаких новостей или неприятностей.

— Для чего служит вышка? — невесело спросил его Туманский.

— Для наблюдения, — Теремец медленно отвел большие спокойные глаза в сторону.

— А зачем делать из нее избу-читальню?

— Не понимаю, товарищ капитан, — начал было Теремец.

— Зато я понимаю, — жестко сказал Туманский. — Призывы сочиняете?

Теремец едва приметно ухмыльнулся и промолчал.

— Забыли, когда ваша служба кончается?

— Никак нет, товарищ капитан, не забыл.

— Так куда же вы торопитесь?

— На завод, товарищ капитан. Руки чешутся.

— А по тактике двойка. На ночной стрельбе по Луне

из автомата шпарили. Когда возьметесь за военное дело?

— А что военное дело, товарищ капитан? — уже с некоторым раздражением спросил Теремец. Ему, видимо, не нравилось, что капитан ведет этот неприятный разговор при новых на заставе людях. — Что военное дело? — повторил он. — Полтора года — и в «гражданку». К тому же стоит вопрос о разоружении.

Грач затрясся от смеха. Ромка присоединился к нему. Туманскому это не понравилось.

— Идите, Теремец, — отпустил он солдата. — Мы еще с вами побеседуем. А призывы не те пишете, что надо. Завтра буду на вышке — не заставляйте меня цитировать ваши произведения.

— Ясно, товарищ капитан, — коротко ответил Теремец.

Когда он скрылся в казарме, Туманский сказал мне:

— Займитесь рядовым Теремцом, лейтенант Костров. Индивидуально.

— Есть, заняться рядовым Теремцом, — повторил я.

Грач лукаво подмигнул мне и ушел вместе с Туманским.

Когда мы остались одни, Ромка, копируя Грача, подмигнул правым глазом и протяжно, почти по слогам, сказал:

— Высшая математика!

— А ты знаешь, кто такой этот Грач?

— Брат Туманского?

— Писатель.

— Не слыхал такого.

— А я слыхал. И читал его роман, — похвастался я.

— Не очень-то радуйся, — оборвал меня Ромка. — Вставит он нас с тобой в какую-нибудь комедию. В виде этаких недоносков. Тогда ты по-другому запоешь.

ГРАЧ ВТОРГАЕТСЯ В НАШ МИР

В первую ночь на заставе мы спали не очень крепко. Все еще не верилось, что Туманский принял решение пока что не посылать нас на службу, а главное, в любую минуту мог прозвучать сигнал тревоги.

Проснувшись, Ромка невесело пошутил, что жизнь наша в сравнении с курсантской, по существу, не из-

менилась: такие же солдатские койки, точно так же сложенное обмундирование на табуретках: сперва гимнастерка, потом брюки. Единственное новшество: никто под самым ухом не заорал «подъем». Я хотел сказать, что выводы делать еще преждевременно, но в дверь кто-то постучал.

— Видишь, — торопливо сказал я Ромке, — в училище бы к нам вошли без стука.

— Ты гений, — убежденно заявил Ромка и весело заорал: — Войдите, к чему этот дипломатический этикет? Здесь не посольство.

В комнате появился Грач.

— Привал перед боем? — усмехнулся он, комкая в руке берет. — Не узнаю Туманского. По моим предположениям, вы сейчас должны были карабкаться по скалам левого фланга. Куда исчезла традиционная метода? Он еще не говорил вам, что пограничником нужно родиться?

— Не говорил, — независимым тоном произнес Ромка. — Да и вообще он, кажется, слишком дорожит каждым своим словом.

— В отличие от своего брата, хотите вы сказать? — хитровато прищурился Грач, и кустистые брови его смешно зашевелились. — Вы знаете, — оживился он, нетерпеливо шагая между нашими койками, — мне вспомнился день, в который я окончил училище. Меня назначили командиром курсантского взвода. А моего дружка Володьку, как сильнейшего артиллериста, — преподавателем. И знаете, с чего мы начали?

— Перешили обмундирование? — спросил я, вспомнив, что эта проблема была у нас с Ромкой одной из первоочередных.

— Нет! — восторженно воскликнул Грач, радуясь, что я не отгадал. — Нет! Мы рысью помчалась искать себе квартиру. Чтобы окончательно утвердить свою самостоятельность и независимость. И как только кто-либо хотел посягнуть на наш суверенитет, мы немедленно, как выражался Володька, рубили концы и поднимали якорь. Так было, например, когда наша квартирная хозяйка стала усиленно предлагать нам в невесты свою дочь. А вообще, чертовски не хотелось оставаться в тылу, друзья снова возвращались на фронт, а

мы должны были, как торжественно провозгласил генерал, ковать новые отряды офицерских кадров.

Грач говорил быстро, восхищенно и не переставал ходить по комнате. Мы крутили головами, чтобы все время видеть его, и то, что он, оказывается, тоже был курсантом, да еще во время войны, сразу же как-то сблизило нас.

— Однако, — вдруг резко перескочил Грач на другую тему, — я должен доложить вам, юные лейтенанты, что начальник заставы не очень-то в восторге от вашего приезда. Я успел его прощупать: «А как ты думаешь, — сказал он мне, — если бы на заставу прислали опытных офицеров, мне было бы легче или тяжелее?» Вам ясна ситуация?

— Аксиома, — равнодушно отозвался Ромка и повернулся на другой бок. — Ничего иного мы и не ожидали.

— Но! — остановил его Грач, подняв палец вверх. — При всех минусах Туманского я согласился бы пройти школу пограничной выучки именно у него. Кстати, имейте в виду, вас могут разыгрывать. Был я как-то на западной границе. Там стажировались курсанты. И вот ночью часовой заставы вызывает дежурного. А дежурил курсант. Докладывает: «Товарищ курсант, баржа с дровами пришла. Куда подать на разгрузку?» Курсант растерялся. Поднял старшину. А тот завопил: «Какая такая баржа? С ума спятил? Река-то не судоходная!»

— Это для профилактики? — заершился Ромка. — Так мы на границе не новички.

Грач замолчал и сунул в рот сигарету.

— А чем вас удивляет застава? — неожиданно спросил он, не заботясь о логической связи с тем, что говорил перед этим.

— Застава как застава, — сказал Ромка.

— А я поражен, — воскликнул Грач, распахнув окно. — Какое причудливое сочетание совершенно несовместимых явлений! Наряды как вихрь, когда застава зовет в поиск. И белье на веревке возле офицерского домика. Вышка как символ зоркости. И огород с самой обыкновенной картошкой. Строевая песня солдат. И отчаянный рев моего племянничка крикуна Ген-

ки, которого не хотят катать на машине. Вы чувствуете?

— Мы еще не рассмотрели, — не меняя своей подчеркнуто равнодушной позы, сказал Ромка. — И какое это будет иметь значение в становлении молодого офицера?

— Величайшее, — убежденно заявил Грач, и мне показалось, что он любит преувеличивать. — Нужно уметь идти очень верной дорогой, — пояснил он, — чтобы не получилось перекося.

Грач закурил очередную сигарету. Я боялся, что Ромка, не переносивший табачного дыма, со свойственной ему прямоотой нагрубит Грачу. Но тут Грач начал рассказывать о геологах. Ромка сел на койке. Кажется, это его заинтересовало.

— Туманский что-то равнодушен к геологам, — говорил Грач. — У них, мол, своих дел по горло, и они так увлекаются, что, кроме минералов, ничего не видят. А я уверен, что каждый геолог, работающий в приграничье, может быть отличнейшим дружинником. Согласны?

— Конечно, — живо откликнулся Ромка. — У геологов и пограничников много общего. И те и другие ищут. Даже названия родственные. У пограничников — поисковые группы, у геологов — поисковые партии. У нас — дозорные тропы, у них — маршруты.

Ромка, этот колючий Ромка, видимо получавший наслаждение от того, что противоречил даже в том случае, если внутренне был согласен со своим собеседником, вдруг стал поддакивать Грачу!

— Вся разница в том, — вмешался я в разговор, — что геологи ищут дорогую руду, а пограничники...

— Это уже не столь существенно, — горячо перебил меня Ромка. — Для людей же ищут. И те и другие.

— Говорят, все профессии хороши, — сказал Грач. — А все-таки завидую первооткрывателям. Романтикам. Я побывал у геологов перед тем, как ехать сюда. Начальником партии у них Мурат. А молодые геологи — Борис и Новелла.

— Новелла? — переспросил я. — Что за странное имя?

— Совсе не странное, — возразил Грач. — Вы видели когда-нибудь смеющиеся глаза? Полные солнца. Зову-

щие, как далекие звезды. Глаза — зеркало души человека. Истина старая как мир. Может быть непроницаемым лицо, может солгать язык, но глаза все равно скажут правду. Даже если разум запрещает им делать это. Глазами человека смотрит его душа. Удивительно не только то, что в них увидишь восторг и гнев, испуг и бесстрашие, равнодушие и одержимость. Особенно удивительны полутона, своего рода переходные оттенки от одного контраста к другому. Человек молчит, а глаза все равно говорят, говорят, пока он жив, пока дышит. По глазам вы безошибочно определите, умен ли человек, или глуп, добр или жесток, чиста его совесть или нет. И дело вовсе не в цвете глаз, это лишь признак красоты внешней, главное — что они говорят людям.

— Значит, у этой девушки смеющиеся глаза? — спросил я, чувствуя, что Грач ударился в область философии и совсем забыл о Новелле.

— Да! — тотчас же рванулся навстречу моим словам Грач. — Такие глаза могут быть только у тех, кто очень любит жизнь. Кто идет вперед. У счастливых людей. Может быть, ей следовало бы стать актрисой. Но она геолог. Портрет? Черномазая. Большеротая. Худышка. Гибкая, как цирковая гимнастка. Кубинцы приняли бы ее за кубинку, грузины — за грузинку, евреи — за еврейку. Впрочем, я не мастер рисовать портреты. Критики всегда поругивают меня за это. Но каждый художник нарисовал бы ее по-своему. Потому что красота ее необычна.

— А фамилии вы не помните? — вдруг отчужденно спросил Ромка, будто злясь на Грача за то, что он так много говорит о Новелле.

— Что значит не помню? — рассердился Грач. Я уже начал замечать, что он сколько угодно может посмеиваться сам над собой, но не терпит, когда другие высказывают по его адресу какие-либо сомнения. — За кого вы меня принимаете? Я рассказываю о Новелле Гайдай.

Мне показалось, что при этих словах Ромка побледнел.

— Ты идешь на зарядку? — странным голосом спросил меня Ромка и суетливо натянул тренировочные брюки.

Я хотел сказать, что зарядкой лучше заняться немного позже, так как не очень удобно оставлять гостя одного. Но Ромка уже скрылся за дверью.

Грач умолк. Кажется, у него были две крайности: или он начинал говорить увлеченно и долго, так что казалось, уже не сможет остановиться, или же молчал, будто был вовсе лишен дара речи.

Не успел уйти Грач, как в комнату стремительно вошла Катерина Федоровна, жена Туманского. Белокурая, острая на язык, стройная, как спортсменка, она, широко улыбаясь, стояла перед нами и держала в руках скатанный в рулон ковер. Восторженная улыбка не мешала ей говорить властно и даже сердито.

— Вот вам ковер, — швырнула она рулон на пол. — Живо разворачивайте и вешайте на стену.

— Но... я не понимаю, зачем нам ковер, — попробовал сопротивляться Ромка, только что вернувшийся в комнату.

— Не разговаривать, — заявила Катерина Федоровна. — Он еще спрашивает! Вы знаете, что такое достать в военторге ковер? Птенцы желторотые! Вешайте немедленно. Терпеть не могу холостяцкого запустения. И гоните деньги. Что, нету? Не беда, отдадите, когда будут. И торопитесь жениться. Кто первый — ковер переходит молодой жене. Вот так, птенчики. Думать надо, а не лыбиться!

— Второй Туманский, — усмехнулся Ромка, когда она ушла.

— Кажется, еще почище, — поддакнул я.

Не сговариваясь, мы принялись прибавать ковер к стене, и, кажется, оба подумали об одном: несмотря на слишком категорический тон, Катерина Федоровна нам понравилась.

— А все же с геологами надо познакомиться, — сказал я с улыбкой, когда ковер висел на стене, и мы отдали должное его красивому рисунку.

Ромка молчал.

— Тем более, что у них есть такое очаровательное создание, — напомнил я. — Чего доброго, на заставе будет свадьба.

— Создание, — почему-то печально и хмуро отозвался Ромка. — Грач тебе нарисует, разувай глаза. Из обыкновенной девчки сделает Афродиту.

— Ты видел ее, что ли?

— Нет, — зло ответил Ромка. — И вообще, у геологов мне делать нечего. Понял, романтик?

Нет, я так ничего и не понял. Да к тому же в голове у меня уже были не геологи, не загадочная красавица Новелла, а самый обыкновенный солдат рядовой Теремец, с которым я, как распорядился капитан Туманский, должен был вести повседневную индивидуальную работу. Да и только ли с одним Теремцом?

ТЕРЕМЕЦ И КУЗНЕЧКИН

— Ну как Теремец? — спросил меня Туманский вскоре после того, как поручил мне заняться этим солдатом.

Я доложил, что Теремец уже побывал на вышке и рубанком выстрогал доску, на которой в свое время нацарапал восторженный клич о предстоящей демобилизации. К этому я добавил, что с Теремцом, конечно, еще придется повозиться и что воспитание — процесс длительный и сложный. Тут же я поймал себя на мысли о том, что повторяю слова, которые говорил нам в училище преподаватель на лекции по основам воинского воспитания.

Туманский едва приметно усмехнулся:

— Он и сам кого хочешь воспитает.

Я пожал плечами. Но через несколько дней мне пришлось вспомнить слова Туманского.

Все началось с того, что рядовой Кузнечкин, задиристый и заносчивый солдат второго года службы, обозвал Теремца «тунеядцем в мундире».

Был жаркий субботний день. День, в который солдаты с нетерпением ждут бани, тех блаженных минут, когда можно, забыв о всех тревогах и неурядицах, забраться в парилку и отхлестать горячее податливое тело упругими прутьями горной березы.

Кузнечкин, как и все, любил баню. Правда, он побаивался забираться на верхнюю полку, — слишком уж обжигает сухой, раскаленный пар. Но в баню он старался попасть одним из первых. Арифметика тут была нехитрая: Кузнечкин страсть не любил, когда в самый блаженный момент, в который тело с нетерпением ждет,

что его окатят горячей водой, раздается чей-то отчаянный возглас:

— Братва! Вода кончилась!

Это значило, что кому-то нужно выскакивать в предбанник, наполненный холодным паром, ступать по ледяному цементному полу, на ощупь искать ведро и, зачерпнув воду из железной бочки, тащить ее в котел. Обычно, как на грех, именно в этот момент Теремец, ответственный за топку бани, куда-то загадочно исчезал. Кузнечкин старался забраться в баню, когда котел еще полон воды. Он с наслаждением мылся и, послав всем общий привет, отправлялся в казарму.

В день, о котором идет речь, Кузнечкин не смог примчаться в баню раньше всех. Он возвратился со службы уже тогда, когда в бане оставались всего два человека. Поспешно сбросив одежду в предбаннике, Кузнечкин прямо влетел в жаркий и влажный рай парилки.

— Черти, — ворчал он на солдат, щедро окатывавших друг друга водой. — Где экономия? Где борьба за бережливость? Мечтаете попасть под огонь критики на очередном собрании?

Солдаты только кряхтели в ответ: вода была чудесная.

После их ухода Кузнечкин, едва успев израсходовать один тазик воды, открыл кран и понял, что самые худшие предчувствия не обманули его: вода кончилась. Кузнечкин принялся стучать кулаком в стену:

— Теремец! Забыл свои обязанности? Воды!

Никто не отзывался. Слышно было только, как в котле беснуется пар.

— Теремец, ну будь другом, выручи, — начал клянить Кузнечкин. — В уставе же записано...

Снова молчание. Кузнечкин схватил тазик и застучал им в стену. Мыло жгло глаза. Кузнечкин рассвирепел. И вдруг прямо из стены в его тело, как из огнемета, ударила жгучая струя пара. Кузнечкин взвыл и отпрянул в сторону.

— Тунеядец в мундире! — заорал Кузнечкин. — Прimitives! Утюг с погонами!

И снова никто не отозвался. Вылив на себя остатки воды из всех тазиков, Кузнечкин поспешно выбежал из бани: сухой пар хватал за горло. Через пять минут

он стоял перед Туманским и с возмущением жаловался на Теремца.

Туманский пошел на место происшествия, прихватив с собой и меня. Мы осмотрели стену. В едва заметное отверстие примерно на высоте полутора метров от пола был вставлен конец металлической трубки. Другой конец ее находился в котле. Замысел конструктора оказался предельно простым. Когда в котле кончалась вода, он наполнялся паром, который с силой устремлялся по трубке. Пар по идее должен был «выкуривать» тех, кому хотелось пожить на готовеньком. Всякий, кому не по нраву был такой сюрприз, или покидал баню, или заливал котел водой.

Как и предполагал Туманский, автором этого технического нововведения оказался Теремец. Капитан послал за ним. Тот и не думал оправдываться и охотно признал свое авторство, словно рассчитывал получить за него благодарность на боевом расчете. На вопрос, зачем он придумал такую конструкцию, Теремец ответил тоном, полным собственного достоинства:

— Прививаю навыки.

— Какие навыки? — возмутился Кузнечкин. — Это называется варварством! И невыполнением своих служебных обязанностей!

— Любовь к труду, — невозмутимо пояснил Теремец. — Лейтенант Костров тоже говорил, что трудовое воспитание — главный фактор. К тому же метод проверенный. Помогает.

Туманский улыбнулся одними глазами. Теремец сразу же понял смысл этой улыбки.

— А за «тунеядца в мундире» он еще от меня схлопочет, — беззлобно, но веско пообещал Теремец, не глядя на недовольного Кузнечкина.

— Ну-ну, — буркнул Туманский. — Не тот метод.

Теремец промолчал. Но по его хитровато сверкнувшим глазам я понял, что Кузнечкин обязательно «схлопочет».

Когда я рассказал об этой истории Ромке, он пришел в неописуемый восторг. Он поднимал Теремца до небес и говорил, что с таким прекрасным педагогом он встречается впервые. Я пытался возражать.

— Твой бог — слово, — сказал Ромка, — Мой бог — практика.

Это был наш давний спор, и каждый раз Ромка находил повод для того, чтобы обосновать и доказать свою точку зрения.

— Воспитывать только словом — профанация, — все больше и больше горячился он. — Бесполезнейшее занятие. Ты же смотрел вчера «Балладу о солдате»? Когда Алеша поцеловал Шуру, Веревкин свистнул и заржал на всю ленокмнату. Этакое плотоядное ржанье. Ты слышал? И это во время такого фильма! А Туманский после картины вызвал его в канцелярию и давай воспитывать: некультурно, некрасиво, неэтично. Ты что думаешь, Веревкин и сам этого не понимает! Аксиома. И в другой раз еще не так свистнет.

— А как бы ты поступил? Пять суток ареста?

— Нет! — почему-то восхищенно воскликнул Ромка, словно с нетерпением ждал именно такого вопроса. — Нет! Для таких, как Веревкин, гауптвахта — курорт. Он добровольцем туда запишется. В наряде на левом фланге топать или на казенном топчане отлежаться? Моральная сторона для него — дело десятое. Это же не то что Рогалев. А я бы на месте Туманского остановил картину, поднял всех по тревоге и — разминку километров на пять для начала. Тройная польза: во-первых, повышение боевой готовности личного состава. Во-вторых, подведение всех к мысли о том, что сначала — общее, а потом — личное. И в-третьих, Веревкин сам закается свистеть и другим закажет. А не извлечет урока — коллектив из него извлечет. Из Веревкина. Корень квадратный.

— А разумная необходимость? Люди воспримут эту твою разминку как голую и бессмысленную муштру.

— Не воспримут. Все поймут. Не думай, что они такие глупые.

— Я — за единство слова и дела.

— Докажи. Это — теоретически.

— Докажу. Ты что, считаешь меня краснобаем?

— Куда хватил! Просто переоцениваешь силу слова.

— Факты?

— Пожалуйста. Сколько раз ты внушал Теремцу, чтобы он взял за книгу? А результат?

— Молниеносных результатов в воспитании не бывает. И роль слова ты зря принижаешь. Если хочешь

знать, оно может сделать человека героем. А может — подлецом.

— Только слово? Никогда. Нужна обстановка, определенные жизненные условия. Давай не будем отвлеченно. Возьмем Теремца. Кто он? Трудяга, добрая душа, чистая совесть. Не ангел, конечно. И это даже хорошо. Терпеть не могу людей с таким сиянием над головой. А вот книг в руки не берет. И пожалуй, именно поэтому он как-то принижен. Крылья бы ему, крылья!

— Громковато!

— Не спорю. Но я не могу уважать того, кто не любит книгу. Хочешь, — он вдруг зажегся, — хочешь, через три дня Теремец сам придет к Кузнечкину и попросит книгу?

— Эксперимент?

— Да, комиссар, эксперимент. Риск, смелость, даже ошибки — люблю. Осторожность, словоблудие, инертность — ненавижу. Почему мы не бережем слова? Зачем швыряемся ими? Да еще считаем: чем длиннее беседа, тем лучше. Сегодня сказали, что дисциплина — мать победы, — отлично! Завтра повторили — хорошо! Послезавтра — скверно! Потому что самые чудесные слова в конце концов сотрутся, потеряют смысл, если их повторять сто раз. Они пройдут мимо души, мимо сердца.

— И все-таки как ты думаешь привить Теремцу любовь к книге?

— Приходи сегодня после отбоя в казарму — увидишь.

Я заинтересовался Ромкиным экспериментом и, честно говоря, еле дождался ночи. Отправив очередные наряды, я поспешил в казарму.

У входа меня встретил Ромка. Он поднес палец к губам, предупреждая меня, чтобы я молчал, и усадил на стул, стоявший недалеко от дверей.

В комнате стоял полумрак. Горели синие лампочки. Кто-то из солдат насвистывал во сне. И тут я увидел Кузнечкина, лежавшего на койке с раскрытой книгой в руке. Он негромко, но выразительно и как-то таинственно читал вслух:

— «Адъютант оберста гауптман Коккенмюллер уже несколько раз стучал в дверь кабинета; не дождавшись разрешения войти, он даже чуть-чуть приоткрыл ее, но, увидав оберста на диване с закрытыми глазами, тихонь-

ко закрыл дверь, чтобы не нарушать отдых своего шефа».

Слова эти показались мне знакомыми, но я никак не мог припомнить названия книги, которую читал Кузнечкин.

— Кончай, — слышался рассерженный голос Теремца, лежавшего по соседству с Кузнечкиным. — Отбой. Или до тебя не доходит?

— Доходит, дорогой мой, доходит, — вежливо отозвался Кузнечкин. — Но ты понимаешь, книга колоссальная, а через два дня лейтенант Костров заберет.

— Ну и читай про себя.

— Не тот эффект. Такие книги с трибуны читать надо.

— Вот завтра и прочитаешь. На политзанятиях.

Но Кузнечкин не унимался, продолжал читать. Теремец приподнялся с кровати.

— Ты что? Дежурного позвать?

Кузнечкин замолк. Теремец улегся. Но прошло несколько минут, и снова раздался голос Кузнечкина:

— «Вчера вечером на участке двенадцатой дивизии к нам перебежал русский офицер. В штабе дивизии он отказался дать какие бы то ни было показания и настойчиво требует, чтобы его направили непосредственно к вам, герр оберст!

— Ко мне?

— Да! Он назвал не только вашу должность и фамилию, но даже имя!

— Что-о? — Бертгольд удивленно пожал плечами и встал.

— В самом деле странно! — согласился Коккенмюллер. — Откуда русскому офицеру знать вашу фамилию?..

— И тем более — имя!»

Кузнечкин неожиданно замолк. «И один в поле воин», — наконец вспомнил я название книги. Кузнечкин закрыл книгу, положил ее на тумбочку и улегся поудобнее, всем своим видом показывая, что собирается уснуть.

— Ну и что? — вдруг заволновался Теремец.

Кузнечкин не отзывался.

— Слышишь, что ли, — Теремец протянул руку и затеребил Кузнечкина. — Слышишь?

— Ну чего тебе? — сердито забурчал Кузнечкин. — Отбой. Не доходит?

— Доходит, — виновато заговорил Теремец, — ты только Расскажи, что дальше будет? К тому же в двух словах. Кто он, офицер этот?

— А я откуда знаю? — равнодушным тоном сказал Кузнечкин. — Прочитать надо.

— Ну давай, читай.

— Мудришь ты, Алексей, — зевнул Кузнечкин. — То читай, то не читай. Непонятный ты человек. Сложный. Как абстрактная живопись.

— Ты давай выбирай выражения, — обиделся Теремец. — Читай лучше.

— Пятьсот сорок три страницы, — взял книгу Кузнечкин. — Я ее завтра махну, у меня выходной. И сразу замполит заберет, он еще не читал.

— Ну еще немного, — попросил Теремец. — А потом я у лейтенанта возьму.

Кузнечкин продолжил чтение. Мы с Ромкой тихонько вышли из комнаты.

— Понял? — гордо и восторженно спросил Ромка. — Эксперимент!

— Ну, положим, не ахти какой, — решил я немного охладить Ромку. — Будет он у тебя читать одни детективы.

— Тут главное — заинтересовать, — не сдавался Ромка. — Сдвинуть человека с мертвой точки. А там — пойдет!

Через два дня Теремец попросил у меня книгу.

У ШАХИНШАХА ГОЛУБЫХ ГОР

Не знаю, то ли Туманского убедил Грач, то ли он сам осознал, что геологи могут оказать немалую помощь заставе, то ли было получено указание из отряда, но так или иначе он приказал мне поехать к ним и сформировать добровольную народную дружину.

В лагерь геологической партии я отправился задолго до восхода солнца. Меня сопровождал Теремец. Наши кони неторопливо спустились в Каменистую щель. Здесь было сыро и мрачно, откуда-то сверху то и дело срывались мелкие камни, будто кто-то специально швырял их в нас. Хотелось поскорее выбраться на простор, и по-

этому щель казалась нескончаемой. Когда мы наконец поднялись наверх, стало легче дышать.

Горы просыпались. Из далекого теперь села доносился приглушенный крик петухов. Они, наверное, старались пораньше поднять на ноги всех людей. Не хотели молчать и ручьи, через которые мы переезжали. Ручьи спешили породниться с рекой и встречали нас звонким шумом. Вода в них была голубой, как новорожденное небо. Цепкие ветви темно-зеленых урючин шуршали о наши плащи. День обещал быть солнечным и безветренным.

Накануне моего отъезда Туманский поставил мне задачу. Инструктаж его, как всегда, был предельно лаконичен. Грач по поводу такой лаконичности как-то заметил:

— Туманский напоминает мне одного редактора, который не переносил длиннот. Он беспощадно «выжимал» воду и спокойно говорил автору: «Не надо разжевывать. Читатель не дурак. Нужно рассчитывать на умного читателя».

Видимо, Туманский свои взаимоотношения со мной и с Ромкой решил построить на таком же принципе. Он не стал разжевывать, что и как я должен делать у геологов.

— Лейтенант Костров, — сказал он, — дружина называется добровольной. Командовать геологами мы не можем. Найдите общий язык. Организационные вопросы: состав дружины, маршруты, связь с заставой, действия по обстановке. Ясно?

Я сказал, что вопросов нет, но немного погодя, когда Туманский ушел проверять наряды, понял, что мне не так уж все понятно, как казалось вначале. Можно было, конечно, дожидаться возвращения Туманского с границы и попросить его растолковать мне задачу более обстоятельно, но я не хотел показать себя беспомощным. Было приятно оттого, что Туманский доверял мне. Ведь мог же он поехать сам, взять меня с собой и учить как несмышленика. И коль он предоставил мне полную самостоятельность, значит, надеется, что поставленная задача мне по плечу.

Ночью, увидев, что Ромка не спит, я спросил:

— А если бы тебя послали к геологам, с чего бы ты начал?

— Как с чего? — удивился он. — Связался бы по телефону с начальником партии и сказал: организуйте. Надо. Идет геолог в маршрут, заметил что-либо подозрительное — сигнал на заставу. Что и требовалось доказать.

— Чудак ты, — усмехнулся я. — У тебя все как в алгебраической формуле. Люди — не цифры. С ними нужно установить определенные взаимоотношения.

— Кстати, между цифрами тоже устанавливаются определенные взаимоотношения, — заупрямился Ромка. — Но без всякой волокиты. Ты никогда не пытался прикинуть, сколько ценнейшего времени съедают у людей различные условности? Например, вместо того чтобы сказать человеку: «Я тебя люблю», иные романтики напустят туману и полгода угробят на то, чтобы лишь намекнуть на это. А к чему? Они что, думают прожить лет триста? Ведь все равно рано или поздно скажут эти же самые слова, ни черта нового не придумают. А время ушло.

— Ну, это уже другой разговор, — остановил его я. — По-твоему, составил список дружины, призвал к бдительности — и полный порядок? Нет, надо узнать людей, поработать с ними. В маршрутах побывать. Научить разгадывать следы. Метко стрелять. Поговорить с каждым.

— Старо как мир, — заворчал Ромка. — Да сейчас люди знаешь какие пошли? Выросли, а ты им громкую читку. Манную кашку.

— Ну знаешь ли, — рассердился я. — Даже между государственными деятелями нужны личные контакты.

— Вот это — масштаб! — завопил Ромка. — Чрезвычайный и полномочный посол Славка Костров. От имени моего правительства, моего народа и от себя лично...

Так мы с ним ни до чего и не договорились. Конечно, можно было бы поспорить с Ромкой еще, но до моего подъема оставались считанные часы, и я решил, что пора спать.

Лагерь геологов, вопреки моим ожиданиям, оказался небольшим. Старые молчаливые сосны неожиданно расступились перед нами, образовав поляну. Мы оставили коней и осмотрелись. Неподалеку от сосен стояли четыре палатки. Людей возле них не было видно,

словно, оборудовав себе жилье, они ушли отсюда, чтобы возвратиться неизвестно когда.

— Нравится? — спросил я Теремца.

Он, как обычно, ответил не сразу. Долго крутил тяжелой массивной головой, приглядывался, принимался.

— А чёго тут хорошего? — наконец ответил Теремец. — Несерьезное жилье. Мне по душе, когда капитально. Бродячую жизнь не уважаю.

Мы спешили, в поводу подвели лошадей к небольшой деревянной коновязи, расседлали. Невесть откуда подкатилась к нам маленькая, но страшно злющая собачонка. Однако, несмотря на ее истошный лай, никто не выходил нам навстречу.

«Это не то что у нас, — разочарованно подумал я. — А надо, чтобы и здесь была как бы вторая застава».

Теремец отогнал собачонку, а я заглянул в ближайшую палатку. К моей радости, там оказался человек. Он лежал в одежде на походной койке, застланной жестким запыленным одеялом. Услышав мои шаги, человек энергично вскинул голову и посмотрел на меня. Это был молодой парень. Что-то такое светилось в его ярко-синих глазах, и мне подумалось, что люди с таким взглядом непременно должны писать стихи. Был он лохмат, смуглолиц и крутолоб.

— Нарушителей здесь нет, — сказал парень просто и весело. — Или вы, лейтенант, придерживаетесь другого мнения?

Он вскочил с койки, изящным движением застегнул «молнию» на своей коричневой куртке. Когда парень лежал, мне подумалось, что он громоздок и неповоротлив. Но оказалось, что он отлично сложен и, несмотря на свой мощный торс, гибок и подвижен. Пожалуй, любой, самый придирчивый скульптор охотно взял бы его в натурщики. Я поймал себя на мысли о том, что был бы рад, если бы родился с такой внешностью, как он.

Мы познакомились.

— Борис, — назвал он себя, — Выпускник геолого-разведочного. Геолог — увлекательнейшая профессия, лейтенант. Пограничникам у нас есть чему поучиться.

— Согласен, — сказал я, заранее радуясь, что знакомство с Борисом завязалось столь просто и непринужденно. — Мы поучимся у вас, а вы — у нас.

— Бесспорно! — воскликнул он, улыбаясь яркими губами. — Но, лейтенант, я голосую за геологов. Иначе и не может быть. Надо любить дело, которому служишь.

Слово «надо» в этой фразе мне не очень понравилось, но стоило ли придирааться?

— Сегодня я иждивенец, — будто оправдываясь передо мной, сказал Борис. — Натер ногу. А натура такая — совесть мучает. Все наши ушли в горы. А я вот бездельничаю. Терпеть не могу безделья.

Я подумал, что приехал не очень удачно. Все организационные вопросы мне, разумеется, нужно было решать с начальником партии, а его, как на грех, не оказалось на месте.

Борис, узнав, что я лишь совсем недавно приехал в эти края, забросал меня вопросами. Его интересовало и что нового в городе, и где я учился, и был ли в продаже сборник стихов Вознесенского, и что идет в театрах. Чувствовалось, что он любит город, перемигивания неоновых реклам, шелест тополиных листьев в скверах, веселые перекаты смеха, голубые вспышки в проводах троллейбусных линий.

Я охотно рассказывал ему обо всем, что мне было известно. Мне и самому было очень приятно вспомнить о городе своей юности именно теперь, когда жизнь разлучила меня с ним, когда я очутился вдали от него в этих суровых горах, с которыми еще не успел по-настоящему сдружиться.

— Не будем завидовать горожанам, — сказал Борис. — Все приедается. Нужны контрасты. Хорошее видно на расстоянии. Чтобы оценить город, нужно познать и горы, и болота, и снега. Для старта в большую жизнь необходим трамплин.

Я хотел спросить его, как это он делит жизнь на большую и маленькую, но Борис уже с таким же увлечением заговорил о границе, о военной профессии:

— Когда-то я тоже мечтал о военном училище. Отец был кадровым военным. Почти полководец. Уверен, что он въехал бы в Берлин на белом коне. Но в сорок первом ему приписали шпионаж в пользу иностранной разведки.

— Шпионаж?

— Да, шпионаж. Не пугайтесь, лейтенант. Отец полностью реабилитирован.

— Я вовсе не пугаюсь. Просто не верится, что такое могло быть.

— Было, лейтенант. И вот я, тогда еще совсем младенец, оказался сыном врага народа. С виду — самый обыкновенный ребенок, которого мать возила в коляске и поила молоком. Но в то же время я был не такой, как все. В институт пробился только после реабилитации отца.

Он начал рассказывать о том, что работает над очень важной диссертацией.

— А все-таки я отвлекся, — неожиданно оборвал он свой рассказ. — Мы начали говорить о военной профессии. Один мой друг совсем недавно ушел из военного училища и сказал, будто чертовски счастлив, что не надел на себя офицерский мундир.

Я насторожился.

— Вы, лейтенант, конечно, спросите почему. И я спрашивал. А он сказал: люблю свободу.

— Но, предположим, стал бы он геологом. Пришлось бы ему подчиняться начальнику партии?

— И я доказывал ему примерно то же. Друг сказал: ты же служил в армии. И разве уже успел позабыть крылатые слова: «приказ не обсуждается», «лети пулей, падай камнем», «начальник приказывает, подчиненный выполняет и радуется»? Где же простор для творчества? И неужели вот так все двадцать пять лет?

— Почему двадцать пять? — спросил я.

— Ну, он имел в виду пенсию.

— А почему не всю жизнь? Ведь если агроном — то на всю? Или учитель — на всю? Или инженер?

— Логично! — воскликнул Борис и одобрительно тронул меня за руку.

Мне показалось, что он сознательно ушел от этого спора, а надо бы продолжить. Я и сам знал, что военная служба — не мед. Но когда меня пытались пугать трудностями, я вспоминал своего отца, начальника пограничной заставы, вспоминал, каким жизнерадостным он всегда был, несмотря на трудности. И мне тоже становилось легко, и я бросался в спор, защищал свою профессию и не допускал, чтобы ее унижали или высмеивали.

— А хотите, я расскажу о работе нашей геологической партии? — предложил Борис. Я охотно согласился.

— Конечно, лейтенант, только в общих чертах, — с достоинством произнес он. — У нас тоже есть свои тайны, не менее важные, чем военные.

Борис заговорил о геологическом строении площади, о контактах гранитных интрузий с вмещающими породами, о зонах тектонических нарушений, являющихся, как он подчеркнул, наиболее перспективными в смысле обнаружения полезных ископаемых и еще о многих, не ясных для меня вещах. Я снова увидел его взволнованным, увлеченным, горячим.

— Мы, лейтенант, выполняем задачу государственного значения, — в глазах его вспыхнула гордость. — И как пограничнику могу сказать — нас особенно интересуют аномальные участки повышенной радиоактивности. Мы ищем один из редчайших минералов, без которого ракетостроение может уподобиться человеку, лишенному хлеба. Кстати, этот минерал еще не имеет названия. Здорово, лейтенант?

— Здорово, — восхищенно проговорил я. — Но разве это не тайна?

— Не забывайте, лейтенант, что люди моего склада не лишены способности фантазировать, — нахмурился Борис. — Но независимо от того, сказал ли я правду или же все это лишь романтическая сказка, заключим джентльменское соглашение: я ничего не говорил, вы ничего не слышали. Идет, лейтенант? Наш легендарный Мурат не переносит фантазий. Он любит ходить по земле.

Борис вдруг уставился на меня горячими, возбужденными глазами, заговорил быстро, мечтательно.

— Вы слышали о Кембрийском океане, лейтенант? Нет? Но это же гордость геологов! Океан черного золота бушует в глубинах сибирской земли. Ему шестьсот миллионов лет от роду. Представьте себе, лейтенант, после мучительных поисков, после сомнений и разочарований забила скважина. В тихий мартовский день, пронизанный солнцем. И паренек, помню его имя — Виталий, — был самым первым, кто увидел настоящую кембрийскую нефть. Схватил бутылку, наполнил ее, набрал полные пригоршни нефти, играл с нею, как ребенок. Смеялся и плакал, кричал что-то ошеломляюще-радо-

стное. Его нашли у скважины. Руками он обхватил желоб, по которому текла и текла нефть. Текла, как кровь земли...

— Погиб? — нетерпеливо спросил я.

— Газы. Природа отомстила людям. Тем, что вздумали открыть ее самую заветную тайну. Вот она, лейтенант, судьба геолога. Трагическая. Красивая. Необыкновенная. Хотите в геологи, лейтенант?

«Как красиво он говорит, — подумал я, все больше проникаясь уважением к Борису. — Если бы каждый человек был беспредельно влюблен в свой труд, в свою профессию, земля стала бы еще прекраснее».

Неожиданно послышался лай собачонки, теперь уже веселый и восторженный. Борис проворно вскочил на ноги.

— Шахиншах Голубых гор, — шепнул он мне и выскочил из палатки.

Я вышел вслед за ним. Борис уже подбегал к всаднику, приближавшемуся к палаткам на бойком вороном коне. Борис схватил коня за уздечку. Всадник невесело усмехнулся и пружинисто соскочил на землю.

— Мурат Абдурахманович, — бодро и четко сказал Борис, — к вам лейтенант с пограничной заставы.

Начальник партии обернулся и увидел меня. Длинные черные брови его чайками взметнулись кверху, и мне показалось, что этого короткого, но цепкого взгляда было вполне достаточно для того, чтобы рассмотреть меня, понять цель моего приезда.

Он устремился ко мне навстречу. На нем были запыленные кирзовые сапоги с толстой резиновой подошвой, темно-синяя куртка с петличками, в которых перекрещивались два металлических молоточка, мягкая войлочная шляпа-осетинка. Ковбойка в крупную красно-черную клетку очень шла к его смуглому продолговатому лицу с крепким массивным подбородком. Шаг у него был легкий и стремительный, как у человека, не знающего усталости.

Мы поздоровались. Я коротко рассказал, зачем приехал. Мурат Абдурахманович присел на траву вблизи палатки. Я опустился рядом с ним. Он смотрел на берег реки, где в кустарнике виднелась походная кухня, и молчал.

— Как жизнь? — осведомился я, стараясь завязать разговор.

— Жизнь? — переспросил он и не то фыркнул, не то коротко рассмеялся. — Изумительная, прямо-таки чудесная жизнь! План большой, времени мало, людей пересчитаешь по пальцам, вертолета не дают, завхозу подсунули самых захудалых лошадей. Ничего лучшего желать не надо.

Говорил он сердито, но не угрюмо и нет-нет да и словно радовался тому, что трудностей накопилось много, что все эти трудности связаны одна с другой неразрывными узами и потому не успеешь преодолеть одну, как вторая спешит занять ее место.

Мне сразу же вспомнились бесконечные жалобы Туманского, и я решил показать начальнику партии, что трудно живется не только ему одному.

— Знакомая картина, Мурат Абдурахманович...

— В маршруты посылаю по одному, — будто не слышав моих слов, ворчал Мурат. — И весь день гадаешь: вернется — не вернется. Девчонки! В руках — молоток, за плечами — рюкзак. Без оружия. А что такое Голубые горы?

«Вот и попробуй тут организовать дружину, — с горечью подумал я. — Прав был Туманский, когда говорил, что геологам не до нас. У них своих забот полон рот».

— У меня в основном практиканты, — горячился Мурат. — Им бы геологов сопровождать в качестве коллегторов. Так в добрых организациях и делается. А у нас все не как у людей.

— Зато — практические навыки, самостоятельность, — вставил Борис. — Быстрее преодолеем детский возраст.

Мурат хмыкнул и не стал спорить.

— Борис прав, — сказал я, вспомнив, как много дала курсантам стажировка на границе.

— А вы знаете, что такое геология? — вдруг обрушился на меня Мурат. — Это одна из самых отстающих наук. Мы поднялись в космос на тысячи километров. Достали до Луны, до Марса, до Венеры. А на сколько километров проникли в глубину Земли? До сих пор толком не знаем, как образовалась нефть. Питаемся гипотезами!

— А все-таки, Мурат Абдурахманович, мы любим

свою науку и свою трудную профессию, — с чувством произнес Борис. — Помните, вы сами...

— Соловьиные трели! — воскликнул Мурат. Теперь в его черных, как ягоды переспелого терна, глазах неистово плясали искры злой иронии. — Геолог ищет минерал. Его маршрут — через пропасть. Он упал в нее. Но он смог подняться и снова идет. Потому что иначе не может. Тут все ясно. Тут не надо соловьиных трелей.

Эти слова пришлись мне по душе. Щеки Бориса порозовели, словно все, что сказал Мурат, относилось к нему.

— Значит, с дружиной ничего не выйдет? — спросил я после непродолжительного молчания.

— Кто сказал — не выйдет? — накинулся на меня Мурат и вдруг улыбнулся озорной мальчишеской улыбкой. — Уже и командир есть.

— Кто? — поспешно спросил Борис.

— Новелла, — спокойно ответил Мурат.

— Новелла? — испуганно встрепенулся Борис.

— Конечно Новелла! — как о чем-то решенном воскликнул Мурат.

— Но у нее очень большой объем работы, трудные маршруты...

— А нарушители как раз и любят трудные маршруты, — засмеялся Мурат, показав чудесные белые зубы.

— И кроме того, у нас есть мужчины, — продолжал гнуть свою линию Борис.

— А ты-то что в адвокаты записываешься? — накинулся на него Мурат. — Боишься, что Новеллу пограничники отобьют?

Борис ничуть не смутился, напротив, лицо его стало еще более красивым и самоуверенным. Однако на вопрос Мурата он так и не ответил.

Мурат пригласил меня перекусить. Я позвал Теремца, и вчетвером мы спустились к реке. Солнце уже хозяйничало в долине. Звонко пела река. Голубые потоки воды весело ударили в сверкающие на солнце валуны, безуспешно пытаясь сдвинуть их с места.

Молодая миловидная повариха с цветастой косынкой на голове встретила нас не по возрасту сдержанно. Казалось, она была поглощена своими думами и не очень-то обрадовалась, что мы нарушили ее одиночество. И все же она легко и проворно поставила перед нами на рас-

стеленный брезент миски с отварной бараниной, приправленной чесноком. Когда повариха подошла ко мне, я заглянул ей в лицо. Глаза ее были светло-синие, словно девушка долго-долго смотрела в небо и оттого они сделались такими ясными и бездонными.

Пока мы ели и оживленно разговаривали, обсуждая, какие задачи встанут перед добровольной народной дружиной, повариха приготовила крепкий чай, принесла его нам в кружках и отошла к реке. Там она села на камень, спиной к нам и опустила голову. Плечи ее вздрогнули, затряслись.

— Ксюша! — удивленно воскликнул Мурат. — Забыла мои слова? У нас не плачут. У нас только смеются.

То ли шум реки заглушал его слова, то ли он сказал их не очень громко, но Ксюша не отозвалась. Мурат отодвинул кружку, проворно подошел к девушке, осторожно обнял ее за плечи. Кажется, Ксюша всхлипывала и что-то рассказывала ему. Иногда она кивала головой, видимо соглашаясь с его доводами.

Смысл их разговора мне стал понятен лишь вечером, когда одним из первых вернулся с маршрута рабочий геологической партии, высоченный рыжий парень.

— Леонид, — подозвал его к себе Мурат.

Леонид стоял перед начальником партии с сияющим восторженным лицом, будто только что получил премию или услышал радостную весть. Из рукавов грязной брезентовой куртки, готовой вот-вот разползтись по швам (она была ему явно не по размеру), торчали крепкие задубелые руки, поросшие густыми ярко-рыжими волосами. Штанины походных брюк оголяли щиколотки. Разного цвета носки сползали на стоптанные ботинки.

— Когда ты перестанешь приставать к Ксюше? — строго спросил его Мурат.

Крупные обветренные губы Леонида расплылись в улыбке.

— И какое ты имеешь право угрожать ей? — добавил Мурат.

— «Что ты смотришь синими брызгами или в морду хошь?» — вдруг процитировал Леонид, придав словам торжественную интонацию. Голос у него был сиплый, но сильный.

— Ты что мне Есенина цитируешь? — разозлился Мурат.

— А я не вам, — медленно, будто каждое слово приходилось поднимать с земли, проговорил Леонид. — Это — ей.

— Ксюше? — хихикнул Борис.

— Ну да.

— Чего ради? — допытывался Мурат.

— Рассвет был, — все так же медленно, даже лениво ответил Леонид. — Небо — синее. И глазищи у нее — синие.

Оказывается, Ксюша приняла есенинскую строчку как угрозу в свой адрес.

— Вот что, — сказал Мурат, тщетно пытаясь сохранить серьезный вид. — Ступай к ней и объяснись.

Когда Леонид скрылся в кустарнике, Мурат от души рассмеялся.

— Все это было бы смешно, если не было бы грустно, — раздался вдруг веселый девичий голос.

Стоило мне обернуться, я тут же понял: это была Новелла. Именно такой рисовал ее Грач. Трудно было поверить, что Новелла недавно вернулась с маршрута. Ее изящные куртка и брюки были вычищены, красиво, даже элегантно сидели на худенькой фигурке. Из-под фетровой, с козырьком, шляпы черным пламенем выбивались волосы. Длинные изогнутые ресницы пушистыми пчелками то садились на глаза, то взлетали с них. На груди, словно гранатовый сок, на солнце горели темно-красные крупные бусы.

— Опять критика? — буркнул Мурат.

— Кто же виноват, что она не знает Есенина? — все таким же веселым тоном спросила Новелла. — Конечно мы.

Я пристально посмотрел на нее. Никогда в жизни не приходилось мне видеть таких глаз. Даже когда лицо ее становилось серьезным и задумчивым, в зеленых, как малахит, глазах не потухали искорки жизнерадостного смеха. Это было так необычно и так удивительно, что хотелось неотрывно смотреть в эти счастливые глаза.

— И когда это ты успела принарядиться? — недовольно спросил Борис.

— Я — женщина, — задорно ответила Новелла, лукаво взглянув на меня. — Пора бы уже и привыкнуть.

Мурат познакомил нас. Новелла сказала мне просто, будто давно знала меня:

— Граница всегда напоминает мне юность.

— Старуха! — хохотнул Мурат. — А юность — это, наверное, безусый мальчишка, возмнивший себя героем!

— Мурат, вы кудесник! Шахиншах Голубых гор! — обрадованно воскликнула Новелла.

— А где же мальчишка? — заинтересовался я.

— Уехал в пограничное училище, — ответила Новелла, и я не почувствовал в ее голосе грусти. — Мальчишки не всегда возвращаются домой. Даже если их ждут. Земля — слишком большая планета. Впрочем, — резко, но все так же бедово закончила она, — сегодня не вечер воспоминаний.

Говорила Новелла напевно и мелодично, слово читала стихи. На боку у нее висел маленький портативный приемник «Гауя». Длинным указательным пальцем она повернула рычажок. Послышалась музыка. Снова щелкнул рычажок, и все стихло.

— А какую песню я услышала в маршруте, — восхищенно сказала Новелла. — Это просто чудо.

— Ты выполняешь задание или расширяешь свой музыкальный кругозор? — насторожился Борис.

— Пойдемте, Мурат, — позвала Новелла. — Мне нужно доложить вам о проделанной работе. К тому же нас здесь не понимают.

Я долго смотрел ей вслед.

— Нравится? — перехватил мой взгляд Борис.

— Красивая, — признался я.

— Никогда не женись на девушке-геологе, — настоятельно предупредил меня Борис. — Это же все равно что взять в жены фронтовичку: огни, воды и медные трубы. В чем прелесть женщины? В ее женственности. А жизнь в геологических партиях огрубляет. Нужно уметь выючить лошадь. Часто спать в одной палатке с мужчинами. Слушать ругань и ругаться самой. И женщина становится мужчиной в юбке. Впрочем, спешу внести коррективы: даже юбку приходится забросить. И в итоге формируется женщина, способная грубить, хлестать спирт и рассказывать не совсем приличные анекдоты.

Я хотел тут же возразить ему, сославшись на Новеллу, но он продолжал:

— Пока не добьюсь поставленной цели — начхать мне на женитьбу. Это какой-нибудь лакировщик изобра-

зит на экране семейную идиллию в расчете на легковых, а сам каждый день дерется с женой и прячет от нее гонорар.

Меня коробило от этих слов. Самое неприятное было то, что в них, в этих словах, правда жизни как-то удивительно ловко сливалась с отрицанием этой же самой правды. Говоря плохо о каком-нибудь одном человеке, Борис незаметно переносил это плохое на других людей, и потому жизнь представлялась неустроенной, безрадостной, полной бессмысленных противоречий. А все мы — Мурат, Туманский, Ромка, Новелла, я, да и сам Борис — должны были принимать жизнь такой, какой она есть, спокойно, как бы со стороны смотреть и на хорошее и на плохое, потому что, сколько ни бейся, хорошего не прибавится, а плохого не будет.

— Нет, я не за то, чтобы быть равнодушным к добру и злу, — возразил Борис, когда я высказал ему свою точку зрения. — Вы что же, хотите сказать, что я циник? Нет, лейтенант, гол не в те ворота. Моя идея: пусть каждый сделает себя лучше.

Я промолчал и подумал о том, что все, о чем Борис говорил перед этим, не вязалось с его выводами.

Вернулся Мурат, и мы прервали наш разговор.

После ужина Мурат собрал, как он выразился, всю свою «заставу». Я рассказал собравшимся об обстановке на границе, о том, как порой нелегко разгадать хитроумные замыслы нарушителей и что мы, пограничники, возлагаем большие надежды на своих собратьев геологов, чьи тропы порой сходятся с нашими. Кажется, я говорил обо всем этом излишне красиво, но слушали меня внимательно. Время от времени я смотрел на Новеллу. В тихом лунном свете все так же радостно и весело горели ее глаза.

Но я думал не только о ней. Передо мной сидели человек пятнадцать — люди, сроднившиеся с теми самыми Голубыми горами, в которых затерялась и наша пограничная застава. У всех у них были, конечно же, свои дела и заботы, но было и то, что нас не просто объединяло, нет, роднило, превращало в единый сплав. Это было чувство негасимой любви к своей родной земле, которую каждый из нас готов был защитить от любого врага.

Командиром дружины единогласно избрали Новеллу. Голосуя вместе со всеми за ее избрание, я еще не знал, какие события в нашей жизни будут связаны с этой девушкой.

ОДИННАДЦАТЬ СТРАНИЧЕК ИЗ ДНЕВНИКА

Рассказывая о наших первых шагах на границе, я не могу удержаться от искушения открыть свой дневник, который начал вести еще в училище и продолжаю вести сейчас. Пусть это никого не пугает: я не собираюсь воспроизводить его целиком. В этом нет необходимости. Приведу лишь несколько страничек, потому что с их помощью, как мне думается, картина, которую я пытаюсь нарисовать, будет несколько полнее и ярче.

Страничка первая. «Молча смотрим с Ромкой на только что заполненные анкеты. Обидно: чуть ли не половина граф пуста. А что, собственно говоря, мы сделали за двадцать прожитых лет? Окончили десятилетку. Поступили в училище. Окончили. Все? Нет! Мы вступаем в партию. Это очень много. Очень! Вручая партийные билеты, секретарь парткома училища сказал:

— Носите честно.

Он говорил еще очень хорошие и теплые слова, но эти два врезались в память».

Страничка вторая. «У нас с Ромкой две крайности. Я никак не внушу себе, что уже не курсант, а лейтенант. Туманский говорит, что у меня проскальзывают элементы панибратства с подчиненными. Сказалось, видимо, то, что я все детство провел среди солдат на заставе. У Ромки — другое. В часы, свободные от занятий и службы, отсиживается в канцелярии. И вовсе не потому, что это вызывается необходимостью. Сам признался, что над ним, как это ни странно, довлеет сложное и непонятное чувство: хочется быть одному. Говорит, что это, мол, теория «дистанции». Иначе растворись в массе. Я спросил его: «А почему же не растворяется Туманский? Мы почти не видим его одного». Ромка усмехнулся. И вот его выручает канцелярия заставы: четыре стены, два окна, тишина, изредка звонки телефона и громкий голос дежурного в соседней комнате. Но совесть, совесть! Ведь она не молчит! Выходит, Ромка сам по себе, а люди сами по себе. Нельзя сказать, что он си-

дит в канцелярии и бездельничает. Работы вдоволь. Книга пограничной службы. Тетради учета. Конспекты. Но что стоит вся эта работа, если отгородился от людей, без которых невозможно решить ни одной, самой простой задачи?

Впрочем, не слишком ли пристрастно анализирую я работу Ромки и совершенно забываю о себе? А у меня тоже дела идут не ахти как.

Первые беседы с солдатами неутешительны. Настороженные взгляды одних, откровенные хитринки в глазах вторых, скрытая усмешка третьих. Люди разные, а отвечают одинаково коротко и односложно: «Так точно», «Никак нет», «Не знаю», «Есть». И чувствую, с нетерпением ждут разрешения уйти. Как же завоевать доверие? Как установить душевный контакт? Что сделать? Спорим по этим вопросам с Ромкой до одури. С мыслями об этом ложимся спать. С мыслями об этом поднимаемся, чтобы начать новый день.

Страничка третья. «Первое политзанятие. Ну, начнем с того, как ты появился в ленинской комнате. И представим себе, входит розовощекий крепыш в лейтенантских погонах и, приняв рапорт, открывает конспект и начинает говорить. А слушают ли его? Неизвестно. Скорее всего, нет. Скорее всего, изучают. Так почему же он не видит этих глаз — карих, голубых, зеленоватых, серых? Настороженных, приветливых, недоверчивых, равнодушных, удивленных?»

В конце — град вопросов. Большинство совсем не по теме: «Что такое диктатура пролетариата?» «Как действуют на космонавтов космические лучи?», «Что пишет Шолохов?» Потом поднимается рядовой Веревкин: «Товарищ лейтенант, а когда мне выдадут водительские права?» Ну, это уже слишком. Скажу прямо: если бы в училище валял дурака, попал бы впросак на первом же занятии. Это уж точно. А вообще-то, своим занятием недоволен. Правда, Демин сказал, что для начала неплохо. Ну, это он для поднятия духа!»

Страничка четвертая. «Ты очень неуравновешен, дорогой лейтенант. Можешь вспылить из-за пустяка, а потом ругать себя самыми последними словами. Туманский потребовал от нас на первых порах составлять личные планы работы. Я затеял с ним дискуссию. Зачем эти бумажки? Бюрократизм. Формализм. И что мы — дети?

Или наши планы войдут в один из томов всемирной истории? Планы должны быть в голове. А все-таки составляю, хотя и не признаюсь, что как-никак, а планы помогают работать. Ромка же любит планировать, и не дай бог, если что-либо нарушит хоть один из его пунктов!»

Страничка пятая. «Сегодня Грач проходил мимо курилки и случайно услышал разговор двух солдат:

— Ну как там наши мальчики?

— Лейтенанты? Как всегда. Один сидит в канцелярии. Думает.

— А второй?

— Беседует с Кузнечкиным. Подбирает ключи.

Когда Грач рассказал мне об этом, я еле устоял на ногах. Значит, мальчики! Проклятый возраст! На заставе есть солдаты старше нас.

Ну, если так, вы увидите, какие мы мальчики! Гайдар в шестнадцать лет командовал полком. А Олег Кошевой...

Рассказал об этом случае Ромке. Он усмехнулся и сказал:

— Народные массы указывают путь. Все. Долой затворничество.

А я уже не раз убеждался, что Ромка умеет держать свое слово».

Страничка шестая. «Бьюсь с Кузнечкиным. Побеседуешь — три дня золотой человек. На четвертый — все по-старому. Недавно заявил в открытую:

— А чего меня, собственно говоря, воспитывать? Каким был, таким и домой уеду.

— Нет, таким не уедете, — твердо сказал я.

И решил: никто никогда не уедет с заставы таким, каким был. Глаза каждого станут зорче, а сердце — горячее. И только так.

Вечером зашел в ленинскую комнату. Кузнечкин сидел, примостившись в углу. Как всегда, с книгой. И, как всегда — с приключенческой. На этот раз — «По тонкому льду».

Сел рядом с ним. Днем Кузнечкин снова сорвался. Пришел на стрельбище без строя, когда пограничники уже вели огонь. Я не сдержался, накричал на него. Доложил Туманскому. Тот сказал:

— Больше выдержки, лейтенант Костров. Побеседуй-

те с рядовым Кузнецкиным, доложите свои выводы и предложения.

Он всегда так. Не торопится. Любит, чтобы все было точно, ясно и определено.

И вот, кажется, удобный момент для беседы. Один на один. Но что я знаю о Кузнецкине? В «гражданке» он почти не работал. В девятом классе сидел два года. Срезался по математике. Запоем читает детективы. Хорошо поет. Любит музыку, но преимущественно джазовую. Жил в городе, жил неплохо. Все? Да, кажется, к сожалению, все.

— Интересная книга?

— Интересная, — неохотно отвечает Кузнецкин.

Худощавое лицо с острым носом печально, без улыбки. Такое с ним редко бывает. Обычно неудержимо весел, криклив, самоуверен.

— А Теремец читал?

— При чем тут Теремец? — усмехнулся Кузнецкин. — Что я ему, нанимался книги подбирать?

— А в тот раз, помните? Здорово получилось. Как вы его книгой заинтересовали.

— А, в тот раз, — обрадованно улыбается Кузнецкин. — Так то же эксперимент!

— Теремца уже потянуло к книге, — говорю я. — Значит, эксперимент был блестящий. Твоя ведь это работа, — незаметно для самого себя переходя на «ты», добавляю я.

— Так когда хорошо сделаешь, никто не замечает, — обидчиво говорит Кузнецкин. — А стоит один раз споткнуться...

— Да, Вережкин тебя здорово критиковал.

Это я напомнил ему о собрании, которое мы провели накоротке, прямо на стрельбище. Кузнецкин молчит.

— Прочувствовал? — не отстаю я.

— Нет, не прочувствовал.

Что это? Бравада? Или упрямство?

— Вережкин говорит...

Это, кажется, в цель. Видимо, я дойму его этим Вережкиным, которого самого критикуют чуть ли не на каждом собрании.

— Пусть на себя посмотрит, — зло говорит Кузнецкин. — Вережкин! Тоже мне, маяк!

А мне радостно: лед равнодушия сломлен.

— Кузнечкин чуть споткнулся — сразу на собрание, — все таким же обиженным тоном продолжает он. — Это правильно? А с Веревкиным все возятся. Это справедливо? Значит, на педагогику и психологию начинать? А кто будет учитывать характер солдата? Темперамент? Наклонности? Запросы и интересы? Между прочим, Макаренко ясно говорил: как можно больше справедливости к человеку.

— И как можно больше требовательности к нему, — напоминаю я те слова Макаренко, которые Кузнечкин опустил явно не без умысла.

— Это ясно, — Кузнечкин хмурит густые светлые брови и умолкает. И только после долгой паузы сокрушенно заканчивает: — Что говорить, все равно никто не поймет.

— Ну, зачем же так? — говорю я. — Может, кто-нибудь и поймет. Помнишь, шефы к нам приезжали? С фабрики коммунистического труда?

— Помню, — оживает Кузнечкин. — Еще Валерия там была. Такая хохотушка, с мальчишеской прической. А что?

— Да вот письмо прислали, — отвечаю я и начинаю читать: — «Фотографию, на которой мы сняты с вами вместе, получили. И пошла она из рук в руки. Одним словом, побывала у всех. В перерыве мы рассказали работникам о заставе, то есть о вас, наших подшефных. Нам здорово завидовали. Вы знаете, что во время поездки побывали мы и у ваших соседей. И все равно остались при своем неизменном мнении: наша застава лучше и ребята наши дружнее. Как видите, мы уже говорим: «наша застава», «наши ребята».

— Идейные, — ухмыляется Кузнечкин. — А сами небось женихов ищут.

Я злюсь. Встаю и иду к двери. Понимаю, что надо бы отхлестать Кузнечкина, отхлестать словами резкими, гневными и беспощадными, и — молчу. У двери оглядываюсь. Кузнечкин привстает с места, хочет что-то сказать, но не решается.

— Кстати, — неожиданно говорю я. — На заставе будет кружок художественной самодеятельности. Поможете организовать?

Все во мне протестует против тех слов, которые я произношу. Кого ты зовешь в помощники? Опомнись!

И в то же время чувствую — нельзя оттолкнуть от себя человека. Да, человека».

Страницка седьмая. «Кажется, я не ошибся. Кузнечкин старается изо всех сил. Помогает проводить репетиции. Одно из первых выступлений — в колхозном клубе. Это своего рода экзамен: в селе живет много бывших пограничников всех поколений. Закончив службу, они оседали в здешних местах. Так что сразу же заметят и плюсы и минусы нашего концерта. Ромка настроен скептически и вообще считает самодеятельность делом легкомысленным.

За день до выступления проверял службу нарядов. Кузнечкин вместе с напарником громко разговаривал, нарушил правила маскировки. Сделал ему замечание. Не понравилось. Народ в клубе собрался, а Кузнечкин: «Не буду выступать. Настроение испортили, петь не могу». Я сперва растерялся, потом сказал с равнодушным видом: «Ну что же, обойдемся». Кузнечкин прибежал в клуб за минуту до открытия занавеса. И спел. «Давай, космонавт, потихонечку трогай...» Кажется, впервые за все время он пел не залихватскую джазовую дребедень, а такую песню, от которой на глазах не очень-то сентиментальной Катерины Федоровны заблестели слезы».

Страницка восьмая. «Были в гостях у Туманского. Грач распалил его, и он начал рассказывать о том, как сам он начинал службу. Оказывается, он кончал то же училище, что и мы с Ромкой. Только совсем в другое время.

— Как начинал? Очень просто. Приехал в горы. А там почти сотню километров — верхом. В горах вперые. Посмотрю на вершину — голова кружится. Посмотрю вниз, в пропасть — результат тот же. Темный лес! Ну, думаю, попал. Да и граница была для меня открытием: в те времена никаких стажировок не было.

Спрашиваю, где же застава. А воң там, говорят, на верхотуре. Темный лес! Добрался, доложил начальнику, что прибыл. Молодец, говорит. Комнаты нет, располагайся в казарме. И вникай оперативно — я на чемодане сижу. В отпуск, браток, пора.

И пошло. Со страшным скрипом. Пограничники были на заставе опытные. Зубры! Стеснялся: теорию знал будь здоров, а с практикой...

В первый же день чуть не сорвался в пропасть. Солдат подпруги связал, конец вовремя кинул. А то бы моя должность стала вакантной. В другой раз увидел группу неизвестных, поднял заставу в ружье. Докладываю коменданту участка: «Разрешите открыть огонь?» Тот проверил: «Ты что, с ума спятил? Они же на своей территории!» Потом чуть шпионку не отпустил, поверил ей на слово. Темный лес!

Зимой приехала Катерина. Тоже добиралась верхом. В снег падала, измучилась. Ну, это длинная песня.

Впервые мы видели Туманского таким разговорчивым. И стало легче на душе: не только нам трудно начинать!»

Страничка девятая. «Да, мы с Ромкой все-таки совершенно разные люди. Ромка точен, как алгебраическая формула. Как бином Ньютона. А я вечно получаю неприятности из-за своей проклятой рассеянности. Вчера оставался за Туманского. Вернувшись с границы, он спросил меня:

— Физзарядку провели?

— Нет.

— Почему?

— Приводили в порядок казарму.

— Ага, — Туманский наклонил круглую голову, словно не расслышал моего ответа, и, помолчав, добавил: — А распорядок дня?

И больше — ни слова. Он не ворчит, не донимает «моральями», не грозит наказать. Просто молчит. Молчу и я. Чувствую, как полыхают щеки. И все же молчу. Никаких клятв. Никаких заверений. Но в душе я уже обругал себя самыми последними словами. Ромка ни за что бы не забыл про распорядок дня!»

Страничка десятая. «Во дворе заставы растут тополя. Тополя как тополя. Но Грач недавно рассказывал нам, что когда-то на заставу приезжал председатель знаменитого колхоза, бывший пограничник, Герой Социалистического Труда. Подошел к одному тополю, крепко, как старого друга, обнял его и сказал:

— Я посадил.

А посадил он деревцо в тридцатые годы. Значит, тополя — ровесники заставы».

Страничка одиннадцатая. «Показал свой дневник Ромке. Весь, даже те строки, что писались еще в учи-

лице. Возвращая дневник, Ромка сказал: «Писатель!» Я так и не понял, хвалит он меня или осуждает. Ромка добавил: «Больше самокритики, юноша!» Значит, советует продолжать. Ромка, Ромка, а ведь кроме тебя я никому больше не смог бы дать прочитать свой дневник. Никому!»

Пожалуй, хватит. Все-таки, дневник — это своего рода калейдоскоп. Калейдоскоп событий, фактов, имен. Им не заменишь живого непосредственного рассказа о нашей жизни. Но я почему-то уверен, что эти одиннадцать страничек помогут узнать нас лучше. А мы сами сможем посмотреть на себя как бы со стороны. Чтобы идти вперед, надо анализировать то, что уже пройдено.

МЫ ВТОРГАЕМСЯ В МИР ГРАЧА

Меня и Ромку всегда удивляло, как рождаются книги. Живет себе где-то человек, которого не знаем ни мы, ни наши друзья, которого, вероятно, никогда и нигде не придется увидеть. Но этот человек описал историю чьей-то жизни или чьих-то жизней, прочитав которую каждый из нас узнает и себя, и тех, кто идут рядом с ним, и тех, кого он еще увидит. И пусть никто из нас не думает о человеке, написавшем эту книгу. В конце концов это не удивительно: герои, которых он создал, затмили его самого. Но то, что мы живем мечтами его героев, сверяем свои поступки с их поступками, радуемся их успехам и страдаем, когда они попадают в беду, — не есть ли это самое удивительное чудо, сотворенное человеком?

Грач был первым писателем, которого мы с Ромкой увидели настолько близко, что иногда даже забывали, что он писатель. Чаще всего он был для нас хорошим старшим товарищем, советчиком, человеком самобытного склада ума и не менее самобытного характера. Признаться, Грач не совпадал с тем обликом писателя, который сложился в нашем воображении. Мы думали, что Грач будет набрасываться на всех с вопросами, бегать, суетиться, боясь, что до своего отъезда с заставы не успеет сделать всего, что задумал. Мы предполагали, что он будет подслушивать наши разговоры, то и дело выхватывать из кармана блокнот или же читать на память длинные отрывки из своих романов и повестей.

А Грач ходил спокойно, погруженный в свои думы, и тихо, смущенно улыбался. Или же с ходу вступал в жаркую полемику. Еще больше удивились мы, когда узнали, что, живя на заставе, он пишет повесть не о пограничниках, а о войне.

Мы очень любили слушать рассказы Грача о его мечтах и надеждах. Жаль только, что они, эти рассказы, были до обидного лаконичны и обрывались так же внезапно, как и начинались.

Грач однажды признался нам, что очень любит редкие минуты одиночества. В такие минуты никто не вспугивает мыслей о хороших людях, о счастье, о ненаписанных книгах. Грач был убежден, что стоит лишь захотеть — и на листе бумаги появятся слова, ощутимые на вкус, полные солнца. Родится целый кусок чистой, как лесной дождь, лирической прозы. По словам Грача, в ней будут слышаться умиротворенные отзвуки дальних громов, голоса эха в разбуженном на зорьке лесу, растерянный посвист одинокой птицы. И вся книга будет полна музыки, ошеломляющих находок и тихого человеческого счастья.

Больше всего нас удивляло и радовало в Граче то, что он мыслил совсем иначе, чем мы. Его слова всегда были неожиданны. В разгар беседы или спора он мог вдруг рассказать интересный случай, как говорится, совсем «из другой оперы», и в то же время какими-то невидимыми путями связанный с тем, о чем говорилось до этого.

В один из жарких дней на заставу с поручением от Мурата приехал Борис. Он договорился с Туманским о ремонте рации, а потом всех нас затащил к себе Грач и взволнованно сказал, что хочет прочитать нам только что законченную главу. Мы знали, что он пишет ночами в небольшой комнатушке, которую отвел ему для работы Туманский. Когда бы я ни приходил с границы, его окошко было освещено.

Грач никогда не говорил нам о своих творческих планах, но были такие дни, когда он зазывал меня и Ромку к себе. Украдкой, чтобы никто не видел, проводил в свою комнатку и совал в руки несколько отпечатанных на машинке листков. Пока мы читали, он нервно и возбужденно поглядывал на нас, видимо стараясь определить по нашим лицам, нравится ли нам то,

что он написал. Наверное, это ему удавалось, потому что он ни разу не спросил даже коротко: «Ну как?» Иногда он поспешно отбирал у нас рукопись, не дав дочитать до конца, не объяснив причину своих странных действий.

— Талант — это проклятие, — сердито ворчал Грач. — Флобер вставал среди ночи и плелся к письменному столу, чтобы заменить одно слово другим. Одно слово! Оно не давало ему спать. А я сплю. Совершенно спокойно. Даже если целая глава похожа на старый заплесневелый сухарь. Какой я, к черту, писатель!

И вот он решил устроить нечто вроде коллективной читки. Мы не знали ни содержания предыдущих глав, ни героев его произведения. И все же то, что он прочитал в этот раз, врезалось мне в память. Я даже могу повторить слово в слово концовку этой главы. Вот она:

«Ты звала меня на помощь, но я уже не мог услышать твой голос: я был убит.

Я был убит не в бою, не в жаркой схватке, а в тот момент, когда выскочил из окопа, чтобы передать нашему фронтовому почтальону письмо для тебя.

И когда строчка автоматной очереди загорелась у меня перед глазами синим огнем, я подумал, что, где бы ты ни жила: в большом суматошном городе или в крохотном поселке, в тайге, стонущей от стужи, или в степях, где рождаются ветры, на земле наших отцов или на земле любого из пяти континентов, — я разыщу тебя, как только получу право покинуть солдатский строй. Как только потухнут в глазах синие огни...

Я еще не осознал, что падаю, неудержимо падаю на мокрую неласковую землю, чтобы больше никогда не встать.

Обидно было то, что я упал лицом вниз и, кажется, выронил письмо.

И в последний миг я подумал о том, что каждый человек, испытавший такое же чувство любви, какое испытал я, не может сказать, что прожил жизнь напрасно. Ибо он узнал, что такое счастье. Непреходящее, вечное как мир, счастье любви».

Да, я запомнил финал этой главы, похожий на стихотворение в прозе. Меня восхищало то, что вот человек погибал, а думал о жизни, о счастье, о любви. Не каждому это дано.

Грач закончил читать и отвернулся к окну, словно забыв о нашем присутствии.

— Раздумья о будущем в момент смерти? — будто самого себя спросил Борис. — Бодрятина какая-то. Что-то не так.

— А ты видел ее? — насмешливо спросил Ромка.

— Кого?

— Смерть.

— Война не дождалась, пока я приду в окоп, — с иронией сказал Борис, открыто и беззлобно посмотрев на Ромку. — Кажется, в этом отношении мы с тобой, лейтенант, очень схожи. Но и в мирные дни можно встретиться со смертью. И геологи и пограничники это хорошо знают. Но у человека в жизни бывают трагедии почище смерти.

— Какие же? — оживился Грач.

— Я уже рассказывал лейтенанту Кострову.

— Ну, ну, — Грач вцепился в Бориса нетерпеливым, ждущим ответа взглядом.

— Трагедия — в унижении, — спокойно сказал Борис, стойко выдержав взгляд Грача. — Вам приходилось испытывать? Нет? А мне приходилось. В период культа.

— Трагедия не в этом, — запальчиво сказал Грач. — Мне говорили: ты винтик! И я радовался. Даже гордился. Мне говорили: рядом с тобой враг народа. И я верил. Вот в чем трагедия.

— Это было проклятое время! — воскликнул Борис. Глаза его сверкали злостью, щеки горели.

— Я слышал топот тяжелых сапог по лестнице, — негромко продолжал Грач, будто Борис вовсе и не произносил ни одного слова. — Шум отъезжающей машины. Плач женщины. Мертвую тишину до следующей ночи. И снова шум машины. И крик ребенка.

— Да! — обрадованно сказал Борис, будто давно и безнадежно ждал именно этих слов Грача. — Все так и было!

— И был Днепрогэс, — произнес Грач так проникновенно и горячо, что Ромка вздрогнул. — И первая колхозная борозда. И Комсомольск-на-Амуре. И любовь. И радостный смех. И песни, с которыми мы шли в бой.

Борис ссутулился, растерянно разглядывая Грача, словно увидел перед собой совсем другого человека.

— Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего, — продолжал Грач. — Для того чтобы взлететь, нужна стартовая площадка. Кто сказал, что наши довоенные годы — сплошная цепь ошибок? Нет, наше утро не было хмурым и мрачным. Тучи? Были! Ветры? Тоже были! Но солнце! Солнце Ильича согревало наши души. Мы боролись, мы строили и побеждали.

— Все это ясно, — перебил Борис.

— Если это — в сердце, — уточнил Грач.

— И все-таки среди людей вашего поколения было немало таких, которые запросто мирились с подлостью, — упрямо сказал Борис.

— Да, почему вы молчали? — вдруг заговорил Ромка. — Смотрели в замочную скважину? Из-за занавески? И радовались, что топот сапог — мимо? — Ромка, волнуясь и спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, забросал Грача вопросами.

— Дети — борцы, отцы — приспособленцы, — подхватил Борис.

Туманский, до этого, казалось, безучастно листавший какой-то журнал, вскочил со стула и пошел к двери. Никогда я еще не видел его таким гневным. Лицо словно окаменело, и на нем, чудилось, какой-то невидимый скульптор молниеносно высек упрямую глубокую складку, прочертившую вертикально весь лоб. У двери он приостановился, обжег Бориса возмущенным взглядом и твердо, раздельно, чуть ли не по слогам сказал:

— Вы меряете жизнь со дня своего рождения. А нужно — с двадцать пятого октября семнадцатого года!

И, не ожидая ответа, вышел, резко хлопнув дверью. Мы притихли.

— Ты спрашивал, молчал ли я, — после томительной паузы спросил Грач Ромку и подсел поближе к нему. — Да, молчал, — Грач безуспешно пытался привести в порядок непокорные, падавшие на лоб волосы. — И верил: в нашей стране зря не арестуют.

— Какой же вы писатель? — приглушенно спросил Ромка. — Неужели вы своей душой не чувствовали, что допускался произвол, несправедливость? Почему же молчало ваше сердце?

Борис закивал головой, поддерживая Ромку и одобряя его.

— Сердце? — тихо переспросил Грач. В его голосе не слышалось ни одной нотки оправдания, он говорил спокойно и искренне. — Сердце не молчало. Оно говорило лишь одно слово: люблю. Свою Родину. До последнего вздоха. Как свою мать. Ты хорошо знаешь, как мы ее любили. И как защищали. И если бы арестовали меня и пришел мой смертный час, то последними моими словами были бы слова: Родина, партия, народ.

Грач остановился, словно ожидая новых вопросов Ромки, но тот молчал.

— И никакой культ личности не в силах был поколебать эту любовь.

— Любовь к Родине — это чудесно, — заговорил Борис. — Но к чему этой любовью оправдывать именно то, что вы решили оправдать? А может, вы, именно вы, писатель Грач, видели, как в «черного ворона» сажали моего отца? И радовались, что обезврежен еще один так называемый враг народа.

— Дело тут не во мне, — сказал Грач. — Ты вправе думать о Граче все что угодно. Тем более что подлецы были и раньше, встречаются они еще и сейчас. Но кто клеветает на старшее поколение, тот клеветает на самого себя. Потому что лучшее в детях — от их отцов.

— Знакомый метод дискуссии, — криво усмехнулся Борис. — Сейчас вы скажете, что я лью воду на мельницу империалистов. И что пою с чужого голоса. Да я за свою страну...

— Зачем же ты передергиваешь? — перебил его Ромка. — Ты же прекрасно понимаешь, о чем идет речь!

Борис все так же кисло улыбался, и я заметил, что даже такая улыбка, похожая на гримасу, не смогла исказить его красивого самоуверенного лица.

— Трое против одного, — развел он руками. Я почувствовал, что он хочет все перевести в шутку. — Хорошо еще, что лейтенант Ежиков немного поддержал. А то бы все против меня.

— Мы не против тебя, — улыбнулся Грач. — Мы за тебя.

Он так подчеркнул это «за», что каждому стал понятен смысл сказанного: мы хотим, чтобы ты стал нашим единомышленником.

— Спасибо, но я разделяю все, что вы здесь говорили, — искренним тоном сказал Борис. — А острые во-

просы — это хворост для яркого костра. Иначе какая же может быть дискуссия. А так мы познали истину. И вторых, посмотрели, умеете ли вы доказывать свою правоту. Оказывается умеете, и блестяще.

Борис жадно выпил стакан воды с клюквенным экстрактом и сказал, что ему пора ехать.

Так и закончился этот разговор. Возможно, мы продолжили бы его, но приближался боевой расчет. Перед отъездом Борис отвел Ромку в сторону, и они минут двадцать о чем-то говорили. Проводив Бориса, Ромка был молчалив, бледен, возбужден, а когда я попытался его развеселить, неожиданно спросил:

— Славка, скажи, ты был близок с девушкой? Ну, совсем близок?

— Нет, — признался я. — К чему это ты?

— Да так. Один друг рассказывал. Девушка сама к нему пришла. И осталась у него. На ночь.

— Врет он, этот твой друг.

— А может, и не врёт.

— Ну, если не врёт, значит, девчонка такая. Распущенная. Водятся и такие.

— В том-то и дело, что не распущенная.

— А что же? Характер добрый?

— Она сказала: «Все равно атомные грибы сделают из нас уродов. Или из наших детей. К чему же все эти условности? Все гораздо проще». Скажи, полюбил бы ты такую?

— Нет. А о ком это ты?

— Ну, к примеру, полюбил. И узнал, что она встречается с другим. Ты все равно любил бы ее?

— Ты что, сумасшедший? Да она сгорела бы от моей ненависти.

— А ты любил уже?

— Как тебе сказать. Нравились мне девчата. Ну, Лилька Тимонина, например. Еще в восьмом классе.

— Да нет, по-настоящему. Как Грач.

— Откуда ты взял, что Грач любил?

— Здорово живешь! Он же сам сегодня об этом читал.

— Ты думаешь, он о себе?

— Аксиома.

— Нет, как Грач, наверное, еще не любил. А ты?

— Не знаю, — смущенно ответил Ромка.

— А что ты думаешь о Борисе?

— Он называет себя реалистом, — ответил Ромка. — Говорит, что не витает в облаках и держится за грешную землю.

— Пошел он со своим реализмом, — рассердился я. — Послушаешь его, так жизнь противной становится. И верить никому не хочется.

— Все это так, — тряхнул кудлатой головой Ромка. — Только одни слова еще ничего не говорят. А бывает, что они — своего рода щит. Мой бог — практика.

Ромка замолчал, взял полевую сумку и ушел проводить занятия по тактике. Вернулся он часа через два, густо покрытый белесой солончаковой пылью. Сбросив с себя гимнастерку, он долго возился с сапогами и отправился умываться. Потом в одних трусах улегся на койку, блаженно потянулся и сказал восхищенно:

— А Туманский каков! Железная логика. Просто не ожидал. Говорит, с двадцать пятого октября семнадцатого года. Аксиома! Вот припаял так припаял!

ЕЩЕ ТРИ СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

Кажется, я нарушаю обещание оставить в покое свой дневник. Тем более что всякий дневник, конечно, не предназначен для всеобщего обозрения. И все же я не могу не привести еще три странички. Еще три — и ни одной больше. Одиннадцать я уже приводил, значит, это будет —

Страничка двенадцатая. «Тревога на заставе! Если ты минуту назад настраивался на «домашнюю волну», или уплетал в столовой наваристые щи, или мечтал о встрече с любимой, — сейчас, когда прозвучал сигнал тревоги, все забыто, все отброшено в сторону, не существует ничего — ни солнца, ни горных обвалов, ни дум о жизни в «гражданке», — ничего! Ничего, кроме стремления задержать нарушителя. Ничего, кроме стремления выполнить свой долг, простой и суровый, трудный и радостный долг пограничника. Пока не задержан нарушитель, пока звучит сигнал тревоги, пока не установится на заставе недолговечная тишина, похожая на предгрозовое затишье, никто: ни генерал, ни офицер, ни сержант, ни солдат, ни дружинник, — никто не сомкнет глаз, не успокоится, не оставит места в боевом строю...

Первый поиск! Самый первый... Вот тут-то и вспомнишь училище. Да что училище! Там мы все были героями. Не очень-то ценили минуты. Порой запросто меняли самоподготовку на кино. Упражнялись в острологии, вместо того чтобы лишний раз проштудировать очередную тему. Хватались за животы от хохота, когда ежедневно, перед отбоем, наш взводный остряк Сеня Черепкович вставал во весь рост на свою койку и громогласно возвещал:

— Слушайте, люди, и не говорите, что вы не слышали! До выпуска осталось четыреста двенадцать компотов и две тысячи сто шестьдесят метров селедки!

Нет, сейчас, когда я возглавил свой первый, настоящий, а не учебный поиск, Сеня Черепкович не смог бы меня рассмешить. Мне было не до смеха. И не до количества компотов. Два десятка километров в южной ночи, коварно спрятавшей тропку, скалы, ручьи, кусты. Каждый знает, что такое километр. Одна тысяча метров, десять тысяч сантиметров, сто тысяч... Да, каждый знает это. Но что километр километру рознь — не каждый. По здешним местам два десятка можно принять за полсотни. С камня на камень. Со скалы на скалу. С вершины в ущелье. Из ущелья на кручу. Когда каждый неверный шаг может стоить жизни. Когда вдруг возненавидишь и горы, и ночь, и реку, и самого себя. Возненавидишь, чтобы после того, как успешно выполнишь боевой приказ, полюбить жизнь с еще большей силой, полюбить безраздельно и горячо...

В жизни множество трудных профессий. Кто скажет, что легко геологу, который, как поется в песне, «солнцу и ветру брат»? Или шахтеру, трудяге подземного царства? Или конструктору, чей мозг не знает покоя?

И все же на одно из первых мест по трудности и сложности я бы поставил профессию пограничника. Во-все не потому, что я сам пограничник. И не потому, что наша служба необычна, сурова, а наши будни часто схожи с фронтовыми. А потому, что воин границы несет на своих плечах ответственность государственного масштаба. Это нужно почувствовать самому. И нигде с такой силой, так рельефно, отчетливо и предельно ясно не чувствуешь это, как в пограничном поиске. Когда именно от тебя, от твоих товарищей по оружию зависит, пройдет враг в твой родной советский дом или не прой-

дет. Когда ты в ответе не только перед начальником заставы, не только перед генералом и даже не только перед начальником пограничных войск, а перед великим государством, имя которому — Советский Союз!

Я не стану рассказывать о том, как измотал меня физически и морально первый поиск. Как я готов был горланить песни, когда находил потерянный след нарушителя, и вопить от отчаяния, когда, казалось, лазутчик ускользнул из наших рук. Как сорвался со скалы и катился по зубчатому каменистому склону, случайно зацепился за растущее над ущельем дерево. Как жадно припал к ручью и благодарил его за то, что он вернул меня к жизни, и проклинал этот же ручей, когда свалился в него и набрал полные сапоги воды. Как докладывал Туманскому о выполнении приказа и старался, чтобы не дрожала рука, приложенная к козырьку зеленой фуражки...

Я не буду рассказывать обо всем этом. И дело тут вовсе не в том, что я ленюсь или экономлю бумагу. Просто все это очень знакомо, особенно тем, кто любит читать приключенческие книги. В них обычно о поиске и задержании нарушителей рассказывается подробно, увлекательно, хотя подчас и не совсем грамотно в профессиональном смысле. Это уже другой вопрос. Во всяком случае, всякий, кому хочется увидеть картину погони пограничника с собакой за нарушителем, может с успехом увидеть это в любом кинофильме из жизни границы. Нет, я не собираюсь иронизировать, пограничная служба немыслима без погонь, поисков, задержаний, без схваток, порой вооруженных, с нарушителями. Вся проблема в том, как все это показать».

Страничка тринадцатая. «На противоположном берегу реки мирно дремлет старый, дряхлый хребет. На него будто из огромного самосвала сыпанули множество крупных дымчатых камней. Кажется, что хребет безучастен ко всему: и к людям, и к ветрам, и к солнцу. Но проложены через него невидимые тропки, по которым крадутся к границе незваные гости. И потому застава зорко и неусыпно смотрит на него с высокого бугра. Внизу, в котловине, — приграничное село. Пронсясь над селом, ветры обрушиваются на заставу.

Пограничники первыми встречают минуты, в которые, словно сговорившись, гаснут звезды. Вот и сегодня, за-

долго до рассвета, Туманский, Ромка и я поехали на левый фланг. В эти дни чабаны готовятся гнать свои отары на высокогорные пастбища. Очень важно встретиться с ними, потолковать.

Как ни трудны скалистые тропы, чувствуется, что Туманский любит горы. Да и мы уже к ним, кажется, равнодушны. Не удивительно: когда человек близок к этим гордым и неприступным вершинам, он забывает о мелочах жизни, чувствует себя смелым и счастливым.

Спешиваемся у юрты. Навстречу спешит чабан с реденькой седой бородкой. Он приветливо улыбается словно прокопченным лицом. Думается: прикоснись такими прокаленными щеками хоть к самому солнцу — не обожжешься.

Туманский не спешит заводить разговор. Поспешность, а тем более суетливость считается здесь признаком, не заслуживающим уважения. Мы заходим в юрту. Пожилая молчаливая хозяйка стелет на кошму нарядный коврик — для желанных гостей.

— А знаешь, зачем кошма? — наклоняется к моему уху Ромка и, не ожидая ответа, шепчет: — От змей и скорпионов. Они кошму не переносят.

Ну и дьявол, настоящая энциклопедия. Можно подумать, что он всю жизнь прожил в этих местах. Хотя я ему и не всегда верю: уж очень любит пофантазировать.

Туманский наконец начинает говорить. Как здоровье семьи? Каков настриг шерсти? Скоро ли погонят отару наверх? А уж потом — что сделать, чтобы еще лучше помогать заставе охранять границу.

Мы слушаем, наматываем на ус. В юрте прохладно, даже не верится, что она способна так хорошо противостоять жаре. Мы пьем горячий чай из пиал, вкусный и ароматный зеленый чай. Ромка замечает в юрте батарейный радиоприемник «Родина». Чабан — его фамилия Байменов — просит Туманского прислать связиста отремонтировать приемник, подключить новые батареи. Без радио жить нельзя — как узнаешь, что делается на белом свете? Туманский обещает помочь. Потом он проверяет связь: отсюда можно в любое время связаться с заставой. Все в порядке. Последние напутствия — и снова в дорогу.

Каждая такая встреча — хорошая школа для нас. Нужно уметь находить с людьми общий язык, знать обычаи местных жителей. Байменов — настоящий пограничник,

хоть и чабан. И сына, Кадыржана, воспитал таким же зорким. Совсем недавно, незадолго до нашего приезда, этот парнишка четырнадцать часов вел наблюдение за подозрительными незнакомцами, задержал их и привел на заставу. Доложил по-военному, как полагается. Отец гордится: на груди сына медаль «За отличие в охране государственной границы СССР». Почетная медаль!

А солнце все припекает. Мы поднимаемся один за одним по крутой, хитро виляющей тропке, и кажется, что, если на скалы, которые нависают над нами с обеих сторон, плеснуть водой из ручья, они зашипят, как раскаленное железо.

Наверху, на обширном плато, где вокруг приземистых колючих кустиков торчат острые щетинки рыжевато-й травы, сбилась в кучу отара овец. Они сонно и добродушно тычутся друг в друга головами, стараясь укрыться от палящего солнца. Наиболее находчивые и расторопные овцы дремлют в тени огромных валунов. Чабана не видно: вероятно, он тоже спасается от жары.

Неожиданно отчаянный, полный ужаса крик ребенка нарушил тишину. Откуда-то прямо из отары, расталкивая неповоротливых овец, выскочила девочка лет десяти, наверное, дочь чабана. Широкий цветастый халатик парусом вздулся у нее на спине. Черная косичка беспомощно барахталась за спиной. Девочка не переставала кричать. Босая, испуганная, она стремительно мчалась к нам по колючей траве.

Мы спешили и устремились ей навстречу. Ромка первый подхватил девочку на руки. В ее узеньких, как щелочки, глазах притаился ужас. Она что-то прокричала на своем языке, показывая на ногу. Нагнувшись к ней, мы увидели ниже колена ярко-красную точку.

— Кажется, каракурт, — сказал Туманский. — Черный паук!

Ромка опустил девочку на землю и, выхватив из кармана бренок коробок спичек, приложил одну спичку головкой к ранке, а второй поджег. Девочка коротко вскрикнула, синяя выпышка тут же растаяла в ослепительном солнечном свете.

— Вот и порядок, — сказал Ромка и девочка притихла, удивленно и доверчиво разглядывая его. — Укус обезврежен. Аксиома.

— Это дочка чабана Байменова, — сказал Туман-

ский. — Надо отвезти ее в юрту, связаться с заставой и вызвать врача.

— Укус обезврежен, — упрямо повторил Ромка.

Он сел на коня, я помог усадить в седло девочку.

Вечером, на обратном пути, мы заехали в юрту. Девочка чувствовала себя нормально. Врача вызывать не пришлось. Хозяева без усталости благодарили нас.

— И как это ты догадался? — спросил я у Ромки, когда мы возвращались на заставу.

— У одного профессора вычитал, — ответил Ромка. — Еще в училище. Как чувствовал, что в этих краях придется служить. Но тут важно не упустить время. Решали две-три минуты.

— Молодец, — не оборачиваясь к нам, сказал Туманский. Сказал будто выстрелил.

Слово «молодец», как я был убежден, Туманский проносил не чаще одного раза в месяц и то в связи с самыми выдающимися событиями. Оно, это слово, ценилось примерно так же, как медаль. Я откровенно позавидовал Ромке. Впрочем, мы всегда завидовали друг другу. Но это была хорошая зависть.

— Кстати, — сказал Ромка немного погодя, — это замечательный профессор. Честное слово. Он ничего не высасывает из пальца. Практик. Всю жизнь провел в горах и пустынях. Вот скажи, например, как в степи найти воду? Ну где бы ты стал бурить скважину?

— Не знаю, — откровенно признался я.

— А он знает, — оживленно продолжал Ромка, все еще не оправившийся от неожиданной похвалы Туманского. — Там, где живет муравей-жнец. А живет он только в тех местах, где неглубоко есть вода. В своих подземных кладовых муравьи размачивают зерна перед тем, как их схарчить. Логично? Вгрызайся в землю там, где живут эти высокообразованные муравьи, — будешь с водой. Аксиома!

Здорово, — не то восхищенно, не то с удивлением сказал Туманский, осадив коня. — А книга этого профессора у вас есть?

— Есть, — ответил Ромка, — я вам ее вечером принесу.

Мы остановились у ручья напоить коней. В долине было чудесно. Темно-зеленые ели, чудом державшиеся на

скале, заглядывали в звеневшую среди камней воду. Яркая мозаика обнаженных пород радугой играла на солнце.

Туманский пригоршнями пил холодную воду и смотрел вокруг с таким видом, будто сам создал эту красоту. И вдруг негромко произнес:

Эх ты, сердце мое,
Чем встревожено?
Видно, ты для тревог
В грудь положено.

Мы притихли. Неторопливо взнуздывая коней, мы ждали, что Туманский прочтет еще. Но он замолчал, казалось испугавшись внезапно нахлынувших на него чувств.

— Здорово, — не выдержал Ромка.

— «Здорово», — сердито передразнил Туманский. — За такие строки поэту нужно кланяться в ноги. И носить на руках. В данном случае — Александра Прокофьева. Согласны, лейтенант Ежиков?

— Аксиома! — гаркнул Ромка и ткнул меня кулаком в бок: смотри, мол, каков сухарь!

И я обрадовался тоже. Еще бы: кажется, Туманский начинает «открывать» Ромку, а Ромка — Туманского!»

Страничка четырнадцатая. «Из штаба отряда пришло задание по тактике. Его нужно было выполнить в сжатые сроки: предстояли офицерские сборы. Туманский предупредил нас, что ударить лицом в грязь нельзя, и определил время для подготовки. Для нас с Ромкой, разумеется, это задание особой сложности не представляло — еще были свежи в памяти знания, полученные в училище.

Но Ромка взялся за работу с большой охотой. Дело в том, что один из разделов задания предусматривал расчеты, связанные с применением атомного оружия, определением степени радиоактивной зараженности местности после атомного удара по противнику. А для этого требовалось хорошее знание математики.

— Помог бы Туманскому, — сказал я Ромке.

— Навязываться не буду, — заупрямился он.

Но получилось так, что начальник заставы сам обратился к Ромке, спросив, какие данные получились у него в итоге. Оказалось, что между результатами Туманского и результатами Ромки есть расхождения. Ромка засел с капитаном на целый вечер за топографические карты и

чертежи. Он весь горел, когда рассказывал Туманскому ход решения и разъяснял наиболее эффективный способ определения необходимых данных.

— А это что за формула? — спросил Туманский. — Такой в учебнике нет.

— Да это... — смущенно начал Ромка, — в общем, я тут упростил одну формулу. Быстрее получается. И проще.

Туманский посмотрел на Ромку. Колющие глаза его потеплели.

— Ну, ну, — одобрительно пробурчал он. — Высшая математика?

И вдруг захохотал задорно и раскатисто. Ромка оторопело посмотрел на него и тоже захмыкал. Вволю насмеявшись, они снова принялись за работу. Ромка с еще большим подъемом продолжал орудовать карандашом.

Надо сказать, что в Ромкиной голове всегда рождались какие-нибудь идеи. То он предлагал на каменистом грунте насыпать цветную глину, чтобы хорошо был виден след нарушителя не только на служебной полосе, но и за ее пределами. То сочинял хитроумные летучки, рассчитанные на пограничную смекалку. То хватался за конструирование прибора, который, по его словам, дал бы возможность начальнику заставы, не выходя из собственной квартиры, знать, где, когда и каким способом нарушена граница.

С одними его предложениями Туманский тут же соглашался, другие отвергал, третьи откровенно высмеивал. Но однажды я услышал, как он, рассказывая Грачу о новой идее Ромки, заявил:

— Башковитый парень. Дитя века. Далеко пойдет. Темный лес!

Я порадовался за Ромку и спросил себя: «Ну, а ты-то? Далеко пойдешь?»

Очень хочется — далеко!»

Вот и все, что я записал на трех страничках своего дневника.

ПЕСНЯ ГОРНОЙ РЕКИ

Мы — горные реки! Веселые и неукротимые, сумасбродные и нежные, строптивые и покорные горные реки! Светло-синие и ясные, как девичьи глаза, когда без усталости светит солнце, мутные и грязные в дождь и непогоду, мы

весело и гордо боремся с валунами и скалами, смело низвергаем с вершин свои воды, навсегда покидая породнившие нас горы. Мы жаждем открытий, мы устремляемся в неизведанные края. Люди ждут нас, завидуют нашей силе, любят нашу красоту. Им хочется учиться у нас мужеству и беспокойству, непримиримости и терпению. Так пожелайте же нам большой и хорошей судьбы, люди!..

Нет, наверное, вовсе не эти слова слышались Теремцу, когда он много раз ходил дозором по берегу горной реки, когда отмерял километр за километром с фланга на фланг. И тем более не эти слова слышались сейчас, когда река не на шутку взбесилась после многодневных дождей. Песня ее звучала яростно и гневно.

В наряд Рогалев и Теремец выехали под вечер на конях. Черно-синие тучи плотно укутали мокрые хребты гор. Вокруг было как-то особенно пустынно, будто граница проходила по самому краю земли над огромной бездонной пропастью, скрытой сизым туманом. Теремец смотрел на пенистую осатанелую реку и думал, что хорошо бы здесь, в этих местах построить электростанцию, а на том берегу построить рабочий поселок, вечерами вместе со степенными, работающими девушками ходить в кино, говорить о работе, о жизни, радоваться ярким электрическим огням.

Вместе с Теремцом в наряд должен был отправиться Кузнечкин, но незадолго до выхода на границу произошел случай, о котором на заставе долго говорили, да иногда вспоминают и до сих пор.

После боевого расчета Ромка высылал наряды. Перед тем как отдать приказ, придирчиво проверял оружие, экипировку, спрашивал о самочувствии. Все шло нормально, и, наверное, так же нормально прошли бы еще одни пограничные сутки, если бы в ответ на вопрос Ромки о самочувствии Кузнечкин не сказал, что он сегодня не выспался.

— Что? — удивленно переспросил Ромка.

— Не выспался, — не моргнув глазом, снова повторил Кузнечкин.

— Почему?

— Слушал симфоническую музыку, — съязвил Кузнечкин.

— Сколько часов спали? — ледяным голосом спросил Ромка.

— А я не считал. Вероятно, восемь.

— Мало?

— Мало, — сокрушенно откликнулся Кузнечкин. — Чего доброго, задремлю в наряде.

Ромка опешил. Щеки его словно лизнуло пламя костра. Но он напряг всю свою волю и, как он потом признавался, неожиданно для самого себя и тем более для Кузнечкина очень спокойно сказал:

— Можете идти, рядовой Кузнечкин.

— Куда? — не понял тот.

— Вы свободны. Я отстраняю вас от службы в пограничных нарядах на трое суток.

Кузнечкин ухмыльнулся и оторопело уставился на Ромку. Лицо его говорило: «Разыгрываете, товарищ лейтенант! Приберегите свои шуточки до первого апреля!» Но Ромка был серьезен, и, чем больше удивлялся и недоумевал Кузнечкин, тем спокойнее и невозмутимее становился Ромка. Он словно забыл о существовании Кузнечкина и приказал дежурному подготовить в наряд Теремца.

Кузнечкин потоптался на месте и, поняв, что лейтенант не шутит, снова ухмыльнулся, вздернул плечами: «Ну что же, вы командир, вам виднее, посылать или не посылать меня в наряд». И секунду спустя, не очень четко повернувшись кругом, вышел из дежурной комнаты.

Буквально через десять минут об этом небывалом эпизоде узнала вся застава. Каждый отнесся к случившемуся по-своему. Веревкин, например, высказался абсолютно ясно и категорично:

— Шуку бросили в реку! Равноценно!

— Пророк! — горячо возразил ему ефрейтор Жаровин. — Человека от труда отстранили, понял?

— А чего тут не понять? — возразил Веревкин. — От сна еще никто не умирал.

Большинство же солдат взяло Кузнечкина под перекрестный обстрел. Неприятности для него начались уже во время ужина. Орехадзе, подменявший в этот вечер повара, вручил Кузнечкину тройную порцию жареной рыбы с картофельным пюре, высунул голову из окош-

ка, соединявшего кухню со столовой, и, озорно посверкивая черными, как антрацит, глазами, говорил:

— Кушай, дорогой, поправляйся ради бога. Норму выполнишь — бери добавку, пожалуйста. Приходи на кухню — гостем будешь. Вино пить будем, шашлык кушать будем, лезгинку плясать будем!

Вначале Кузнецкин держался стойко, ел с аппетитом, успевая отстреливаться от заставских остряков. Но из столовой он уходил с насупленными бровями: и у железных людей есть нервы. До самого отбоя Кузнецкин где-то скрывался, не желая, видимо, быть мишенью для новых острот. Выждав, пока улягутся все, кто не ушли в наряд, он тихонько пробрался к своей койке. Кажется, порядок. Все забыли о нем, дрыхнут, можно спокойно отдохнуть. Но едва Кузнецкин разделся и лег на койку, как к нему потянулись услужливые руки.

— Петенька, возьми еще одну подушку. Помягче будет...

— И одеяло. Чтобы теплее. К утру из окошка ветерок.

Кузнецкин зло огрызнулся в ответ, но еще долго ему не давали уснуть.

— Я даже не думал, что у нас такие остряки, — удивлялся Рогалев, рассказывая мне об этой истории. — Откуда что взялось!

Утром Кузнецкин еле дождался прихода Туманского и попросился на личную беседу.

Туманский уже все знал: Ромка доложил ему о своем решении. И в ответ на настойчивые просьбы Кузнецкина назначить его в самый ответственный наряд, коротко сказал:

— Не могу. Лейтенант Ежиков отстранил вас на трое суток. С охраной границы шутить нельзя.

А Ромку немного позже, когда Кузнецкин ушел, спросил:

— Эксперимент?

— Аксиома, — насторожился Ромка, приготовившись к обороне. — Разве правильно наказывать трудом? Что ему, наряд вне очереди объявить? Так отбывать этот наряд на границу я его послать не могу. Значит, куда? На кухню? На конюшню? Или полы мыть? А как же с воспитанием любви к труду? Выходит, картошку чистить — работа второго сорта.

— Много вопросов, — спокойно выслушав его, сказал Туманский. — Очень много вопросов, лейтенант Ежигов. Всякое новшество...

— Да это не новшество, — обиделся Ромка. — Это же...

— Знаю, — перебил его Туманский. — Из опыта Макаренко?

Ромка обрадованно кивнул головой:

— Применительно к условиям заставы.

Туманский улыбнулся краешком обветренных губ, и Ромка сразу воспрянул духом.

— А вообще-то, лейтенант Ежигов, при коммунизме отстранение от труда будет самым страшным наказанием.

Вот какой произошел случай на нашей заставе. Но как бы то ни было, из-за всего этого Кузнечкин не пошел в наряд вместе с Рогалевым. Вместо него был назначен Теремец.

...Они медленно ехали друг за другом в синей мгле — впереди Рогалев, за ним, метрах в тридцати, Теремец. Река бесновалась, бушевала, и, казалось, все: и вершины гор, и лесные массивы внизу, и птицы, — все притаилось, спряталось, чтобы не слышать ее гневного гула, не видеть, как она осатанело набрасывается на скалистые берега.

Когда Теремца вызвал дежурный и приказал ему собираться в наряд, он не удивился и не посетовал на то, что выбор пал именно на него, а не на кого-то другого. Все, что было связано с трудом, не только не отпугивало его, а, наоборот, привлекало. В пограничном наряде в нем просыпалось чувство хозяина. Он любил самостоятельность, любил, когда ему доверяли трудное дело, с которым не каждый может справиться, любил и поработать так, чтобы после мускулы сладко ныли, и поест так, чтобы хмельно было в голове.

Вообще-то Теремца тянуло больше всего к делам сухо гражданским. Он охотно колот дрова, ездил за водой, копался в огороде, мастерил сигнальные приборы, трамбовал станки в конюшне. Зато всегда искал повод для того, чтобы отвертеться от тактики или огневой подготовки. А если уж не удавалось освободиться от занятий, он и тут старался выполнить какую-нибудь работу:

сколотить щит для мишени, распилить бревна для наката, вырыть окоп.

Каким-то особым чутьем Теремец распознавал тех, кто не любил перенапрягать себя, кто старался отсидеться в сторонке за счет товарищей. Он органически не переносил лодырей и хвастунов.

Как-то на занятиях по тактике нужно было вырыть траншею в каменистом грунте. Крепкий, физически развитый Теремец без усталости таскал камни, мастерски орудовал ломом и киркой. Кузнечкин неторопливо копался в земле лопатой. Теремец обратился к Туманскому:

— Товарищ капитан, прошу зачислить Кузнечкина в наше отделение.

— Зачем?

— Чтобы ему служба медом не казалась.

И Туманский зачислил. Кузнечкину тут же всучили лом, потом заставили таскать камни. Специально не делали перекура, пока Кузнечкин не взмолился:

— Вы что, на учете у психиатра? Куда гоните? Думаете от атомной в такой траншее спрятаться? Чепуха! Главное — вовремя лечь пятками в сторону взрыва. Неужели до сих пор не ясно?

— Значит, по-твоему, выход один? — нахмурился Теремец. — Как в том анекдоте: накрывайся простыней и тихо ползи на кладбище, чтобы не создавать паники. Так, что ли?

— Примерно, — петушился Кузнечкин.

— От всякого оружия есть средство защиты, — веско сказал Рогалев.

— Такие, как Кузнечкин, и танков боялись, — ввернул Веревкин. — Думали, что нужно простыней накрываться.

— Ну, черт с вами, — рассердился Кузнечкин. — Мне тоже противоатомная защита необходима. Без вас знаю, что поражаемость в траншее будет меньше. И коэффициент знаю. Только ты, — повернулся он к Веревкину, — потише на поворотах. И прошу, хороший ты мой, такими словами не разбрасываться. На такие слова отвечают, знаешь чем? Еще неизвестно, кто вперед простыней накроется.

Тут вмешался Рогалев и утихомирил Кузнечкина и Веревкина, уже готовых было перейти на язык кулаков.

— Самое главное, — повеселел Кузнечкин, — пробле-

ма долголетия. А если так вкалывать — откинешь копыта в сторону раньше запланированного. В период наивысшего расцвета.

— Не загнешься, — с ледяной лаской успокоил его Теремец. — Помни слова лейтенанта Ежикова: труд создал человека. Значит, и тебя в том числе.

— Да это не Ежикова слова, — похвастался своей осведомленностью Кузнечкин. — Спите на политзанятиях, рядовой Теремец. Это же Маркс сказал.

— Тем более, — обрадовался Теремец и объявил, что перекур закончен.

Да, Теремец не только сам находил радость в труде, но и других старался побудить к труду. Поэтому и теперь, неласковым пасмурным вечером, когда Кузнечкину страсть как не хотелось идти в наряд, Теремец без всякого уныния ехал вслед за Рогалевым, внимательно и зорко смотрел вокруг.

На противоположном берегу в мгlistом тумане едва просматривалось село — хаотическое нагромождение безглазых плоскокрыших домишек, стогов почерневшего сена, конусообразных штабелей кизяка. Старые абрикосовые деревья разбросали в тумане свои черные скрюченные ветви. В жаркие дни село беззаботно и равнодушно лежит на солнцепеке, словно бросая вызов нестерпимой жаре. А сейчас оно притаилось и будто дрожит от сырости, от страха перед крутым нравом Голубых гор.

Цоканье копыт, особенно отчетливое и звонкое в погожие дни, теперь было приглушенным, гулким и тревожным. Ночь обещала быть беззвездной и мрачной. Где-то в ущелье с тупым упрямством лаял шакал.

Великое дело — двое в наряде! Пусть нельзя ехать бок о бок, пусть нельзя разговаривать, пусть нельзя прикурить друг у друга, — локоть товарища всегда рядом и чувство товарищества всегда в сердце.

Вполне возможно, что ни Рогалев, ни Теремец не думали об этом, когда медленно ехали вдоль берега реки. И тем более они не могли предвидеть, что ждет их впереди.

Рогалев остановил коня неподалеку от притока реки. В сухие солнечные дни, когда в горах не выпадают дожди, приток безобиден и кроток. Он мирно журчит в своем каменистом ложе и, лишь породнившись с рекой, об-

ретае силу. Но после дождей приток становился бешеным, словно радовался тому, что мог проявить свою удачу и доказать, что он вовсе не слабее реки, в которую вынужден впадать по воле случая.

И кто знает, не произойди того, что произошло, Рогалев и Теремец, сделав добрый крюк, обогнули бы этот зловерный приток и продолжили бы свой путь до самого стыка.

И слушали бы неумолчную песню горной реки...

КАПИТАН ТУМАНСКИЙ СТАНОВИТСЯ МАЙОРОМ

Именно в тот самый вечер, когда Рогалев и Теремец отправились в наряд, у капитана Туманского было превосходное настроение. Еще засветло ему позвонил начальник отряда и, как всегда, перемешивая русские слова с украинскими, горячо поздравил с присвоением воинского звания «майор».

— Ты чуешь, Туманский, як мы работаем? — весело шутил Доценко. — Выдаем звания не абы как, а в день рождения! Дуй теперь до горы, аж до самого маршала! И передай трубку капитану Демину.

И действительно, совпало так, что приказ о присвоении звания пришел в день, когда Туманскому исполнилось тридцать пять лет. Это совпадение придавало событию оттенок исключительности и необычности.

Нигде, пожалуй, с такой стремительностью не разносятся новости, как на заставе. Туманский еще не успел передать трубку Демину, как рыжий Веревкин, сияя, точно подсолнух в полдень, успел уже шепнуть о новости кому-то из солдат, заглянувших в дежурную комнату. Вскоре о звонке из отряда знали все пограничники, разве что за исключением тех, кто был в наряде. Больше того, словно сговорившись, один за другим Туманского поздравили сосед справа и сосед слева — начальники соседних застав, причем каждый из них не забывал напомнить, что, по русскому обычаю, звездочки положено обмывать, иначе присохнут намертво и очередного звания не видать как своих ушей. А чуть позже в трубке раздался властный голос Катерины Федоровны:

— Ты что это, дружок, со мной в прятки играешь? Все сороки уже знают, что ты майор, а боевая подруга до сих пор капитанша? Никаких оправданий не прини-

маю. Погоны подготовила. Илью запрягла: стол накрывает. Пусть проветрит мозги после своих романов. Не задерживайся, товарищ майор. И приводи своих птенцов.

Капитан Демин, получив инструктаж от Доценко, попросил Ромку выстроить заставу, а старшину послал к Катерине Федоровне за погонами.

Мы с Ромкой горячо поздравляли Туманского. Мы знали, что ему не очень-то везло со званиями. Получалось так: то «потолок» в должности «не пускал», то вдруг продлевали сроки прохождения службы. И теперь, когда, наконец, желанный приказ пришел на заставу, все восприняли его с радостью.

Ромка выстроил заставу. Тот, кто служил или служит в армии, знает, что один строй отличается от другого, точно так же как отличаются друг от друга люди. Строй бывает суровым и настороженным, безмолвным и напряженным, словно перед броском в атаку. Бывает гневным, беспощадным, если перед ним стоит человек, запятнавший честь воинского коллектива. А бывает и веселым, приподнятым, жизнерадостным, если ждет похвалу, шутку командира или радостное сообщение о победе — в бою, на границе, в соревновании.

Таким вот жизнерадостным и был строй заставы, когда он готовился услышать приказ о присвоении Туманскому звания майора. Вообще-то к тому моменту, когда Ромка звонко подал привычную команду «Становись!», вряд ли нашелся на заставе хотя бы один человек, который не знал бы об этом событии. И все же каждому хотелось, чтобы во взволнованной тишине отчетливо и торжественно прозвучали слова приказа, чтобы можно было посмотреть в сияющее лицо начальника заставы и мысленно поздравить его.

И вот эта минута настала. Демин читал приказ, и все смотрели на Туманского. Он стоял перед строем спокойно и буднично, словно все, что читал Демин, имело отношение не только к нему, но и ко всей заставе. Все такое же суровое и строгое лицо, все такой же требовательный и острый взгляд колючих глаз.

И все же я был уверен, что сейчас сердце его стучит учащенно, и только усилием воли он сдерживает нахлынувшее чувство. Наверное, в его памяти возникли годы, которые пронеслись с того дня, когда он стал капитаном, крутые ступеньки жизни, которые преодолевают лишь

сильные духом. А может, он думал о том, что вместе с новым званием лягут на его плечи и новые заботы?

А мне вспомнилось мое детство и день, в который отец принес домой книжку в простом переплете. Книжка называлась знакомым словом «Устав». Я с любопытством листал ее странички. Почти в самом конце перечислялись воинские звания офицеров.

— Папа, — сказал я, — вот здорово: сначала «младший лейтенант», потом «лейтенант», потом «старший лейтенант», «капитан», а вот уже и «майор». Как быстро!

— Да, — усмехнулся отец, — очень быстро, Славка!

Тогда, конечно, я не почувствовал иронии в его словах. А сейчас я думал о том, что годы, которые отделяют одно звание от другого — это не увеселительная прогулка, это сотни километров дозорных троп, горечь неудач и радость побед, новые морщинки на лбу, неожиданные открытия, судьбы людей.

Капитан Демин закончил читать, подошел к Туманскому и крепко пожал ему руку. Туманский четко произнес:

— Служу Советскому Союзу!

Затем Ромка, как и положено, должен был подать команду «Разойдись». Но он не успел этого сделать. Вопреки требованиям устава, строй, будто по мановению руки какого-то волшебника, рассыпался, и пограничники вмиг окружили Туманского.

И вот он уже взлетел под самый потолок, подхваченный десятками крепких рук, оглушенный радостным гулом молодых отчаянных парней.

— Испытаем мы когда-нибудь такое? — шепнул я Ромке.

— Это — признание, — ответил он.

Признание! Разве легко заслужить его, например, поэту? Для этого нужно, чтобы его стихи передавались из уст в уста, стали спутником человека на любых поворотах его жизни. А конструктору? Признание придет к нему, если, к примеру, его самолет побьет рекорд высоты или скорости. Но разве легче добиться признания офицеру границы, признания от тех самых людей, которых вверил ему народ и которых он должен сделать надежными защитниками родной земли? Нет, не легче!

Туманский стоял среди своих солдат, своих боевых товарищей, смущенный, растерянный, не ожидавший, что они так бурно выразят свои чувства, воспримут его радость как свою собственную. Веселые искры теперь, наверное, помимо его воли, плясали в его глазах. И в этот момент я почему-то подумал о том, что буду служить только на этой заставе, служить так, чтобы Туманский хотя бы один раз сказал мне: «молодец».

Занятый своими мыслями, я даже не заметил, как Туманского отозвал к телефону дежурный. И потому как выстрел, как взрыв прозвучало для меня резкое и неумолимое:

— Застава, в ружье!

Через минуту все знали, что тревожную весть передал на заставу сержант Рогалев.

...Песня горной реки прервалась в тот самый миг, когда Рогалев и Теремец увидели, как неподалеку от них, на противоположном берегу притока, с крутого обрыва сорвался кусок скалы, увлекая за собой целый водопад мелких камней.

Рогалев условным сигналом подозвал к себе Теремца. Тот подъехал вплотную. Тихо звякнули, стукнувшись друг о друга, стремена. Кони стояли не шелохнувшись, лишь сторожко поводили ушами.

Камни, падающие с отвесной скалы в горах, — явление обычное. Но каждый раз, а тем более в тихую, безветренную погоду их гул вызывает у пограничников немой вопрос: почему? Любой путник, вероятно, увидев, как падают камни, задумается. Что это? Случайность? Проказы дождей и ветров? Или со скалы на скалу скакнул горный козел?

У пограничника же самым первым вопросом, самым первым предположением неизменно будет: нарушитель?

Рогалев и Теремец взглянули друг на друга, не проронив ни одного слова. И все же обоим был отлично понятен смысл этого короткого взгляда: нужно немедленно выяснить, кто нарушил покой скалы. В объезд — далеко. В такой обстановке каждая секунда равноценна часу. Значит, через приток? Но сейчас это очень рискованно. Значит, рисковать жизнью? Да, потому что иного выхода нет. Потому, что ты — пограничник.

Рогалев чуть-чуть отдал повод, и конь тут же двинулся вперед, к спуску. Главное сейчас — бесшумно и не-

приметно для тех глаз, которые, возможно, пристально наблюдают за нарядом с противоположной стороны, переправиться через приток и внезапно проверить подозрительный участок.

Когда смотришь на полноводную горную реку с берега, неизменно поражаешься ее силой, стремительностью и упорством. Но испытать по-настоящему эту силу можно лишь в том случае, если сам побываешь в ее объятиях.

Конь Рогалева приблизился к бушевавшему притоку и замер на берегу, упрямо встряхивая головой, явно не желая идти в пенистую клокочущую воду. С большим трудом Рогалеву удалось заставить его отважиться. Вначале конь шел в воде осторожно, то и дело воротил голову назад, как бы надеясь, что всадник раздумает переправляться через вздувшуюся черными бурунами реку. Но Рогалев продолжал настойчиво понукать его, и он, вдруг отчаявшись, с какой-то злой удаley пошел под косым углом наперерез течению, грудью разрезая тяжелую воду.

Вслед за Рогалевым в реку въехал Теремец. Кони спотыкались о камни, скрытые под водой, то попадали в ямы, то снова выбирались на мель, нервно трясли гривами, негромко пофыркивали, ощутив на мягких чутких губах холодные брызги воды.

Теремец видел, как конь, на котором ехал Рогалев, неожиданно оступился и сразу же очутился на глубине. Ноги Рогалева погрузились в воду почти до самых колен. Упругий поток с размаху бил в коня, будто старался во что бы то ни стало сбить его с ног. Рогалев пытался повернуть коня, чтобы поскорее выбраться с глубокого места, но тот уже устал и слабо противостоял силе течения.

Теремец взял левее. Нужно обойти яму и в то же время быть недалеко от напарника: мало ли что может случиться. Если конь выбьется из сил, его понесет вместе со всадником, а из реки, в которую впадает приток, сейчас не выбраться...

Теремец поспешал не зря. На середине течение начало сбивать коня. Рогалев тут же полностью отдал повод, сполз с седла и, схватившись за гриву, поплыл рядом с конем. Бурные волны захлестывали его, времена-

ми накрывали с головой, крутили, собираясь швырнуть на торчавшие возле берега острые камни.

Известно, что горные реки не дружат с теплом. Дети ледников, они даже в самые жаркие дни, когда скалы, кажется, вот-вот раскалятся докрасна, остаются пронзительно-холодными. Вряд ли кому захочется забраться в такую воду по доброй воле. Но Теремец не раздумывал: надо было спасти товарища.

Теремцу повезло: конь его инстинктивно нашел наиболее мелкое место и выбрался на берег. Не медля ни одной секунды, Теремец спешил и бросился в реку. Вот он уже по колено в воде, по пояс, по грудь. Кажется, конь совсем близко, он старается держать над водой беспомощную голову, смотрит жалобными глазами. Теремец не решается идти глубже: если поток собьет с ног — все пропадет, самого нужно будет спасать. Рогалев показался из воды, что-то крикнул ему, но ошалело гудящий поток тут же поглотил его слова.

Наконец, Теремец изловчился, стремительно схватил коня за узду, рванул на себя, едва не опрокинувшись в воду. Этот рывок сильных, знающих труд рук, решил все. Теремец сделал шаг к берегу и почувствовал, к своему счастью, большой плоский валун под ногами. Не выпуская из рук уздечки, он взобрался на него, напрягся всем телом и радостно вскрикнул: конь торопливо и возбужденно выходил из глубины на мель.

И только сейчас почувствовал Теремец, как холодная вода ледяным объятием сжала все его тело.

— Я сам, — услышал Теремец задышающийся, сдавленный голос Рогалева. — Действуй.

Теремец молча кивнул головой. Все ясно: Рогалев не хочет терять времени, и без того уже немало потеряно. Хорошо, теперь, когда товарищ в безопасности, Теремец готов действовать!

Мокрый, отяжелевший, он взобрался на коня и пустил его рысью по тропке, начинавшей исчезать в темноте.

Вскоре он был возле самой скалы, откуда сорвались в ущелье злосчастные камни. Держа автомат наготове, забыв о неприятном ощущении, которое испытывал от того, что мокрое обмундирование облегалo все его тело и холод пронизывал до костей, Теремец обогнул скалу, напряженно вглядываясь в каждый закоулок. Казалось,

все было спокойно. Редкий туман лениво лизал мокрые скалы. Быстро темнело. Позади гремела река.

Теремец поднимался все выше и выше. Он проехал, вероятно, не меньше трехсот метров, как вдруг впереди него, по склону горы стремительно метнулась из валунов какая-то тень. Кажется, человек!

— Стой! Стрелять буду! — воскликнул Теремец, не узнав своего голоса.

В ответ послышался хруст мелких камней. Сомнений не оставалось: это не просто человек! Человек, не подчиняющийся окрику пограничника, может иметь лишь одно-единственное название: нарушитель!

Теремец пружинисто вымахнул из седла: на коне дальше не проехать. Нарушитель скрылся из виду, но было абсолютно ясно, что он продолжает бежать: камни хрустели все так же отчетливо и упрямо.

Нет, по такой тропке за ним не угнаться. Значит, остается одно: стрелять на звук. Теремец прислушался и в тот момент, когда снова раздался хруст камней, вскинул автомат. Хлесткая очередь перепуганным эхом заметалась среди скал. Но стоило эху смолкнуть, как Теремец услышал знакомый звук. Камни хрустели! Сердце его обожгло холодом. Он рванулся вперед, но тотчас же упал, с размаху налетев на невидимую в темноте скалу. Тихо застонал...

А в это время Рогалев, включившись в розетку и доложив дежурному по заставе о нарушении границы, спешил ему на помощь.

...Когда Туманский, отдав все необходимые распоряжения, сел в «газик», чтобы вместе с поисковой группой отправиться на место происшествия, Ромка сказал мне:

— День рождения...

На плечах Туманского все еще были капитанские погоны.

ВЕРТОЛЕТ НАД ГРАНИЦЕЙ

Бывает, человек живет многие месяцы и даже годы, но в его жизни не происходит ничего особенного. Будни сменяются буднями. Они, эти будни, могут быть веселыми или грустными, радостными или горькими, но среди них не вспыхнет ни одного яркого драматического события. А бывает и так, что в какие-то минуты, секун-

ды, может быть, мгновения, человек вдруг испытывает такое, чего иной не испытает за всю свою жизнь. И тогда с особой ясностью и точностью становится видна его физическая и моральная крепость.

Эти мысли высказал мне Грач, когда мы узнали о нарушении границы и о том, что произошло в лагере геологов.

Все происходило, наверное, не так, как должно было произойти. Впрочем, мы все мастера оценивать события после того, как они свершились.

Но от фактов никуда не уйдешь, они — вещь хитрющая и чрезвычайно упрямая. Цепляясь друг за друга то ли по воле случая, то ли по воле людей, они иногда задают человеку такого перцу, что запоминаются на всю жизнь.

В самом деле, если бы не оступился в реке конь Рогалева, если бы Теремец был отличным стрелком и, стреляя на звук, запросто мог поразить цель, то, конечно же, не потребовалось бы разворачивать поиск нарушителя в большом и труднодоступном горном районе, не пришлось бы Ромке лететь в вертолете, а Катерине Федоровне сидеть одной за праздничным столом и волноваться о муже.

Вполне возможно, что Рогалев настиг бы нарушителя, не дав ему уйти далеко, но Теремец разбил об острые камни ногу, и надо было оказать ему первую помощь. Хотя Теремец и настаивал на том, чтобы Рогалев не возился с ним, тот стащил с него сапог, перевязал мокрым бинтом ногу и решительно заявил:

— Прекрати разговоры. И не забывай, кто из нас старший наряда.

— Толя, — злясь на самого себя, говорил Теремец, — все правильно, Толя. Так мне, недоноску, и надо...

А когда подоспевшие пограничники хотели перенести его в машину, стоявшую в ущелье, Теремец выругался так, как еще никогда не ругался.

— А ну давай в поиск, — приказным тоном заявил он, приподнявшись на локте. — Нечего в тылу околачиваться.

Его пытались уложить на носилки силой, но он четко, раздельно и уже совершенно спокойно сказал:

— Вот что. Меня не трожьте. Я без него, гада, на заставу не ворочусь.

Теремца оставили в покое. А на рассвете он, перевозимая боль, включился в поиск.

Утром на заставу приехал Доценко. Громоздкий и неуклюжий, он был неутомим, бодр и энергичен. Глядя на него, нельзя было допустить и мысли о том, что поиск может пройти неуспешно. В район поиска по его указанию вышли две добровольные народные дружины. О происшествии сообщили геологам, и Мурат сказал, что немедленно прекратит все работы, чтобы помочь заставе. Мне Доценко приказал возглавить резерв, прибывший из отряда. Кроме того, он вызвал вертолет и отправил Ромку вместе с экипажем.

Вертолет вылетел без промедления. Отправляясь в полет, Ромка даже и не предполагал, что совсем скоро он посмотрит на свою жизнь и на жизнь многих других людей совершенно по-новому.

Несмотря на происшествие, Ромка был в отличнейшем расположении духа. Он радовался тому, что выполняет серьезное задание, что стоит ясная, безоблачная погода, что пилот вертолета, веселый и простецкий парень, ничем не подчеркивает своего превосходства над «пехотинцем» Ромкой. А главное, Ромка был уверен, что нарушителю не уйти. Если уж нарушители не уходили в те годы, когда начинал свою службу Туманский и когда приходилось рассчитывать лишь на доброго коня и безотказный карабин, то теперь, когда на помощь пограничникам пришли и автомашины, и совершенные приборы, и даже вертолет, им не удастся уйти и вовсе.

Ромка сидел рядом с пилотом и неотрывно смотрел вниз. Отсюда, сверху, Голубые горы не казались такими величественными и гордыми, как обычно. Они словно присели, вросли в землю, и даже маленькие ленивые облака, привыкшие отдыхать на их вершинах, не подчеркивали сейчас их высоту и неприступность.

И все-таки горы и отсюда поражали своей красотой. Голубые, таинственные дымки ущелий, игривые серебрястые змейки ручьев, темно-зеленые гущи зарослей, живые клубочки овец на склонах, обращенных к реке, — все манило и звало к себе, порождало радостное и светлое чувство. Ромке временами хотелось петь, высунуться из вертолета и заорать во всю глотку, заорать весело и бесшабашно, чтобы кто-то, такой же веселый и молодой, откликнулся со склона горы и приветливо махнул

руками, пожелав зеленой стрекозе-вертолету удачи и попутного ветра.

Вертолет сердито урчал, злился, будто был недоволен тем, что ему не дают возможности сесть на землю и отдохнуть в этих чудесных горах, принуждают напрягать все свои силы, держаться и плыть в просторном и скучном небе.

Худой высокий штурман, которому маленькая кабина вертолета была явно не по росту, сосредоточенно работал с картой, разложив на коленях раскрытую планшетку, быстро заносил в блокнот колонки цифр. Время от времени он поправлял рукой массивные наушники и сообщал пилоту курс, скорость, ветер, снос, высоту полета. Штурман и пилот были, вероятно, людьми совершенно противоположного характера. Штурман все время хмурился, а с добродушного лица пилота, казалось, ни на одну секунду не сходит тихая мечтательная улыбка. Оба они были в темно-синих брюках навывпуск и в зеленых сорочках с отложными воротниками и короткими рукавами, и, если бы не погоны и не фуражки с кокардой, можно было подумать, что они вовсе не военные люди. Особенно в сопоставлении с Ромкой, который был в полевом обмундировании. Наглухо затянутый ремнями, с пистолетом в массивной деревянной кобуре, он выглядел воинственно и сурово.

Вертолет лег на заданный курс и начал снижаться, чтобы лучше было вести наблюдение. Но едва он успел повиснуть над островерхими вершинами горных елей, как штурман принял распоряжение из штаба отряда.

— Приказано лететь к геологам, — сказал он в переговорное устройство. — Взять на борт пострадавшего.

Пилот посмотрел на Ромку. Круглое упитанное лицо его чуть посерьезнело. Ромка понял его немой вопрос и поспешно кивнул головой: приказ есть приказ.

Вертолет развернулся и набрал высоту. Качка немного уменьшилась. Горы еще упрямее прижались к земле.

Впоследствии Ромка рассказывал мне о том, что пережил в то время. Пострадавший человек! Ромка перестал напевать песню, радоваться тому, что забрался высоко в небеса. В самом деле, если штаб идет даже на то, что временно снимает вертолет с поиска, значит, дело серьезное, значит, пострадавшему человеку очень худо и, возможно, дело касается его жизни и смерти.

Ромка ни разу не бывал у геологов и, как мне казалось, даже радовался тому, что ему не выпадает случая отправиться к ним. Тем более, что дружину геологов Туманский закрепил за мной. Поэтому Ромка знал о людях геологической партии лишь по моим рассказам да по рассказам Грача. И вообще у меня сложилось впечатление, что эти рассказы его не очень волнуют.

На самом же деле все обстояло далеко не так. Но об этом я узнал значительно позже.

Ромка с нетерпением поглядывал на пилота, продолжавшего спокойно улыбаться, и на штурмана, словно притянутого магнитом к своей карте, и на стрелки приборов, которые дрожали все так же мерно и уверенно и для которых, казалось, каждое деление шкалы дается с громадным усилием. Ромка злился на вертолет, обзывал его тихоходом и черепахой, хотя совсем недавно восхищался трудолюбием этой неприхотливой машины, способной опуститься чуть ли не на крышу кибитки.

Солнце уже катилось к закату, время от времени его сильные лучи врываются в кабину вертолета, воспаляя стекла приборов и металлические части управления, метались по штурманской карте, еще более сияющим делали неунывающее лицо пилота. Но Ромку теперь бесило и солнце, и трескотня мотора, и даже подчеркнутая невозмутимость штурмана. Казалось, все это мешало поспеть в лагерь геологов вовремя, спасти попавшего в беду человека.

К тому времени, о котором идет речь, временный лагерь геологов перекочевал в высокогорный район. Собственно говоря, если взять карту и соединить линейкой заставу и лагерь, то получалось, как говорится, всего ничего. Но добираться туда было нелегко, и мог выручить только вертолет.

В душе у Ромки кипело и бурлило, но все же он не переставал с профессиональной зоркостью вести наблюдение за всем, что проплывало далеко внизу, в узорчатых складках Голубых гор.

Оказалось, что он вел наблюдение не напрасно. Вертолет пролетал над лесом, укрывшим пологие склоны хребта, когда Ромка на одной из крохотных полянок заметил человека в коричневой куртке. Заслышав стрекотание вертолета, человек поспешно и, как показалось Ромке, трусливо скрылся в густой чаще. Спрашивается,

если у человека чиста совесть, зачем ему прятаться от вертолета? Напротив, он даже из простого любопытства будет наблюдать за ним, задрав голову кверху.

Позже Ромка признался мне, что в тот миг в его душе столкнулись два чувства. Может быть, продолжать полет? Может быть, там, внизу, на полянке, никого и не было? Может быть, просто показалось? Продолжать полет — значит, больше гарантии, что они вовремя придут на помощь пострадавшему человеку. Тем более, что есть приказ. Тем более, что, возможно, пострадавшим человеком был человек, которого Ромка...

Впрочем, все по порядку. Продолжать полет! — говорил себе Ромка. А если тот, на крохотной полянке, — разрушитель? Нет, он, Ромка, не может обмануть самого себя, не может сделать вид, будто ничего не произошло. Потому что не существует ничего выше, чем чувство долга. Надо идти на посадку. Надо проверить. Пусть они немного задержатся — зато будет выполнено то, ради чего они служат на границе.

Все это росчерком молнии пронеслось в Ромкиной голове. Два чувства, совершенно противоположные, непримиримые чувства, исключающие друг друга, еще боролись между собой, а Ромка уже сообщил пилоту и о своих подозрениях, и о своем решении, и пилот уже вел вертолет на посадку. И вот уже злая струя воздуха, отбрасываемая несущими лопастями, рвет траву, раздвигает кустарник.

Вертолет выбрал себе удобную поляну, неторопливо сел, слегка клюнув носом. Еще не смолк двигатель, еще лопасти продолжали со свистом вращаться, а Ромка уже выскочил из кабины и устремился к пожилому бородатому человеку в коричневой куртке.

Человек не стремился удрать. Он приветливо улыбнулся и протянул Ромке руки.

Это был местный лесник, активный дружинник.

РУБИНОВЫЕ ОГОНЬКИ БАРБАРИСА

На рассвете Новелла вышла в маршрут. Это был один из самых сложных и опасных маршрутов, но он пролегал, как выражаются геологи, по участку, перспективному в смысле обнаружения ценных рудопроявлений, и Новелла давно рвалась разведать его. До поры до

времени Мурат шуточками и прибаутками отбивал ее настойчивые атаки. Он понимал, что без предварительной разведки маршрута кем-нибудь из мужчин посылать в этот район Новеллу нельзя. Вообще-то, как впоследствии рассказывал Мурат, он сам намеревался провести рекогносцировку, но другие неотложные дела настолько закрутили его, что он не смог осуществить своего замысла. Именно поэтому, а также по той причине, что другие геологи вели поиск на своих, уже в какой-то степени изученных и освоенных участках, выбор пал на Бориса. Мурат попросил его разведать маршрут без лишнего шума, чтобы об этом не узнала Новелла. Не надо, чтобы она восприняла это как опеку. Иначе ее хорошее настроение мгновенно улетучится. А ведь геолог работоспособен и неутомим лишь тогда, когда у него поет душа, когда он одержим жаждой первооткрывателя.

Борис воспринял распоряжение Мурата с энтузиазмом. Он заявил, что задание как нельзя лучше совпадает с его творческими планами, и заверил, что сделает все «как по нотам».

Из маршрута он возвратился поздно ночью, когда Мурат уже улегся спать. Борис протиснулся в его палатку, согнувшись в три погибели: голова его неизменно упиралась в верх палатки. Мурат уже задремал, но, услышав шаги, открыл глаза. В палатке было светло: движок еще работал. Лампочка светила неровно, мигала, будто дразнила, и от этого угловатая сумрачная тень Бориса на брезенте то становилась отчетливо-черной, то блекла, пугаясь света.

— Устал? — спросил Мурат.

— Зверски, — кивнул головой Борис. — Зато все как по нотам, Мурат Абдурахманович. Давайте зеленую улицу.

— Хорошо, — пробормотал Мурат: сон одолевал его. — Дневник покажешь завтра. Передай Новелле, что разрешаю.

— Есть! — воскликнул Борис. — Пойду обрадую неугомонную марсианку.

Так Новелла получила право выйти в этот маршрут.

Утро было прекрасное. Тропка вела Новеллу по самому краю ущелья. Слева от нее одна за другой уходили назад сосны, справа, из глубины ущелья, прямо

на тропку настырно взбирались колючие непролазные кустарники. Новелла знала, что, чем выше поднимет ее тропка, тем труднее ей будет карабкаться по скалам. Сосны перестанут встречать и провожать ее, лишь самые отважные из них заберутся чуть ли не к самому поднебесью. А потом останется позади и кустарник. Будут только скалы, целый хоровод скал, причудливых и зубастых, угрюмых и злых, не терпящих, чтобы кто-то нарушал их покой.

Но как ни хороши были молчаливые сосны, шатры которых словно плыли в синеве ослепительно ясного неба, как ни заманчивы заросли ежевики, усеянные крупными черно-синими ягодами, как ни чудесен воздух, который хотелось пить, как пьют студеную воду в лесном родничке, — Новелла поднималась все выше и выше.

Было тихо. Молчали птицы, успевшие уже спеть свои песни на зорьке. Лишь из кустов облепили время от времени, заслышав шаги человека, неторопливо, даже чуть важно взлетали фазаны. Игриво, будто перемигиваясь с солнцем, искрились на листьях бесчисленные капли росы.

О том, что думала Новелла в маршруте, можно лишь предполагать и догадываться. О том, что она делала, рассказали ее следы, по которым на другой день отправились Мурат, Борис, двое рабочих из геологической партии, Леонид и я с одним пограничником из отряда.

Я почему-то убежден, что Новелла вспоминала Бориса. Может быть, вспоминала о том разговоре, какой произошел у нее однажды вечером в тоскливую дождливую погоду, когда геологи отсиживались в палатках и занимались камералкой — сводной обработкой данных, полученных в маршрутах. Зная, что геологов можно заставить дома, когда на горы обрушиваются проливные дожди, я приурочил свой очередной выезд в дружину именно в такой день.

Прибыв в лагерь, я принялся за дело. Мне хотелось провести с дружинниками и стрельбу из пистолета, и беседу о происках империалистических разведок, и занятие по распознаванию ухищренных следов нарушителей. Однако я не мог не учитывать того, что у геологов каждый час на счету, и поэтому кое-что из этого плана пришлось отложить до следующего приезда. Время летело быстро, незаметно с гор сползли густые су-

мерки. Дождь немного приутих, но Мурат отсоветовал мне ехать в ночь, предложив переночевать в лагере.

Вот тогда-то я и услышал разговор Новеллы с Борисом. Вряд ли можно меня упрекать в том, будто я специально подслушивал. Просто я лежал на койке, а Борис и Новелла сидели под кустом вблизи палатки. Поэтому я и слышал почти весь разговор, разве что за исключением тех слов, которые они произносили шепотом.

— Смотри, — восхищенно сказала Новелла, — туча ушла, и какая-то счастливая звездочка глазееет на землю. И, наверное, видит нас.

— Пусть видит, — ласково и нежно отозвался Борис. — Пусть знает, как я люблю тебя.

— Любишь?

— Аксиома.

— Почему ты так сказал?

— А что?

— Это слово очень любил повторять один мальчик.

— Я знаю, — невесело сказал Борис. — Мальчик, которого зовут Ромка.

— Ты знаешь его? — удивленно воскликнула Новелла.

— Он служит на той же заставе, где и лейтенант Костров.

— Неужели? — не то испуганно, не то радостно спросила Новелла.

— Но это ничего не меняет, — твердо сказал Борис. — Потому что я никому тебя не отдам.

— Любишь?

— Навечно...

Они долго молчали. А я вспомнил, как Борис однажды говорил Ромке: «Вечной любви не существует. Рождение, зрелость, смерть. Так в природе. И в обществе. И в человеческой жизни. К примеру, день. Рассвет, полдень, ночь. Все очень просто. К чему разговоры о вечной любви? Даже планеты не вечны. И если бы люди не внушали себе сказок, не было бы столько разочарований в их сердцах».

«Значит, все имеет свой конец? — спросил его Ромка. — Здорово, так любую подлость можно оправдать».

«Лейтенант, — укоризненно остановил его Борис. — Ты нарушаешь элементарные правила дискуссии. Вме-

сто того чтобы пошевелить мозгами и попытаться найти убедительные веские доводы, ты бьешь своего оппонента дубинкой по голове. Наотмашь».

А сейчас Борис говорил совсем иначе. Значит, с Новеллой он был другим человеком? Так когда же он был тем, кем был на самом деле, — с Новеллой, с нами или оставаясь наедине с самим собой?..

Но главное, что меня тогда поразило, — это то, что, оказывается, Ромка и Новелла знают друг друга. Поразило потому, что Ромка никогда мне не говорил об этом, а сам я ни о чем не догадывался. Это меня, признаться, обидело. Называется, лучший друг! А ты еще давал ему читать самые сокровенные записи в своем дневнике. Я никак не мог примириться с мыслью, что у Ромки могут быть от меня какие-то тайны.

— Моя любовь, — между тем продолжала напевно говорить Новелла, — это заветный минерал. Найду, найду, найду! Он будет лежать вот в этой ладошке. И будет радоваться, что я нашла его. Нашла для людей!

— Как хорошо ты мечтаешь, — задумчиво сказал Борис. — У тебя сердце романтика. И потому я еще сильнее люблю тебя.

Теперь я отчетливо услышал звук поцелуя.

— И все же, когда вернусь из маршрута, обязательно побываю на заставе, — тихо сказала Новелла. — Аксиома!

— Скажи, ты хочешь на Марс? — сердито и нетерпеливо спросил Борис.

— Хочу! — в голосе Новеллы так и звенело счастье. — Только не сейчас. После того, как найду. Слышишь, найду!

— Найдешь, я верю, я всем сердцем верю, — горячо сказал Борис. — Ведь мы с тобой — одержимые.

Если говорить по совести, я очень завидовал Борису. Мне хотелось быть на его месте, говорить с Новеллой, смотреть в ее зеленые глаза. И в то же время я сердился на нее за то, что она, такая волевая, неукротимая и независимая, когда дело касалось работы, становилась с Борисом слабой, доверчивой и беззащитной.

Новелла и Борис говорили и говорили. Я старался заставить себя уснуть, чтобы не слышать их голосов. Уже сквозь сон до меня донеслось:

— Над нами только небо, — сказал Борис.

— А разве это мало — небо? — спросила Новелла.

«А он, оказывается, может быть и лириком, — произошло у меня в голове. — Почему же он говорил мне, будто женщины очень не любят мечтательных чудаков? Что обожают решительных и смелых, пусть даже грубых, даже тех, кто причиняют им горе и обиды, но зажигают своей решимостью. Он говорил еще, что на свете тоскливо и без постных физиономий. Почему же все-таки он говорит одно, а поступает совсем по-другому?»

Много вопросов обрушилось на меня тогда, но сон оказался сильнее.

Как бы то ни было, по этому разговору, да и по самым различным, казалось бы, незначительным штрихам я понял, что Борис нравится Новелле. Почти всегда, когда мне доводилось бывать у геологов, я видел их вместе. Вот поэтому мне и кажется, что и в этом маршруте Новелла думала о Борисе.

Нет, конечно, не только о Борисе.

Она, вероятно, думала о том, что не успокоится, не ощутит истинного, высшего счастья, пока не добьется своей цели.

Цель! Она — как манящие звезды, как солнечный луч в арктических льдах, как глаза, в которых горит чистый огонь любви.

Нет, не надо бояться громких слов, когда говоришь о цели. Если ты готов идти по трудным маршрутам, идти до конца своих дней. Лишь бы хватило жизни!

Кто скажет, что мысли Новеллы были совсем иными? Я убежден: тот, кто скажет это, неизбежно поймет, что совершил непростительную ошибку.

Да, я убежден в этом, ибо думать и мечтать — вовсе не значит праздно витать в облаках. Думать и мечтать — это значит трудиться.

Новелла спешила в верховья реки, туда, где река походила на струю лавы, вырвавшуюся на свободу, где громоздились многослойные, разноцветные речные террасы. Попутно она внимательно осматривала горные породы, особенно там, где неожиданно из соседних ущелий устремлялись к реке боковые притоки. Она радовалась, когда ей попадались гальки молочно-белого кварца, кристаллы зеленовато-желтого топаза, кроваво-красные гранаты, прятавшиеся в песке речной долины.

К полудню Новелла дошла до верховья и решила отобрать шлих. Позже, когда я побывал вместе с Муратом в одном из маршрутов, то узнал, что это означает.

Геолог берет пробу и промывает ее в специальном деревянном лотке. Легкие частицы породы смываются, а тяжелые минералы остаются. То, что остается, и называется шлихом. Если учесть, что вес рыхлой массы пробы наполненного до краев лотка обычно достигает не меньше пуда и что шлихи нужно отбирать вверх по течению реки не реже, чем через километр, то станет ясным, какой это труд. Я уж не говорю о том, что нужно иметь зоркие глаза и умную голову, способную понимать язык минералов.

Новелла спустилась к самой воде, сняла тяжелый рюкзак и огляделась вокруг. День, начало которого было таким свежим и солнечным, становился неузнаваемым. Дымчатые взъерошенные тучи медленно осаждали солнечный диск, готовясь спрятать его от земли. В глубоком ущелье все, кроме упругого жгута рвущейся из скал воды, было недвижимо, а наверху, по шатрам сосен, уже гулял ветер. Надвигалась гроза.

Но Новелла и не подумала о том, чтобы вернуться. Она вытащила из рюкзака лоток, не забыв попутно взглянуть в миниатюрное зеркальце, и, присев на корточки в том месте, где речушка капризно и круто сворачивала в сторону, неторопливо наполнила лоток породой и погрузила его в воду с более слабым течением. Покачивая лоток, Новелла смыла ил и глину, выбрала крупную гальку. Обломков породы с рудой не оказалось. Оставшийся на лотке песок с тяжелыми частицами минералов она продолжала осторожно промывать, отделяя легкий кварц, полевые шпаты, слюду от тяжелых рудных минералов, которые постепенно оседали на дно лотка. Когда большая часть легких минералов была удалена, Новелла слила шлих в маленький металлический совок и поставила его на солнце просушить. Потом завернула сухой шлих в пакетик, на котором надписала место, где был взят шлих, примерный вес промытого материала и номер.

Так и шла она вверх по реке, уставшая, измученная, но не теряющая надежды. Вновь и вновь отбирала шлихи. Километр пути — и на пакетике появлялся новый порядковый номер.

Счастливым оказался номер седьмой!

Новелла промывала седьмой по счету лоток, как вдруг в ее пальцах очутился небольшой кусочек руды скромного сероватого цвета. Лишь повернутый к солнцу, он вспыхивал таинственным серебристым пламенем. Если бы этот минерал попал человеку, далекому от геологии, наверняка он повертел бы его в руке и отшвырнул прочь, как не заслуживающий внимания.

А Новелла прижала его к груди, боясь раскрыть ладонь, все еще не веря, что сбылась ее заветная мечта. Она не почувствовала, как по ее возбужденному лицу ударили первые крупные капли дождя.

Медленно, огромным усилием воли преодолевая страх, она разжала пальцы и снова пристально вгляделась в минерал. Сердце будто перестало биться. Нет, она не вскрикнула, не вскочила на ноги, не закричала от радости. Она сидела неподвижно, словно окаменев. Но если бы кто-нибудь мог посмотреть в эти минуты в ее глаза, он увидел бы, что они смеются...

Солнце скрылось, тяжелые тучи все чаще стали ро- нять в ущелье ленивые капли дождя. Новелла достала из кармашка рюкзака цинковую пластинку, флакон с разбавленной соляной кислотой и лупу. Положив на пластинку минерал, она смочила его кислотой. Минерал преобразился, словно в сказке: он стал зеркальным. Новелла поднесла минерал к трубке портативного радиометра. Стрелка как бешеная рванулась по шкале!

Теперь сомнений не оставалось. Теперь еще отбирать шлихи, еще и еще!

Новелла бережно спрятала минерал в верхний карман куртки и, укрывшись под нависшей над берегом скалой, дрожащими пальцами развернула карту. Надо было не медля ни одной секунды нанести на карту место, где был найден этот драгоценный минерал. И сориентироваться.

До конца маршрута было уж не так далеко. Погода совсем испортилась, но Новелла пойдет дальше. Она все равно пойдет дальше, несмотря ни на что. Тем более, что Борис заверил ее по секрету: на всем протяжении маршрута ее не могут подстерегать никакие опасности.

Дождь усилился, в ущелье стало темнее. Надвигался вечер. Это был тот самый вечер, в который на заставе

качали новоявленного майора Туманского, в который Рогалев и Теремец обнаружили нарушителя границы.

Новелла отобрала на прежнем месте еще два шлиха, но минерала больше не обнаружила. Значит, надо проверить, убедиться, может быть, это просто случайность и поблизости нет рудного тела.

Стало еще темнее. Ноги скользили о мокрые камни, но Новелла упрямо взбиралась все выше и выше. Временами она останавливалась и совала руку в карман куртки. Всякий раз, прикасаясь пальцами к холодному минералу, она улыбалась и ощущала в себе новые силы.

Когда стало совсем темно, Новелла поняла, что дальше идти нельзя. Не потому, что ей страшно. Нет, просто потому, что сейчас она как никогда обязана беречь свою жизнь. Как никогда!

Новелла прошла еще несколько шагов и присела у мокрого колючего куста. Дождь утих. Внизу, в синей мгле гремела река. Новелла взяла попавшийся под руку камень и пустила его вниз по склону. Слышно было как он покатился, но внезапно шум оборвался. Она покатила второй камешек, третий. Результат тот же. Значит, где-то совсем рядом обрыв.

Новелла натянула на себя запасную брезентовую куртку, включила карманный фонарик и, положив на ладонь найденный минерал, снова приникла к нему. Сейчас минерал был похож на кусочек Луны.

Новелла стала устраиваться на ночлег. Луч света скользнул возле куста, и Новелла чуть не вскрикнула: на тонком слое земли, припорошившей скалу, виднелся отчетливый отпечаток чужого, не знакомого ей следа.

Крепко зажав минерал в горячей ладони, Новелла вскочила на ноги и, освещая скалу фонариком, медленно двинулась по загадочному следу.

И вдруг и скала, на которой находилась Новелла, и колючий куст, и следы незнакомого человека задвигались, точно во время землетрясения, и стали медленно оседать вниз, туда, где гремела и гремела река...

...Солнце медленно и неслышно опускалось в ущелье. Тяжелые волны тумана окутали сизые заросли облепихи. Рубиновыми огоньками в последний раз перед наступлением темноты зажглись кусты барбариса, возле которых лежала Новелла.

Мы нашли ее незадолго до рассвета на берегу реки,

окровавленную, потерявшую сознание. С трудом разжали пальцы правой руки: в ней лежал кусочек серенького, неказистого на вид минерала. Но когда Мурат взглянул на него, глаза его стали диковатыми.

Мы оказали Новелле первую медицинскую помощь. Конечно, это была не ахти какая помощь. В геологической партии не было врача. А в походной аптечке мы обнаружили только бинты, йод, кальцекус, нашатырный спирт и валерьянку.

И все же мы привели Новеллу в чувство. При свете костра сколотили носилки и понесли ее в лагерь. Сначала хотели приспособить носилки к двум лошадям, но лошади оказались не в меру пугливыми, да и тропа была слишком узка. Несли носилки четверо, двое были в запасе, подменяли уставших. Леонида сразу же отправили по следу чужака.

Новелла изредка тихо стонала, а мы все несли и несли ее, и путь казался нескончаемым. Это теперь, когда все позади, конечно, легко говорить: несли. Тот, кто хоть раз изведаль горные тропы, тот знает, что это такое. Трудно взбираться наверх, но еще труднее приходилось нам на крутых спусках.

Конец пути я помню очень смутно, до того мною овладела усталость. Да и только ли мною! Мы все едва добрались до лагеря и свалились в изнеможении.

И лишь когда Мурат сообщил, что к нам летит вертолет, мы воспряли духом. Но — преждевременно. Вертолет запоздал.

...Мы — теперь уже к нам присоединились Ромка и экипаж вертолета — стояли возле Новеллы.

Время от времени она открывала глаза и неотрывно смотрела в небо, будто впервые осознала, насколько оно красиво и величаво. Больше всего меня удивило то, что она, казалось, забыла о людях. Она никого не искала глазами, она смотрела в небо.

Я взглянул на Ромку. Что-то холодное и беспощадное сдавило мне сердце.

Ромка, Ромка! Почему же ты встретился с Новеллой только теперь, когда она уже не может улыбнуться тебе? Почему же ты так опоздал, Ромка?!

И все же я еще надеялся, что произойдет чудо. Сейчас Новелла посмотрит на горящие огоньки барбариса, глаза ее снова станут смеющимися, она вскочит на ноги,

расхохочется, поочередно повиснет у всех нас на шее и воскликнет:

— Мальчишки вы мои! Я снова иду в маршрут!

И уйдет от нас вместе с Ромкой.

Но она лежала недвижимо. И только когда она встрепенулась и с каким-то жалким и растерянным беспокойством завертела головой, я увидел, что в глазах ее проступили тоска и отчаяние.

В тот миг мне было невыносимо тяжело, но потом, через много дней, когда душевная боль немного утихла, я подумал о том, что нет людей, которые умирают спокойно и мудро, тихо и равнодушно. Тот, кто посвятил свою жизнь исканиям, кто узнал радость творчества, кто всегда видел впереди светлый и манящий огонек своей цели, тот не может уходить из жизни спокойно и безмятежно. Если осталось сделать всего лишь шаг, чтобы найти заветный минерал. Если не дописана рукопись. Если не достигнут нарушитель границы. Нет, хотя бы еще один солнечный луч в потухающие глаза, одно пожатие руки друга, еще одна яркая мысль, которую можно оставить в наследство живым!..

Все это пришло мне в голову значительно позже, а сейчас я стоял и смотрел на Новеллу.

Завтра на том месте, где она нашла чудесный минерал, пробурят шурфы, заложат взрывчатку. Раздастся взрыв, и в Москву полетит радостная весть.

Это будет завтра. В тот день, когда мы похороним Новеллу.

...У пограничников свои тропы, у геологов — свои. Но разве в тропах дело? Нет, в людях, которые по ним идут!

ЕГО НАЗОВУТ «НОВЕЛЛИТОМ»

Мурат говорил, что итогом геологических работ обычно является годовой отчет, где в определенной последовательности описываются результаты поисков. Они, эти результаты, излагаются сухим, деловитым языком, далеким от лирики. В них нет места словам об условиях, в которых геологам приходилось добывать фактический материал, ибо такие слова здесь попросту не нужны. Лишь во «введении» и в «физико-географическом очерке» встречаются фразы вроде таких, например: «Район работ находится в весьма труднодоступной местности» или же: «Северная половина планшета представляет со-

бой интенсивно расчлененное высокогорье с абсолютными отметками от 2000 до 4400 метров при относительном превышении до 800 метров, и в связи с этим маршруты проводились многодневные, иногда с применением альпинистского снаряжения».

Да, таков обычно этот документ. И все же, признавался Мурат, вчитываясь в него, волнуешься и радуешься, грустишь и негодуешь, как если бы читал строки мужественной лирики, или слышал раскаты дальних громов, или дышал солнечным воздухом горных долин.

Мне никогда не приходилось читать геологических отчетов. Но я волею обстоятельств столкнулся с жизнью геологов и готов без колебания подписаться под словами Мурата. Особенно после того, как узнал о том подвиге, который совершила Новелла. Нет, я не боюсь назвать подвигом то, что она совершила!

Через несколько дней после событий, о которых я рассказал, мы с Грачом приехали к геологам. Мурата мы застали в его палатке. Он что-то быстро писал. Перед ним на походном столике лежал минерал, найденный Новеллой. И Мурат, этот сильный и мужественный человек, дрожал, как ребенок, рассматривая его.

— Назовем его знаете как? — встретил он нас возбужденным вопросом. — Новеллитом... Слышите, новеллитом!

Мы горячо одобрили его идею.

Приезд Грача оказался как нельзя кстати. Вскоре после того, как мы поговорили с Муратом, в лагерь приехал представитель из какого-то геологического ведомства. С суровым, без малейших признаков улыбки, лицом он набросился на Мурата с вопросами и под конец тоном прокурора заявил:

— Вам, как начальнику партии, придется взять на себя ответственность за гибель геолога Новеллы Гайдай.

— А я с себя ответственности и не снимал, — глухо сказал Мурат.

— Но это означает по меньшей мере отстранение от работы, — строго произнес представитель, морщась от табачного дыма: Мурат нещадно курил. — Надеюсь, вам это ясно?

— Отстранить от работы меня невозможно, — вспыхнул Мурат. — С должности начальника партии снять можете. С должности геолога — никогда!

Ни до этого, ни впоследствии я не слышал, чтобы он с такой любовью говорил о своей работе.

А как зверски ругал геологию: «не наука, а миллион гипотез», «у двух геологов по одной проблеме три разных мнения». Кипятился: «Все к черту, зовут в трест. Кабинет, телефончик, обеденный перерыв. Буду давать ценные указания».

Лишь теперь я понял, что так ругать, как ругал он, можно только то, что самозабвенно любишь.

— Представьте себе, — вдруг вмешался Грач, сердито и в упор уставившись на строгого представителя. — Мурата вы не тронете ни единым пальцем. Слышите, это говорит вам Грач. Иначе в самые ближайшие дни вы прочитаете в одной из центральных газет самый злой фельетон из всех, какие когда-либо появлялись на свет. И клянусь вам, ваша фамилия будет фигурировать там не меньше двадцати одного раза. Надеюсь, вам уже приходилось читать мои фельетоны?

Кажется, ничто так не подействовало бы на строгого представителя, как эти слова Грача. Он сразу сник и растерянно сказал:

— Что вы, что вы, товарищ Грач. Мы ценим вашу популярность. И мы разберемся. Мы знаем начальника партии товарища Мурата как работника, который...

И пошел. Он выдал Мурату такую характеристику, на основании которой, будь моя воля, я бы назначил Мурата по меньшей мере заместителем министра.

Но я все-таки здорово отвлекся. Те, кто читают мои записки, конечно же, вправе спросить меня, чем же закончился поиск нарушителя границы, который так неожиданно совпал с драматическим событием в лагере геологов.

Представьте себе, нарушителя задержали Теремец и Леонид. Когда Леонид пошел по следам, обнаруженным Новеллой, где-то на полпути к заставе он встретил Теремца. Тот сильно хромал, он тоже шел по следу. Так они вдвоем задержали и доставили нарушителя на заставу, вызвав вертолет. Вскоре нарушителя отправили в отряд. Много позже, когда острота событий, внезапно обрушившихся на нас, немного ослабла, мы спросили Туманского, что за птица этот лазутчик.

— Очень, очень любознательный тип, — ответил Туманский. — Ему до смерти хотелось сунуть свой нос в хозяйство Мурата. Темный лес!

Я уже говорил, что Новелла совершила подвиг. А как назвать то, что совершил Борис?

Мурат показал мне дневник Бориса. Почти все страницы блокнота с описанием обнажений на маршруте, по которому в последний раз пошла Новелла, были исписаны четким, красивым и аккуратным почерком.

— Так не бывает, — сказал Мурат. — К середине маршрута, а тем более к концу устаешь как дьявол. Руки от напряжения начинают дрожать. Тут не до красивого почерка. Тут буквы пляшут как после доброй чарки. Так не бывает.

— Значит...

— Доверяй и проверяй, — продолжал Мурат. — Мой контроль предельно прост. В ходе своего маршрута два-три раза пересекаю маршрут практиканта. Затем беру его дневник и полевую карту и сравниваю со своими данными. И если вижу, что там, где у меня, к примеру, обозначены граниты, а у него известняк или песчаник или же элементы залегания пластов не соответствуют действительности, значит, он там не был. В нашей работе основное — честность. Смертельно устанешь в маршруте, зубами землю грызи, а фактический материал добудь! Иначе на кой черт мы здесь нужны?

Когда Мурат проверил полевую карту и дневник Бориса, оказалось, что тот пошел на прямой обман. Он не дошел даже до середины маршрута, зато доложил, что все исполнил, «как по нотам». Больше того. Примерно так же поступал он и прежде в своих маршрутах. Утром Борис отходил от лагеря на километр-другой, выбирал себе место «поуютнее» и, сидя на одном месте, описывал весь маршрут. Затем, выспавшись, свежий и не уставший, возвращался в лагерь и страстно, горячо и красноречиво рассказывал о результатах своей работы. Однажды на него натолкнулась повариха Ксюша, которая пошла за ягодами. Но она промолчала. Когда же она узнала, что, по существу, Борис в какой-то степени виноват в гибели Новеллы, то рассказала Мурату об этом случае.

Терпение Мурата лопнуло. Он припер Бориса к стене фактами, перечеркнул все его маршруты, отстранил от работы и сказал Ксюше, чтобы она использовала его для заготовки дров и чистки картошки. Борису же прямо сказал, что о всех его «художествах» сообщит в институт.

Реакция Бориса на все это была бурной и омерзительной. Я как раз был в лагере и видел эту картину. Когда Мурат объявил ему о своем решении, он громко зарыдал. Стал умолять о снисхождении.

Вокруг него неподвижно стояли геологи. Обросшие, в изодранной одежде, они с омерзением смотрели, как хлупает и растирает по лицу слезы здоровый двадцатилетний парень, который любого из них смог бы свалить ударом кулака. Гнетущую обстановку немного разрядила собачонка, которая с лаем выскочила из палатки и вцепилась с визгом в полу плаща Бориса.

А небо было безоблачным и бездонным, таким, каким оно бывает в горах ранней осенью. Горы стояли все так же величаво и гордо, словно им не было никакого дела до того, что происходит у людей.

Я смотрел на Бориса и вспоминал Новеллу. Что же тебя потянуло к этому человеку, гордая и веселая девушка? Почему ты не искала Ромку, нашего чудака Ромку, который теперь уже никогда не полюбит так, как любил тебя?

Я возвращался на заставу, взволнованный и грустный. Ведь мне предстояло рассказать Ромке о Борисе, в которого тот все-таки еще верил.

Наша служба только начинается, думал я. Но мы уже многому научились. И самое главное — научились разбираться в людях. Впереди — новые трудности. Но тот, кто сделал первый шаг, сделает и второй. Обязательно!

Мне отчетливо слышались слова Мурата:

— Будем работать! Ведь это же не горы, а таблица Менделеева! А люди! В каждом живет Новелла...

ПУСТЬ ВСЕГДА СМЕЮТСЯ ГЛАЗА!

По небу неслись облака, но чудилось, что несутся все не они, а Луна, дерзкая, смеющаяся Луна, гордая своей свободой.

Накануне отъезда Ромки с заставы мы слушали с ним «Лунную» сонату. Я ловлю себя на том, что начал свои записки с музыки Бетховена и заканчиваю ею, но хочу сразу же предупредить, что делаю это без всякой заданности. Просто уж так выходит, что всегда, когда мне бывает радостно или горько, я ставлю на медленно вращающийся диск любимую пластинку и слушаю ее бессмертный голос.

Да, давно уже нет Бетховена. Придет время, не будет и нас с Ромкой, не будет Мурата и Туманского, вполне возможно, что не будет и границ на земле. А музыка, нечеловеческая музыка гения будет звучать все в новых и новых сердцах, звать людей к счастью и свету.

Отъезд Ромки был для меня полной неожиданностью. Как-то я застал его одного в нашей комнатухе, что-то сосредоточенно писавшего.

— Уж не рапорт ли? — решил пошутить я.

— Угадал, Славка, — отозвался он. — Аксиома.

— Ты что? — вдруг, будто током, ударила меня внезапная догадка. — Уж не с границы ли решил удирать?

— С границы? — переспросил меня Ромка. — Я родился не для того, чтобы предавать.

И тихо-тихо, но так, что у меня впервые за все время выступили слезы, произнес:

...Это —

Почти неподвижности мука —

Мчаться куда-то со скоростью звука,

Зная прекрасно, что есть уже где-то

Некто, летящий со скоростью света!

И мне стало стыдно, очень стыдно за свой нелепый вопрос.

И все же Ромка уезжал с заставы. Он разузнал, что одного из офицеров отряда намечено перебросить на Сахалин, и вызвался ехать туда. Я не расспрашивал его о причинах. Все было абсолютно ясно и без вопросов. Особенно после того, как он сказал мне:

— Ты знаешь, Славка, у меня сейчас какое-то совсем чужое сердце. Совсем не мое сердце...

Что касается меня, то, как я уже говорил, не мыслил себе дальнейшей службы без заставы Туманского. Тем более, что на моих глазах у нас происходили изменения, которые не могли не радовать.

Прежде всего, Кузнечкин неожиданно увлекся следопытством. Он вызвался переоборудовать городок следопыта и, получив одобрение комсомольского бюро, без устали тренировал в нем молодых солдат. Ежедневно на разном грунте он прокладывал три следа — один обыкновенный и два ухищренных. И каждый солдат должен был в течение суток расшифровать эти следы. В особом журнале велся учет результатов. Кроме того, по предложению Кузнечкина на заставе завели журнал «Увидел,

подметил — запиши». Все, кто возвращались из наряда, записывали в него свои самые интересные наблюдения. А те, кто шли в наряд, обязательно прочитывали эти строки, так сказать, на всякий случай. Толя Рогалев называл этот журнал копилкой передового опыта.

Вскоре после Кузнечкина порадовал нас и Теремец. Пришел день, в который он, наконец, шел со стрельбища взволнованный и гордый. Теремец нес мишень, в которой почти все пробойны сидели в десятке. На мишени было крупно написано: «Ответ рядового Теремца поджигателям войны». Эту надпись учинил вездесущий Кузнечкин, но Теремец ничего не знал о ней и гордо нес мишень под дружный и одобрительный смех своих товарищей.

— Чего ржете? — недоуменно спросил Теремец.

В ответ раздался еще более сильный хохот.

Теремец остановился, снял с плеча мишень. Увидел наконец надпись.

— Небось Кузнечкин, — предположил он.

— Точно! — грохнули из задних рядов.

— А что? — вдруг заулыбался Теремец. — Обмозговал неплохо. К тому же учел международную обстановку. Политический деятель!

Наверное, осень — пора расставаний. Как птицы устремляются на юг, так и люди разлетаются по всему свету до новых встреч. Собрался в путь и Грач.

— У меня — птичья фамилия, — смеялся он. — Мне и сам бог велел улетать.

Мы упрашивали Грача остаться, но он заупрямился.

— Нет, родные. Все выношено: сюжет, герои, проблемы. Пора за свой письменный стол.

А перед отлетом размечтался:

— В юности нас звали с собой паровозные гудки. А теперь — гул самолетов. Люблю возбужденный гул аэропортов, улыбки стюардесс, ночные огни летного поля. Люблю, когда самолет нетерпеливо дрожит на старте, точно волнуется перед тем, как взмыть в облака.

— А помните: «полцарства за горсть родимой земли»? — улыбнулся я.

— Помню! — воскликнул Грач. — Но пора «рожать»!

Я понимал, что теперь его ничем не удержишь на заставе.

Вскоре после того как уехал Грач, лагерь геологов

перевазировался на восточные отроги далекого от нас хребта.

А потом настал и черед Ромки.

День, в который мы расставались с Ромкой, был какой-то грустный и сиротливый. Неслышно раздевались тополя. Они были покорны, как робкие беспомощные дети, стыдились своих худеньких обнаженных ветвей и, наконец, с тоской смотрели на упавшие листья.

Впрочем, возможно, день был уж и не такой сиротливый, но на душе у меня было тревожно и сумрачно и потому казалось, что и солнце, медленно боровшееся с туманом, и часовой, сосредоточенно шагавший вдоль дувала, и кони, неохотно хрустевшие овсом, — все чем-то обижено и недовольно.

Ромка возился с чемоданом, Туманский, немного сгорбившись, суетился возле газика, вместе с ним копошились Наталка и Генка, предвкушавшие очередное катание, а я, присев на скамейке в курилке, обдумывал те слова, которые должен был сказать своему другу.

Мне хотелось сказать ему:

— Прощай, Ромка! Желаю тебе только одного: чтобы глаза твои и глаза тех, кто тебя окружает, смеялись. В любую погоду. Всю жизнь.

Когда же наступила минута прощания, я сказал:

— Ну что же, до встречи, Ромка.

— До встречи, Славка, — точно эхо, отозвался он.

Туманский покосился на нас. Кажется, ему и сейчас пришлось не по душе то, что мы в такой ответственный и серьезный момент называли друг друга по имени, словно были не лейтенантами, а безусыми мальчишками. Он крепко стиснул Ромке руку и негромко сказал:

— Желаю успехов в охране границы, лейтенант Ежигов.

— Спасибо, товарищ майор, — вопреки моему ожиданию, растроганно поблагодарил Ромка и, кажется, порывался обнять Туманского, но тот стоял прямо, твердо и, скупой улыбнувшись, взял под козырек.

Я снова подошел к Ромке. Мы обнялись. И только тогда, когда Ромка, уже сидя в машине, обернулся ко мне, я особенно пристально посмотрел ему в глаза.

Мне показалось, что они смеются. Как у людей, которые очень любят жизнь. Которых все называют счастливыми.

Многие читатели, насколько мне известно, очень не любят, когда повествование вдруг обрывается и приходится гадать, что же случилось с героями, как дальше сложилась их жизнь. Это я знаю и по себе. И потому хочу хотя бы коротенько рассказать о судьбе героев этих записок. Тем более, что, пока я их писал, прошло порядочно времени. И хотя обычно эпилогами заканчивают большие, масштабные полотна, я все же позволю себе отступить от этого правила.

Итак, начнем по порядку.

Мой друг Ромка Ежиков назначен начальником заставы. Сахалин пришелся ему по душе. Он писал мне, что на его столе лежит серебристый кусочек новеллита. Живет Ромка, как и прежде, один.

Майор Туманский. Впрочем, о нем я скажу, когда буду говорить о себе. Ведь я тоже, если уж на то пошло, один из персонажей повести.

Илья Грач примерно один раз в два месяца присылает мне письмо, на которое я тут же отвечаю. В последнем письме он не выдержал и поведал о том, что пишет большой роман. О сюжете, правда, ни слова. И все же мне кажется, что в этом романе он опишет и нашу заставу, и геологов. Не знаю, возможно, рассказав кое-что об этом в своих записках, я отбиваю у Грача хлеб. Но думаю, что он на меня не обидится. Тем более, что он, конечно же, будет создавать свое творение долго, основательно, не один раз переделает его, как и положено всякому крупному мастеру. Видимо, многое в его романе будет выглядеть иначе, чем было в жизни, потому что, говоря словами самого же Грача, какой же это, к лешему, роман, если он не освещен солнцем писательской фантазии. Я же рассказываю о нашей заставе и геологах по горячим следам, говорю языком фактов и главное, к чему стремлюсь, — это рассказать обо всем точно так, как оно было на самом деле.

Вот это-то меня и успокаивает. Хотя Грач, конечно, удивится, если прочтет мои записки. Я не знаю, как он к ним отнесется и какой отзыв пришлет. А отзывом его я очень дорожу. Потому что он и как человек и как писатель близок моему сердцу.

Борис, как мне известно, закончил институт. Кажется, с отличием. Вы, конечно, и сами понимаете, что не геологоразведочный. Женился. Говорят, что оказался примерным семьянином и любит свою жену. Впрочем, женщина, которая рассказывала об этом Катерине Федоровне, вероятно, была из числа не очень осведомленных людей. Говоря о Борисе, как о хорошем муже, она особенно упирала на то, что он, якобы, аккуратно отдает жене свою получку и по воскресеньям ездит на рынок. Но это уже детали, да и, очевидно, понятия людей о любви и счастье бывают самые различные. И только ли о любви? Сколько людей, столько и понятий.

О Мурате я узнал из письма Грача. Оказывается, Грач с ним переписывается и даже ездил к нему, когда он лежал в больнице. Поздней осенью в геологической партии Мурат отморозил ноги. Геологи работали на южных отрогах Западных Саян. Район поиска был тяжелый: горы, тайга. Мурат был в маршруте, когда неожиданно резко похолодало, выпал глубокий снег. Мурату пришлось двое суток в разбитых сапогах добираться до лагеря. В больнице ему ампутировали ногу. К ампутации его готовила Валентина — студентка медицинского института. Впоследствии Валентина стала его женой. Грач говорит, что, когда Мурат смотрит на жену, его глаза светятся счастьем.

Грач спрашивал Мурата о его мечтах. И вот что он написал ему в ответ на его вопрос: «В геологических партиях было трудно, но работали мы с увлечением. И сейчас я с радостью и болью вспоминаю прошлое. Если бы мне сказали, что вновь надо все это испытать, я, не задумываясь, повторил бы все сначала...

Вот Вы спрашиваете, о чем я мечтаю как геолог. Я мечтаю о том (хоть это и несбыточная мечта), чтобы вновь у меня были здоровые ноги, чтобы снова быть полноценным геологом. Но одной ноги уже нет, может быть, лишусь и другой.

Не подумайте, что я отчаялся совсем. Правда, мне тяжело сейчас, но стараюсь не опускать рук. Мне очень помогают окружающие. Осваиваю протез. И думаю, что, если не подведет правая нога, на будущий год поеду в геологическую партию, мечтаю о новых маршрутах.

Как видите, мечты у меня довольно скромные».

Что можно сказать о пограничниках нашей заставы?

Большинство ребят, в том числе и Теремец (я говорю о тех, которые уже демобилизовались), работают сейчас на Красноярск-Алюминстрой. Представляю себе, с какой жадностью Теремец добрался до своей любимой работы. Ведь он часто говорил своим друзьям:

— Человек должен строить. На то он и человек!

О судьбе Новеллы Гайдай знает каждый, кто прочел эту повесть. Впрочем, кажется, я утверждаю это несколько преждевременно. Совсем недавно я узнал, что в одном из главных аппаратов ракеты «Марс» был какой-то очень важный волосок из новеллита. Не все, наверное, мне поверят. К тому же, скажут, что автор не может знать, какие металлы идут на изготовление ракет. Да, я не знаю. Это тайна, которая, по всей видимости, останется тайной еще продолжительное время. И все же я верю, что не только в «Марсе», но и в караванах будущих советских ракет останется жить имя чудесной девушки-геолога с необычным и красивым именем — Новелла...

Мне остается сказать несколько слов о себе. Служу все на той же заставе. И все в той же должности. Майор Туманский иногда, в минуты откровения, говорит мне, что ему пора уходить, что он уже «сыт по горло» и что якобы даже сдерживает рост молодых кадров. Но он не уходит, да я знаю, что и не уйдет, потому что без заставы, без своего каждодневного труда жизнь станет для него пустой и бессмысленной. Хотели взять его не так давно на работу в штаб отряда. Это было, конечно, повышение. Но он отказался.

И когда Туманский говорит, что я, лейтенант Костров, не расту из-за него, он, конечно же, ошибается. Если человек вырос, более высокая должность приходит к нему сама. Бывают, конечно, исключения. Но как правило... Впрочем, о работе хватит. Еще один штрих из личной жизни — и конец.

Пока не женился. Почему? Наверно, всему свое время. Полюблю — женюсь. Обязательно. На первый взгляд женитьба — дело нехитрое. Однако умудренные опытом люди утверждают, что, наоборот, все это не так-то просто.

Я и сам все больше и больше убеждаюсь в сложности жизни. Круты и порою опасны ее пути.

Ну и что же? Не потому ли она и прекрасна, эта самая жизнь?

Счастье старшины Самарца

Однажды старшина Самарец пришел ко мне с жалобой. Высокий, худощавый, он стоял передо мной в канцелярии заставы с унылым, сердитым видом. Злые огоньки преобразили его наивные белесые глаза.

Я заметил, что, с тех пор как пограничные наряды начали частенько возвращаться на заставу с «уловом», он, как это ни странно, делался все мрачнее. Недовольство почти не сходило с его лица. И без того строгий, он стал не в меру придирчив.

Но я начал свой рассказ не с того, с чего мне хотелось начать. Слишком уж забежал вперед, а положено рассказывать все по порядку.

Так вот. На эту дальневосточную заставу я попал незадолго до того случая, о котором начал рассказывать. Дело было давно, еще в тридцатые годы, но что сделаешь, трудно его забыть, это время. А точнее сказать, забыть его вообще невозможно.

Был я тогда еще совсем юнцом, только что закончил пограничное училище. Учился усердно, днем и ночью бредил границей и решил, что служба на заставе — это на всю жизнь. В училище подвели под меня, как говорится, солидную теоретическую базу, и я все не мог дождаться того дня, когда покажутся передо мной ворота заставы.

Закончили мы учебу, и мне предложили место на выбор. А в те годы, помните, самые героические события происходили на Дальнем Востоке. Хотелось туда, где труднее, интереснее, на самый боевой участок.

Поехал туда. Все здесь было для меня, городского жителя, ново: сопки, пади, тайга... В письмах домой писал потом, что живу возле пристани. А какая уж там пристань! Просто пароход два раза в году к берегу приставал.

Я попал на заставу, где начальника уже с полгода не было, а до моего приезда командовал старшина Сама-

рец. Молодой еще старшина, из смоленских краев. Ну, думаю, обстановка такая, что сложнее и не придумаешь: оба молодые, практики маловато.

Присмотрелся я к заставе, вижу: дело идет неважно. Недостатков в службе хоть отбавляй. А главное — застава была что островок: с местным населением никакой связи. Посоветовался я с коммунистами, а потом спрашиваю:

— Ну, старшина, похвались, сколько у вас тут задержаний?

— Пока ни одного, — отвечает. — Но вы не сомневайтесь, службу народ знает.

— Знает или не знает — судить рано. Чего это наряды по самому берегу ходят? Галькой шуршат на весь Дальний Восток. Это, брат, японцам на руку. С завтрашнего дня наряды будем высылать не по гальке, а по тыльной дозорной тропе. На берегу останутся только секреты.

— Так там с сопки на сопку придется лазать, — удивляется Самарец. — Кругом тайга, пади. Бойцы ныть начнут.

— Ничего, старшина, — отвечаю, — поноют, поноют, да и перестанут. Или мы сюда для нытья собрались?

Старшина помалкивает. Перечить мне не смеет, а на лице его прямо написано: «Молод еще, кубари едва успел подцепить, а туда же, свои порядки заводить решил. Ничего, поживешь здесь — узнаешь».

— И еще, — говорю, — что же вы тут от народа совсем оторвались? Застава без помощи местного населения, что Антей без земли.

— Про Антея не слыхал, — отвечает Самарец, — а насчет местного населения — это как сказать. Здесь, товарищ начальник, не Европа, людей по пальцам пересчитать можно. Так что главная надежда на самих себя. Сам проворонишь, так никто тебе не поможет.

— Тут ты, Самарец, рассуждаешь, как самый отсталый и политически не подкованный человек, — рассердился я. — Охотники в тайге есть? Рыбаки на Амуре есть?

— Есть, — с невозмутимым видом поддакивает Самарец. — Конечно, есть. Один охотник на пятьдесят квадратных километров.

Вижу, трудно его переубедить. Однако линию свою начал проводить со всей решительностью. Наряды службу начали нести по-иному, скрытно. Вначале действительно кое-кто из бойцов и поворчал на новые порядки. Но, смотрим, дела пошли лучше. С местными охотниками дружбу завязали. Вскоре одного нарушителя задержали, потом второго. Чувствую, бойцы ко мне переменились, уважать начали. Я хоть и требовал, а душа в душу с ними жил, заботился.

И как только начались задержания, помрачнел мой старшина Самарец, испортилось его настроение. Так и пришел он ко мне для решительного разговора в тот самый день, с которого я и начал свой рассказ.

— Что с вами, товарищ Самарец? — спрашиваю.

— Да так, ничего, — отвечает.

— Нет уж, выкладывайте, — настаиваю я. — У вас такой вид, будто вы только что со дна Амура вылезли.

— Хуже, — подтверждает Самарец.

— Так вы и поведаете, в чем дело.

— Да тут и говорить нечего, — хмурится старшина и вдруг выпаливает: — До каких же пор это будет? Летучкин мне по пояс, и тот нарушителя притащил. Между прочим, товарищ начальник, без помощи местного населения. А я, старшина заставы, можно сказать, ваш первый помощник, с портянками вожусь да комбижир взвешиваю.

Это заявление мне понравилось, понимаю, к чему он клонит, но виду не подаю. Говорю ему:

— Что поделаешь? Везет людям.

Тут Самарец совсем раскипятился.

— Я, — говорит, — в тылах отсиживаться не намерен. Досадно это. И даже обидно.

— Что ж, — отвечаю, — горе ваше поправимое. И подросли вы вовремя. Получены данные. Ночью должен пожаловать «гость» с той стороны. А так как я сам тоже хочу лично задержать нарушителя, то вы мне и составите компанию. Идет?

Просиял мой Самарец, словно того «гостя» уже за шиворот держит.

А данные поступили ко мне такие. Еще неделей раньше пост наблюдения, что был искусно замаскирован на одной из сопкок, заметил на сопредельной стороне японцев в штатском платье. Сигнал тревожный: раз при-

были новые люди, — значит, жди нарушения. Это меня комендант, старый пограничник, так сориентировал. Не прошло и трех дней, как наблюдатели докладывают: на той стороне готовится салик. Что, непонятно? Салик — это такой плотик из бревен на одного человека для переправы через реку.

Получил я это донесение, обдумал его, взвесил, доложил по команде. Все ясно. Ночью смотри да смотри. Наряды расставил получше, предупредил. Но сам спокойно сидеть не могу. Так и отправились мы в ту ночь на границу вдвоем: я и старшина Самарец.

Ночь выдалась темная. Тучи над тайгой повисли, не поймешь, куда верхушки кедров подевались. Видно, в тучи попрятались. Идем мы со старшиной по дозорке: я впереди, он сзади. Слева от нас тайга притаилась, справа Амур дышит. Идем, идем, остановимся. На реку смотрим до боли в глазах. Да только разве в такую ночь что различить? Прислушиваемся. Время от времени спрашиваю:

— Слышишь что-нибудь, старшина?

— Нет, — говорит, — не слышу.

Я даже забеспокоился. Может быть, уже прозевали?

Прошли мы еще километра полтора. Вдруг слышу, вода как-то по-другому всплескивает. Такой звук получается, когда веслом сильно гребут. Останавливаюсь.

— Слышишь, старшина?

— Слышу.

— Что?

— Плышет кто-то.

Значит, не почудилось мне, а точно плывет. В этих премудростях я уже разобрался неплохо: знал, что звук от весла слышен хорошо в тот момент, когда человек пересекает середину фарватера. Тут ему нужно грести до кровавых мозолей. Иначе дело дрянь: на середине реки течение сильное, прозеваешь — утянет и салик, и человека на нем черт его знает куда. Поэтому тот, кто хочет переправиться и причалить к берегу, всегда гребет здесь изо всех сил и волей-неволей выдает себя шумом.

Ну, думаю, раз всплеск слышен напротив нас, значит, жди «гостя» ниже. Ведь он как только через середину реки переберется, так его само течение начнет к берегу прибывать.

— Бегом! — шепчу я старшине.

Побежали мы с ним что есть духу. Изредка все же останавливаемся, слушаем.

— Слышишь, Самарец?

— Нет, не слышу.

И точно, всплески прекратились. Теперь держи ухо востро! Пробежали мы по берегу, где нет гальки, еще с полкилометра. По моим расчетам, «гость» уже должен причалить. Но нет, все тихо, следов тоже вроде нет никаких. Что такое?

Сами не заметили, как добрались до маленькой речушки, которая в Амур впадает. Перешли ее вброд, снова бежим по берегу. И вдруг вижу: что-то плывет по воде возле самого берега. Присмотрелся: салик! Попадет на глубину, в омут, тут вода его и крутит, будто играет с ним. Сердце так и екнуло: салик-то оказался без пассажира, пустой! Перехитрил все-таки, подлюга. Успел высадиться выше, пока мы брод форсировали. Но почему нет следов? Повернули мы обратно, думаем, на след нападем: все напрасно. Еще бы — темень такая, что дальше чем на шаг ничего не видно.

Остановились на минутку передохнуть.

— Ну, старшина, — говорю я внешне спокойно, а у самого на сердце кошки скребут. — Кажется, мы с тобой отличились.

Молчит старшина, не отвечает, но вижу, напряжен он до предела и не успокоится, пока не найдет. Связался я с нарядами, информировал их, дал указания. Доложил и коменданту. Тот приказал соседу выслать часть резерва с собакой: на моей заставе собака, как на грех, заболела. Поинтересовался комендант, кто был в наряде, кто салик пустой заметил. Что поделаешь, докладываю все, как есть.

А Самарец сам не свой. Ходит и твердит:

— Все равно не уйдет.

И снова мы с ним отправились в поиск. Но сомнения душу терзают: ведь стоит нарушителю в тайгу пробраться — там его найти будет куда сложнее.

— А знаете, — вдруг говорит мне Самарец, — он же мог по речушке махнуть.

Идея! Недолго думая, ринулись мы с ним туда. Лазили, лазили по зарослям — и снова никаких результатов. Сгинул человек — да и только!

А тут уже понемногу и рассветать начало. От воды

утренним холодком потянуло, на той стороне собаки залаяли. Присели мы со старшиной под большой кедр. Нужно было новый план действий наметить.

— Вот как, брат, бывает, — говорю я.

— Бывает, — хмурится старшина. — Что дальше делать будем?

— В чудеса не верю. Надо в тайгу идти.

— В тайгу?

— Да. И обязательно по берегу этой паршивой речушки.

Теперь уже старшина пошел впереди меня: он здешние места лучше знал. Шли-шли мы по берегу. Сейчас-то легко вспоминать — шли. Продирались через дремучие заросли, как сквозь колючую проволоку. Хорошо еще, хоть посветлее стало. Идем злые, измотанные, душу всю так и выворачивает: неужели упустили?

Вдруг слышу дикий возглас:

— Стой!

Я так и врос в землю. Это старшина рявкнул. Смотрю: прилег Самарец за поваленной сосной и целится из винтовки в человека. А тот стоит от него метрах в тридцати на тропке. Спокойно стоит. В оленью куртку одет, бахилы на ногах высокие, а в правой руке — охотничье ружье. Присмотрелся я, что-то уж больно знакомым он мне показался.

— Не стреляй, — скомандовал я старшине.

Самарец на меня оглядывается, плечами поводит: ласкать, непонятна мне такая команда. А человек в оленьей куртке, убедившись, что находится в безопасности, поспешил к нам. Вблизи-то я его признал: Назаров, местный охотник, с которым я познакомился вскоре после своего прибытия на заставу.

— Здравствуй, начальник, — подал он мне руку. А старшине сказал с укоризной: — зачем так кричал? Спугнул, однако.

— Кого спугнул?

— Известное дело. Кого вы ищите. Однако языком не поймает. По следу гнать надо.

— Да след-то где? — удивился Самарец.

А Назаров усмехнулся и дулом ружья на речушку показывает.

— Сначала там шел. Какой след? Вода, однако. Теперь гнать надо. Бегом надо.

Длинноногий Самарец только этого и ждал. Рванулся вперед, аж кусты затрещали.

— На деревья, однако, поглядывай, — вдогонку ему проворчал Назаров.

Как мы ни торопились, Самарец был уже далеко впереди. Вскоре слышим: выстрел! За ним — второй! Мы бросились на помощь. Да только нам уже делать нечего было. Самарец вцепился в какого-то маленького человечка и руки ему назад крутит. Связал нарушителя, к Назарову подошел и руку ему пожал. Крепко пожал. Молча.

Привели мы «гостя» на заставу. Тут и соседи подоспели с собакой. Им до нас нелегко было добраться — путь дальний. Да уж все было сделано. Но собаку все же пустили. И что же? Нашла она плавательный резиновый костюм. Тут и загадку разгадали. «Гость»-то наш добрался до берега на салике и закрепил его у кустов, а сам еще порядком проплыл в своем костюмчике вниз по течению. Салик сбило водой и понесло. Он его с таким расчетом и закреплял. Хитро придумал: знал, что мы увидим салик и будем искать его выше. А потом не на берег вылез, а чтоб следов не оставлять, по речушке двинул. Вот почему так трудно было его разыскивать.

Потом уж пограничники старшину расспросами допрашивали. А он помалкивает. И про рану свою — никому ни слова. Мы сами заметили: левый рукав у него весь в крови. Оказывается, нарушитель не совсем промахнулся. Рана, к счастью, была легкая. Зато злость да тоску со старшины как рукой сняло. Еще бы! Как выяснилось, птица попалась крупная.

А наш редактор стенгазеты боец Самсонов этому случаю целую колонку посвятил. И озаглавил: «Счастье старшины Самарца». Только заголовок этот пришлось старшине не по душе.

— Причем тут счастье? — расшумелся он. — Тут помощь местного жителя. Охотника.

— Это который один на пятьдесят квадратных километров? — уточнил Самсонов.

— Во-во, — рассердился старшина. — Измени заголовок.

Заголовок изменили. И все же этот случай так и вошел в историю нашей заставы как счастье старшины Самарца.

Огонек разорится

Озеров редко бывал веселым. Чуть ли не каждый день он старался убедить себя, что жизнь обходит его стороной, что неумолимые годы бегут один за другим с неудержимой, почти сказочной скоростью и что он так и не успеет свершить всего, что задумал.

Правда, эти мысли Озеров не высказывал вслух. Может быть, он понимал, что над ним могут просто посмеяться: ему не перевалило за тридцать, а людей в таком возрасте считают молодыми. Хотя вряд ли и требовалось высказывать то, что так явственно можно было прочесть по его потерявшим ясный блеск, словно неживым, глазам, по морщинам, скорбно обрамлявшим припухлые губы, по начинавшей сутулиться широкой спине.

Малейшие неудачи бесили Озерова, порой приводили в отчаяние, и он мучительно завидовал жизнерадостным людям, переполненным жарким весельем и самозабвенной верой в лучшее.

Озеров был убежден, что ему не везет. Застава, которой он командовал, была самой отдаленной в отряде и, как утверждали местные остряки, располагалась у черта на куличках, Озерову казалось, что на других заставах люди лучше и веселее, чем у него, а заместители делают больше, чем его заместитель, что начальников соседних застав ценят в отряде больше, чем ценят его, что условия службы у него куда тяжелее, только этого никто не замечает и не принимает во внимание. Он почти убедил себя в том, что нарушители и те специально обходят его участок.

Шло время, Озеров мрачнел все сильнее. Начинало появляться равнодушие, злое недовольство судьбой, пограничные сутки становились все более однообразными, тягостными.

Не так давно, проверяя ночные наряды, Озеров поскользнулся на мокрой кладке и, не удержавшись на ней, угодил в топкий ручей. Это случилось с ним и раньше. Тогда, прежде, ему достаточно было беззлобно, даже весело выругаться, перекинуться шуткой с солдатом-напарником, переобуться и после этого молодым, крепким шагом продолжать путь.

Теперь было иначе. Озеров тяжело выбрался из ручья, с нарастающей злобой чувствуя, как грязь, на-

бравшаяся в сапоги, обволакивает ступни ног, проскрежетал зубами и пошел дальше.

— Смените портянки, товарищ старший лейтенант, — предложил рядовой Клименко. — У меня запасные есть.

— Не вашего ума дело, — оборвал его Озеров. — Сам знаю, что мне делать.

— Есть, — обиженно и недоуменно проговорил Клименко.

Придя домой, Озеров стащил сапоги и, мрачней, долго смотрел на мокрые портянки, на грязную лужицу возле босых ног.

— Случилось что-нибудь, Боря? — не выдержав, обеспокоенно спросила жена.

— Ничего, — грубо отрезал Озеров.

А три дня назад начальник отряда полковник Пышкин, подвижной крепыш-непоседа, проверив вместе с офицерами штаба заставу Озерова, хмурясь, сказал ему:

— Дипломатии не обучался. Охладел ты к границе, Озеров. Не таким тебя помню. Затухает огонек. А без огонька нам здесь делать нечего.

Эти обидные слова начальника отряда тревожили душу Озерова и теперь, когда он с командировочным предписанием в кармане садился в вагон скорого поезда. В нем металось, не находя выхода, противное и едкое чувство досады, недовольства самим собой и тем, что в жизни у него все складывается как-то не так, как у других.

Озеров открыл послушную дверь купе и, поставив чемоданчик на пол, осмотрелся. На нижней полке слева похозяйски, словно в своей собственной избе, расположилась бабка. Была она маленькая, щуплая, остроносая. Бабка деловито копалась в своем узелке, выуживая оттуда румяные пирожки, но едва Озеров появился на пороге, как цепкие глаза ее магнитом прилипли к его лицу, как бы говоря: «А что ты за человек?»

Справа неподвижно сидел невысокий, коренастый пожилой мужчина. Он был чисто выбрит, редкие волосы непокорно спускались на крутой выпуклый лоб. Он живо метнул взгляд в сторону Озерова и едва приметно улыбнулся светлыми чистыми глазами, словно радуясь приходу нового человека.

«Какой лобастый, — подумал Озеров. — И, кажется, я попал в спокойное купе. Старички, тишина. Хорошо! Очень хорошо, что нет ни молодых женщин, ни беспо-

койных юнцов, ни крикливых ребятишек. Не нужно будет выбегать на станциях с поручениями, выполнять женские капризы, придумывать веселые истории, чтобы не прослыть отшельником, не нужно превращаться в няньку. Очень хорошо».

— Куда едешь-то, сынок? — не скрывая явного любопытства, вдруг обратилась бабка к Озерову. У нее не доставало нескольких передних зубов, и она, задавая вопрос, прикрывала рот пальцами, сложенными щепоткой.

Озеров не успел ответить.

— Об этом военных не спрашивают, — с живостью, наставительным тоном сказал пожилой мужчина. — Военная тайна.

— А я, сынок, без тайны весь век прожила, — сокрушенно откликнулась бабка. — Так-то оно вроде легче. Еду вот из гостей. Дочка у меня здесь. Замужем. Пожила, теперь к сыну наладилась. Под Вязьмой живет. Вот так и мотаюсь. К дочке приеду — сына вроде жалко, у сына живу — по дочке сердце ноет.

— А зовут вас как?

— Имя наше простое, сынок, деревенское, — сладким голоском заговорила бабка, польщенная вниманием. — Агафьей Харитоновной кличут.

— А я Емельянов. Иван Петрович. Тоже родители над именем-отчеством голову не ломали.

Озеров присел рядом с бабкой. Только сейчас он обратил внимание на обшарпанный костыль, стоявший у стенки возле мужчины. На столике разместились: круглое дорожное зеркальце, расческа в футляре, флакон цветочного одеколона, безопасная бритва, пачка лезвий.

— Тайну всегда сохранить можно, — поглядывая узкими светлыми глазами на Озерова, сказал Емельянов. — А вот род войск — никуда не денешься — петлички выдают. Знакомые петлички, — вдруг загораясь, с каким-то радостным возбуждением продолжал он. — Цвет весенней травы. Я, например, убежден, что этот цвет неспроста пограничникам дан. С древних времен. Читал я где-то, что еще при Иване Грозном написали пограничный устав. Только название у него чудное было: «Устав станичной, сторожевой и дозорной службы». Точно. Считайте, первый пограничный устав. И о зеленом цвете вроде там было. Не зря это. Пограничник с природой душа в душу живет.

— Да ты, никак, ученый? — удивленно пропела бабка.

— Еще какой ученый, — усмехнулся Емельянов. — Академию жизни прошел. И сейчас еще курс не закончил. А петлички мне припомнились. Войну с такими же начинал. Отечественную.

— Служили в пограничных войсках? — оживился Озеров.

— Служил. Вот как и вы. Жизнь как вихрь была. В гражданскую сбежал из дому, записался добровольцем. В Красную Армию. С тех пор и закрутилось, завертелось. В пламени, в пороховом дыму...

— За непочтение родителей, — простодушно встала бабка. — Я своим детям так сказала: забудете мать, бог-то и накажет.

— Это ему не долго, наказывать он мастер, — здоровой, ясной улыбкой просиял Емельянов. — Уж что он со мной ни выделял, бог этот, а смотри, Агафья Харитоновна, живой я. Живой, точно.

— Да что толку-то, что живой, — рассердилась бабка. — Академии, говоришь, прошел, а прок-то какой?

— Точно, академии, Агафья Харитоновна. И первой той академией была школа краскомов. Афродиты кругом нежными ручками факелы держат. Это чтобы нам, красным офицерам, светло было. Вот какого почета заслужили. Хозяину того особняка дали по шапке — и весь разговор. А как учились! Обед в столовой. Духовой оркестр. Трубы серебряные не играют — поют. Соловьи, а не трубы. Марш за самое сердце хватает, на смертный бой зовет. Посуда на столе, доложу вам, Агафья Харитоновна, фарфоровая. Китайский фарфор, не простой. Посуда тонкая, хрупкая, с малиновым звоном, притронуться страшно. Князья да графы из этих тарелок французские кушанья изволили отведывать. И в этой роскошной посудине — что вы думаете? — селедочный суп! А вместо хлеба — поджаренный овес. Горсточка на едока. Точно!

— Бедные вы бедные, — простонала бабка.

— Богатые, Агафья Харитоновна, — упрямо возразил Емельянов. — Главное богатство — в душе человеческой. Вы думаете, мы овсом хрустели да нюни распускали? Маршировали! Да еще как. Да что маршировали — вскорости полки в атаку водили. За Советскую власть. Помню, сам молодой был, товарищи молодые. И воевать

успевали, и про девчат помнили. За девушками, бывало, головы поворачивали, как подсолнухи за солнцем.

Емельянов рассмеялся задорно и раскатисто. Глаза его вспыхивали живым горячим блеском, плечи вздрагивали от возбуждения, покрасневшее скуластое лицо сияло по-детски счастливо.

— А в пограничных войсках давно? — поинтересовался Озеров.

— Еще когда пограничной охраной назывались, — охотно сообщил Емельянов. — Феликс Эдмундович нас распределял. Выпало мне на западную. Нет труднее и лучше службы, чем пограничная. Закалила она меня, дурь из головы выбила. И прямо скажу: все, что есть во мне хорошего, — это ее заслуга, границы. Это я точно говорю.

Озеров вслушивался в рассказ Емельянова, стараясь сопоставить его мысли со своими. Впервые ему доводилось слышать, чтобы о той самой службе, которую он, Озеров, считал такой будничной и однообразной, говорили с таким вдохновением.

Сейчас он словно наяву видел Емельянова в пограничном наряде. Рваная обувь на ногах. Одна винтовка на двоих. Обойма ржавых патронов в кармане обтрепанной кожанки. Наряд идет по непролазным черным болотам, спрятавшимся в сонном мокром тумане. Луна торопливо, с опаской уползает в мутные облака. Тихо, еле слышно хлупает внизу холодная вода. А наряд идет, идет нескончаемой дозорной тропой...

Емельянов не упоминал о липком поте, о едкой сырости, о натруженных ногах, о пустых желудках. В его рассказе во весь рост вставала красота человеческого труда. Того труда, выполняя который, невозможно предугадать, продлится ли жизнь человека множество лет или оборвется через мгновение за следующим поворотом пограничной тропы. Для него перестрелка с нарушителями звучала музыкой, а ракета, взметнувшаяся над верхушками встревоженных сосен, была призывом к новым свершениям.

«А может, все это только в воспоминаниях? Только потому, что отодвинуто временем? Только это и вспоминается как хорошее и радостное? Даже самое страшное и трудное?» — спрашивал себя Озеров.

— Отечественная застала на границе, — будто самому себе продолжал рассказывать Емельянов. — И тоже

на западе. Жаркая была оборона, как вспомнишь, до сих пор в пот бросает. Одиннадцать суток. Ранили меня. К трем ранам, что на границе в гражданскую получил, добавилась четвертая. Точно. Попал в плен. Что там пришлось пережить — разговор длинный. Не всякому интересно слушать. Одно в память врезалось: пластом лежу в соломенной своей постельке на каменном полу.

Емельянов передохнул. Тяжелые веки прикрыли глаза, густые брови судорожно вздрагивали. Лицо померкло, постарело. Но вскоре он, словно очнувшись, посмотрел на Озерова открыто и спокойно.

— Три раза с товарищами бежали. Два раза от виселицы на вершок был. А только я так скажу: человек любые муки за наше дело вынести должен.

Емельянов взял со стола пустой стакан, повертел его в руке.

— Пойду напьюсь.

— Я вам принесу, сидите, — встрепенулся Озеров, вскакивая со своего места.

Емельянов с благодарностью посмотрел на него. Озеров принес воды. Емельянов жадно пил ее. Узловатые пальцы вздрагивали, и вода неровной струйкой переливалась через края стакана.

— Водки не пью, — с гордостью сказал он. — Ни грамма. А по части курева установил себе норму — одну папиросу в сутки.

Бабка ахала и удивлялась.

— И сколько же тебе лет? — спросила бабка таким тоном, будто заполняла анкету.

— Пятьдесят шесть. Точно.

— Не может быть! — искренне воскликнул Озеров.

Емельянов протянул ему паспорт. Сомнений не оставалось. На фотографии Емельянов выглядел еще моложе.

— Вот я тебя и хотела спросить, — сказала бабка. — Жена у тебя есть или как?

— Это, Агафья Харитоновна, разговор особый. Жена у меня есть.

— Не первая, небось, — решительно высказала предположение бабка. — Вы, мужики, на одной не останавливаетесь. Мой тоже, кабы не помер, сменил бы меня, непременно сменил.

— Не угадала, Агафья Харитоновна. Первая и последняя. И моложе меня на двенадцать лет.

Бабка удивленно мотнула головой.

— Многого со мной натерпелась, — задумчиво сказал Емельянов. — После войны паралич меня — на обе лопатки. Полный нокаут, по-боксерски. Другая бы смотрела, смотрела да в один прекрасный день и сказала бы: «Извините, Иван Петрович, я за здорового человека замуж шла. А с калекой я жить не умею». Вот и весь разговор. А она — нет.

— Значит, повезло тебе, — сделала вывод бабка.

— Не то, Агафья Харитоновна. Опять ошибку допустили. Повезло — не повезло... это не наша теория. На ветер надеяться — без помолу быть. Кто жизнь строит? Человек. А для этой цели большая любовь к ней нужна, к жизни. И если ты такой человек сильный — всех, кто рядом с тобой идет, такими же сделай. Иначе зря на свет появился. Не знаю, может, другие не так думают, а я твердо на этом стою — не свернешь. Взять, к примеру, любовь. Она таким пламенем вспыхнуть может — глазам больно станет. А может и затухнуть, тлеть будет еле-еле. Все от человека зависит. Не давай ей затухать. И не силой тут брать требуется, нет. И страх не поможет. Тут нужно своими делами. Правильным отношением к жизни. Это точно. Учиться друг у друга хорошему. Помогать человеку стать лучше.

— А не хвалишься ли ты? — не совсем уверенно спросила бабка.

— Нет, хвалиться не умею, из похвал шубы не сошьешь. Просто о жизни разговор веду. Да только и хаять себя зря к чему? А вот уж если доброе слово сказать — так это о супруге моей, Вере Николаевне. И как не скажешь? Спасительница моя, точно. Когда-то на одном заводе вместе работали. Станки рядом стояли. Поженились. Женщина она простая, крепкая, работающая. Вылечила, выходила, как малого дитя. Вот какая история. Да что говорить, дело прошлое, время трудное было — так последние свои вещи продала. Лекарства мне покупала, продукты. Своими руками домик из самана выложила. Чтоб я, значит, в нем жил.

Емельянов помолчал, посмотрел в окно, в темень. Внизу слышался неумолчный приглушенный перестук колес.

— Две дочки у меня, — с гордостью и нежностью сказал он. — В интернате учатся. Подарки везу. Домой еду!

— А ты откуда путь держишь?

— Из санатория, — охотно ответил Емельянов, будто все время ждал именно этого вопроса. — Пролежал я в нем ровно год и восемь месяцев. Второй раз паралич скрутил.

— Год и восемь месяцев? — недоверчиво переспросил Озеров.

— Точно, как один день. Привезли меня туда лежащим. Врачи посмотрели, головами покачали. Очень хорошо я их понял: труба, мол, дорогой товарищ, бывший капитан-пограничник, форменная труба. А я им говорю: «Лечите. Мне жизнь позарез требуется. Лечите — и все тут». Настоял. Добился. Врачей донимал каждый день. Потом один профессор мне и скажи: «Да ты, Емельянов, всю нашу науку опрокинул». А я смеюсь: «Науку, говорю, человек создал». И вот — хожу. Самостоятельно. А ведь подслушал как-то ихний разговор. Один врач, специалист большой, прямо заявил: «Этот Емельянов, — говорит, — безнадежный». Злость меня взяла, вот как в атаке берет. Ну, думаю, я тебе покажу, какой я безнадежный. Мы еще посоревнуемся, кто из нас дольше на земле проживет! Да что я? Лежит там сейчас один инженер. Два года как прикован к постели. Вывезут его в коляске, как посмотрит он на небо, на березки, на людей, так и просияет весь, будто вновь народится. Верит! Изобретение какое-то в голове вынашивает.

— Жена-то тебя ждет? — нетерпеливо спросила бабка.

— Жена... Сколько ей родственники да соседи разные твердили: «Брось ты его. Загубишь свою молодую жизнь с калек». Что соседи! Сам ей так же один раз сказал. А она мне в ответ: «Первый раз, — говорит, — Ваня, за все наши супружеские годы ты меня так горько обидел. Я на жизнь твоими глазами смотрю».

— А сама без тебя нагулялась поди, — с детской наивностью вернула бабка. — Мы, бабы, хитрые.

— Не вы первая мне об этом толкуете, — сказал Емельянов. — Красивая она, да и моложе меня. А только верю ей, как самому себе.

— Не верь ушам, а верь очам, — вспомнила поговорку бабка.

— Своими письмами и то меня на ноги ставила, — сказал Емельянов, давая понять, что не хочет повторять то, в чем твердо убежден. — А я по письмам чувствую —

мучительно ей. Между строк вижу. Чувствую — сомневается, что мне лучше, думает, что просто успокаиваю ее. Приехать ко мне, само собой, не может — близкий ли свет. Считайте, пять тысяч километров, не так просто. Так вот. Чуть на ноги встал — и на берег моря. Швырнул костыли в сторону ко всем чертям. Стал таким фертом, как бывало, в школе краскомов. Вид бравый, воинственный. Македонский! Александр! Точно. Сфотографировался. Послал.

Емельянов от души рассмеялся.

— Как это здорово в жизни устроено: люди друг друга ждут, — немного погодя радостно сказал он. — Еду вот. Будем жить, будем работать.

Бабка понимающе закивала головой. Озеров встал, застегнул китель.

— Уже и спать пора, — забеспокоился Емельянов. — Надоел я вам своими разговорами.

— Нет, — убежденно сказал Озеров. — Спать не хочется. Я еще в коридоре постою.

Озеров вышел в коридор, крутнул ручку окна. Оно чуть приоткрылось. Запахло мокрым снегом, березовыми почками, зимним простуженным лесом. Черная мгла нескончаемо стлалась за окном. В этой мгле яркими раскаленными звездочками вспыхивали огни поселков и деревень.

«В сущности, о чем заставил меня подумать его рассказ? — размышлял Озеров. — О воле, о необыкновенной моральной силе людей? О тяжелых испытаниях, что выпадают на их долю и с которыми ни в какое сравнение не идут мелкие невзгоды человека? Об отцах, чью эстафету подхватили мы? А, может, просто по-новому взглянуть на жизнь и полюбить ее крепче, чище и сильнее, чем прежде?»

Озеров приткнулся к стеклу. Где-то там, за окном, где только что темнел лес, он вдруг словно наяву увидел радостное, возбужденное лицо Емельянова.

Озеров долго еще смотрел в окно, будто не мог насмотреться на все то, что проносилось мимо поезда.

— Огонек... — вдруг прошептал он. — Нет, товарищ Пышкин, не потух огонек. Он еще разгорится!.. Вот увидите!

И впервые за все это время Озеров облегченно вздохнул и улыбнулся.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Дозорной тропой	3
Смеющиеся глаза	130
Счастье старшины Самарца	232
Огонек разгорится	239

Марченко Анатолий Тимофеевич

СМЕЮЩИЕСЯ ГЛАЗА

М., Воениздат, 1964, 248 с. + 1 вкл.

Редактор *Мясников Б. А.*

Художественный редактор *Гречиго Г. В.*

Художник *Голицын А. К.*

Технический редактор *Мурашова Л. А.*

Корректор *Сакович Г. В.*

Сдано в набор 5.7.63 г.

Подписано к печати 9.1.64 г.

Формат бумаги $84 \times 108\frac{1}{82}$ — $7\frac{3}{4}$ печ. л. — 12,71 усл. печ. л. + 1 вклейка —
— $\frac{1}{16}$ печ. л. — 0,103 усл. печ. л. 13,302 уч.-изд. л.

Тираж 100 000 экз. ТП 64 г. № 267

Изд. № 4/5774.

Г-93311

Зак. 1059.

Сматрицировано в 1-й типографии

Военного издательства Министерства обороны СССР

Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Отпечатано во 2-й типографии

Военного издательства Министерства обороны СССР

Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

Цена 55 коп.

55ксл.